

# Голсуорси Джон

## Путь святого

Джон Голсуорси

Путь святого

Перевод с английского Л. Чернявского.

"...Где силы брал он,  
Чтобы жить так долго?"

Шекспир,

"Король Лир".

\* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ \*

ГЛАВА I

Такие дни радуют душу. Июль поднял все свои флаги; пылало солнце, пылали маки; белые бабочки гонялись друг за дружкой, пчелы хлопотали над чашечками львиного зева. Зацветали липы. В саду на клумбах высокие белые лилии уже догоняли дельфиниумы; Йоркские и ланкастерские розы, в полном цвету, раскрыли свои золотые сердечки. Дул мягкий ветерок, суета, шум и гам лета волнами поднимались и стихали в ушах Эдварда Пирсона, возвращавшегося из одинокой прогулки вокруг Тинтернского Аббатства. Он только сегодня утром приехал в Кестрель, что на берегу реки Уай, - погостить у своего брата Роберта; по дороге он останавливался на курорте Бат, и теперь лицо его покрывал тот неровный загар, какой обычно бывает у людей, постоянно живущих в городе. Проходя по узкой заросшей аллее, он услышал звуки музыки - кто-то бренчал на рояле вальс; Пирсон улыбнулся - музыка была самой большой его страстью. Его черные, седеющие волосы были откинuty назад, потный лоб он обмахивал соломенной шляпой; лоб был неширокий, хотя и составлял самую широкую часть узкого овального лица, казавшегося еще уже и длиннее благодаря небольшой бородке клинышком; Ван Дейку могло бы послужить натурой это лицо серьезное и кроткое, если бы не беспокойный блеск серых глаз с бесцветными ресницами и "гусиными лапками" морщин в уголках и странный, словно невидящий взгляд. Он шел быстро, хотя и устал от жары - высокий, прямой, сухощавый, в

сером одеянии священника, с золотым крестиком на черном кашемировом жилете.

Дом его брата был с мансардой - вместительной комнатой с отдельным входом; позади дома раскинулся сад, отлого спускавшийся к железной дороге и реке. Пирсон остановился у развилки аллеи, радуясь звукам вальса и прохладным дуновениям ветерка, шумевшего в платанах и березах. В пятьдесят лет человек, способный чувствовать красоту, родившийся и воспитанный в деревне, всегда тоскует по ней, если безвыездно живет в столице; поэтому утро в старом Аббатстве показалось ему просто райским. А теперь он всей душой отдался созерцанию пронизанной солнечным светом зеленой рощи, приглядывался к паукам, маленьким блестящим жучкам, мухоловкам, воробьям, возившимся в плюще; касался рукой мхов и лишаяев; рассматривал глазки цветущей вероники; мечтал сам не зная о чем. Над рощей кружил ястреб, и Пирсон мысленно вместе с ним парил в синеве неба. Он словно совершал какое-то духовное омовение - смывал с души пыльную суету Лондона.

В своем церковном приходе в столице он уже год работал один - его помощник ушел в армию капелланом. И вот теперь - первый настоящий отдых за два года, с начала войны; впервые он очутился и в доме брата. Он поглядел на сад, поднял глаза к верхушкам деревьев, окаймлявших аллею. Чудесный уголок нашел себе Боб после того, как четверть века прожил на Цейлоне. Славный старина Боб! Он улыбнулся при мысли о старшем брате, о его загорелом лице, со свирепо торчащими седыми бакенбардами, чем-то напоминавшем бенгальского тигра. Добрейший из всех смертных! Да, Боб нашел хороший дом для Тэрзы и себя. Эдвард Пирсон вздохнул. У него тоже когда-то был хороший дом, прекрасная жена; она умерла пятнадцать лет назад, но эта рана все еще кровоточила в его сердце. Обе дочери - Грэтиана и Ноэль - не были похожи на его жену; Грэтиана пошла в бабушку, мать Пирсона; а светлые волосы и большие серые глаза Ноэль всегда напоминали ему двоюродную сестру Лилу; та бедняга! - сделала из своей жизни сплошной сумбур, и теперь, как он слышал, выступает певицей где-то в Южной Африке, зарабатывая этим на жизнь. А какая красивая была девушка!

Несмолкающие звуки вальса словно притягивали его, и он пошел в музыкальную комнату. На дверях висела ситцевая занавеска; он

сначала услышал шарканье ног по натертому полу, а потом увидел свою дочь Ноэль, которая медленно вальсировала с молодым человеком в офицерской форме цвета хаки. Они шли тур за туром, кружась, отступая, двигаясь в сторону мелкими шажками, эти забавные па, наверно, вошли в моду недавно, никогда прежде он не видел таких. У рояля сидела его племянница Ева, на ее розовом лице играла насмешливая улыбка. Но Эдвард Пирсон смотрел только на свою юную дочь. Ее глаза были полузакрыты, щеки немного бледноваты, коротко подстриженные светлые волосы вились над стройной круглой шеей. Она держалась с холодным спокойствием, а молодой человек, в объятиях которого она скользила, видимо, просто пылал; красивый юноша - голубые глаза, золотистый пушок на верхней губе, открытое румяное лицо. Эдвард Пирсон подумал: "Прелестная пара!" И на минуту перед ним встало видение - он сам и Лиля, танцующие на празднестве Майской недели в Кембридже, когда ей исполнилось, помнится, семнадцать лет; значит, Лиля была тогда на год моложе, чем Нолли сейчас! А этот молодой человек, должно быть, тот самый, о котором Нолли все упоминает последние три недели в своих письмах. Что же, они так никогда и не останутся?

Он прошел мимо них и спросил:

- Тебе не очень жарко, Нолли?

Она послала ему воздушный поцелуй; молодой человек несколько смутился, а Ева крикнула:

- Это пари, дядя! Они должны меня перетанцевать.

Пирсон сказал мягко:

- Пари? О, дорогие мои!

Ноэль пробормотала через плечо:

- Все хорошо, папа!

Молодой человек выдохнул:

- Мы побились с Евой об заклад на щенка, сэр.

Пирсон уселся, загипнотизированный сонным брэнчанием рояля, медленным движением танцующих, каким-то "плывущим" взглядом полузакрытых глаз своей юной дочери, смотревшей на него через плечо, когда она проносилась мимо. Он сидел и улыбался. Нолли становится взрослой! Теперь, когда Гретиана замужем, на его попечении - только Нолли! Вот если бы была жива его дорогая жена! Улыбка его угасла; он вдруг почувствовал себя очень усталым.

Временами ему казалось, что на нем лежит непосильным грузом физический и духовный труд этих пятнадцати лет. Большинство мужчин женятся снова, но он всегда считал это кощунством. Брачные союзы заключаются навечно, хотя церковь и разрешает вторичный брак.

Он смотрел на юную дочь со смешанным чувством эстетического наслаждения и растерянности. Хорошо ли это для нее? Правда, оба они выплядут счастливыми; но многого он не понимает в этих молодых. Ноэль - такая нежная, такая мечтательная; но подчас в ней вселяется какой-то бесенок. Эти вспышки одержимости Эдвард Пирсон приписывал тому, что она лишилась матери, когда была еще совсем крошкой; а Грэтиана, которая была всего на два года старше, не могла заменить ей мать. Все заботы о дочери легли на его плечи; и он знал, что в чем-то потерпел здесь неудачу. Он сидел и все смотрел на нее, и какая-то необъяснимая горечь закрадывалась в его душу. И вдруг он услышал ее капризный голосок, словно подчеркивающий каждое слово:

- С меня довольно! - И, сев рядом с ним, она схватила его шляпу и стала обмахиваться.

Ева взяла торжествующий заключительный аккорд.

- Ура, я выиграла!

Молодой человек пробормотал:

- Слушайте, Ноэль, мы ведь могли бы потанцевать еще!

- Конечно; но папе скучно, правда, папа? Это - Сирил Морленд.

Пирсон пожал молодому человеку руку.

- Папочка, у тебя загорел нос!

- Да, дорогая, я знаю.

- Я тебе дам белой мази. Ты намажешься на ночь. Дядя и тетя тоже пользуются ею.

- Нолли!

- Так мне сказала Ева. Если вы собираетесь купаться, Сирил, будьте поосторожнее, там быстрое течение.

Молодой человек, смотревший на нее с откровенным обожанием, сказал: "Хорошо!" - и вышел.

Ноэль проследила за ним глазами; Ева нарушила молчание.

- Если ты хочешь принять ванну перед чаем, Нолли, ты лучше поспеши.

- Я сейчас. Хорошо было в Аббатстве, папа?

- Изумительно! словно какая-то великолепная музыка.

- Папа всегда все переводит на музыку. Ты бы посмотрел Аббатство при лунном свете; это просто величественно. Ну ладно, Ева, я бегу! - Но она не встала с места, а когда Ева ушла, взяла отца под руку и шепотом спросила:

- Как тебе нравится Сирил?

- Душенька, что я могу сказать? Как будто очень приятный молодой человек.

- Хорошо, папа, не надо... Здесь замечательно, правда?

Ноэль встала, чуть потянувшись и пошла к двери - коротко подстриженные выющиеся волосы придавали ей вид долговязого подростка.

Пирсон смотрел ей вслед и, когда она исчезла за занавесью, подумал: "Какое прелестное существо!" Он тоже поднялся, но не пошел за ней, а сел к роялю и начал играть Прелюдию и Фугу ми-минор Мендельсона. У него было Прекрасное туше, и играл он с какой-то страстной мечтательностью. Только музыка и помогала ему: это был безошибочный способ преодолеть растерянность, сожаление, тоску.

В Кембридже Пирсон собирался стать профессиональным музыкантом, но по семейной традиции он предназначался для священнического сана; подъем религиозных настроений в те дни захватил и увлек его.

У него были личные средства, и свою молодость перед женитьбой он провел довольно счастливо в одном из приходов лондонского Ист-энда. Не только иметь возможность, но и быть призванным помогать бедным - это было увлекательно. Сам человек простой, он близко принимал к сердцу горести своих неимущих прихожан. Когда он женился на Агнессе Хэриот, ему дали самостоятельный приход, как раз на границе восточной и западной части Лондона; он так и остался в этом приходе после смерти жены. Горе чуть не убило его самого; но легче было жить и работать там, где все напоминало о той, которую он поклялся никогда не забывать и не связывать себя другими узами. Однако он чувствовал, что служение церкви далеко не так увлекает его, как при жизни жены или даже до женитьбы. Иногда он сомневался, помогли ли ему двадцать шесть лет

пребывания в сане священника в точности понять то, во что он верует. Все было записано и установлено в тысячах его проповедей, но заново вникнуть в свою веру, углубиться в ее корни - значило бы подкапываться под фундамент еще крепкого дома. Некоторые люди стремятся в область непостижимого и полагают, что все догматы более или менее одинаковы; но Эдвард Пирсон решительно предпочитал догму англиканской церкви учению, скажем, Зороастра. Едва заметные перемены в жизни или новшества, вносимые наукой, не порождали в его душе мыслей о несовместимости их с религией и не вели к отказу от нее. Чувствительный, человеколюбивый и только в глубине души воинствующий, он инстинктивно избегал споров, если видел, что может причинить боль другим, а они ему. Впрочем, от него трудно было ожидать истолкования явлений - он не опирался на Разум и лишь очень редко углубленно изучал что-либо. Как и в старом Аббатстве, следя за ястребом и глядя на насекомых и травы, он уносился куда-то в бесконечное, так и теперь - звуки, которые он сам создавал, увлекали его снова в мир высокого душевного волнения; он не замечал, что, собственно, был сейчас в одном из глубочайших своих религиозных настроений.

- Ты разве не пойдешь пить чай, Эдвард?

У стоявшей позади него женщины в лиловом платье лицо было из тех, которые навсегда сохраняют наивное выражение. Тэрза Пирсон, как и все матери, прекрасно знала жизнь. В годы горя и тревог, как и в эту мировую войну, Тэрза Пирсон была незаменима. Она никогда не высказывала своего мнения о высоких материях, она только повторяла и утверждала некоторые общеизвестные истины. Так, например: хотя вся планета сейчас охвачена войной, есть все-таки и мир; хотя сыновья погибают на войне, остается материнство; хотя все умирают за будущее, существует, однако, и настоящее. Ее спокойная, мягкая, будничная деловитость, взгляд по-молодому живых глаз все в ней свидетельствовало о том, что двадцать три года жизни на чайной плантации в жаркой части Цейлона не оказали на нее никакого влияния, как, впрочем, и на Боба Пирсона; по внешнему виду Тэрзы нельзя было подумать, что ее постоянно обуревают тревога матери, у которой два сына на фронте, и что ей почти каждый день приходится слушать рассказы о таких же горестях от многих женщин, с которыми она встречалась. Она была невозмутима и напоминала изображение

"Доброты" на картине какого-то старого мастера, реставрированной Кэт Гринуэй {Гринуэй, Катарина (1846-1901) - английская художница-иллюстратор.}. Она никогда заранее не готовилась к жизненным бедам, но когда они приходили, справлялась с ними наилучшим образом. Такова уж она была, и Пирсон всегда чувствовал, что отдыхает в ее присутствии.

Он послушно встал и пошел с ней через лужайку к большому дереву в конце сада.

- Как ты находишь Ноэль, Эдвард?

- Очень мила. А что этот молодой человек, Тэрза?

- О... Боюсь, он по уши влюблен в нее.

Пирсон в замешательстве пробормотал что-то, и она просунула ему под рукав свою мягкую, округлую руку.

- Он скоро едет на фронт, бедный мальчик!

- Они говорили с тобой?

- Он говорил, а Нолли нет.

- Нолли странный ребенок, Тэрза.

- Нолли - прелесть, но у нее какой-то отчаянный характер, Эдвард.

Пирсон вздохнул.

"Отчаянный характер" сидел в качалке под деревом, где был накрыт стол для чаепития.

- Просто картинка! - сказал Пирсон и снова вздохнул.

До него донесся голос брата, высокий и хриплый, словно подпорченный климатом Цейлона:

- Ты неисправимый мечтатель, Тэд! Мы тут съели всю малину. Ева, дай ему хоть варенья, он, наверно, умирает от голода. Фу, какая жара! Дорогая, налей ему чаю. Здравствуйтесь, Сирил! Хорошо искупались? Ах, черт побери, мне бы хоть голову смочить! Садитесь рядом с Нолли - она будет качаться и отгонять от вас мух.

- Дай мне сигарету, дядя Боб, - попросила Нолли.

- Что?! Твой отец не...

- Это я от мух. Ты не возражаешь, папа?

- Не возражаю, если это уж так необходимо, милая.

Ноэль улыбнулась, показав верхние зубы; глаза ее, казалось, плыли под длинными ресницами.

- Нет, не так уж необходимо, но приятно.

- Ха, ха! - рассмеялся Боб Пирсон. - Ну, держи сигарету, Нолли!

Но Ноэль покачала головой. В эту минуту ее отца больше всего тревожила мысль о том, как она повзрослела; она сидела в качалке такая спокойная, сдержанная, а молодой офицер примостился у ее ног, и его загорелое лицо светилось обожанием. "Она больше не ребенок! - подумал Пирсон. - Милая Нолли!"

## ГЛАВА II

Разбуженный ежедневной пыткой - принесли горячую воду для бритья, Эдвард Пирсон проснулся в комнате с ситцевыми занавесками, и ему показалось, что он снова в Лондоне. Дикая пчела, охотившаяся за медом у вазы с цветами на подоконнике, и сильный запах шиповника нарушили эту иллюзию. Он раздвинул занавески и, став коленями на подоконник, высунул голову в окно. Утренний воздух был пьянюще свеж. Над рекой и лесом стелился легкий туман; лужайка сверкала росой, две трясогузки пролетели в солнечном сиянии. "Благодарение богу за эту красоту! - подумал он. Но каково бедным мальчикам там, на фронте!.."

Опершись руками о подоконник, он стал молиться. То же чувство, которое побуждало его украшать свою приходскую церковь - он любил красивые облачения, хорошую музыку, ладан, - владело им и сейчас. Бог был в красоте мира и в его церкви. Человек может поклоняться ему в буковой рощице, в красивом саду, на высоком холме, у берегов сверкающей реки.

Бог в шелесте ветвей, и в гудении пчел, и в росе, покрывающей траву, и в благоухании цветов - он во всем! И к обычной молитве Пирсон прибавил шепотом: "Я благодарю тебя за мои чувства, всевышний! Сохрани их во всех нас светлыми, благодарными за красоту". Он стоял неподвижно, весь во власти какого-то блаженного томления, близкого к печали. Подлинная красота всегда приводила его в такое состояние. Люди так мало ее видят и никогда не наслаждаются ею в полную меру. Кто-то сказал недавно: "Любовь к красоте это на самом деле только инстинкт пола, и его удовлетворяет только полный союз". Ах, да, - это сказал Джордж, муж Грэтиаиы, Джордж Лэрд! Небольшая морщинка обозначилась меж его бровей, словно он внезапно укололся о шип.

Бедный Джордж! Впрочем, все они, эти врачи, в душе - материалисты, хотя и прекрасные ребята; и Джордж тоже славный

парень, он просто до смерти заработался там, во Франции. Но их нельзя принимать всерьез. Он сорвал несколько веток шиповника и поднес их к носу, на котором еще остались следы белой мази, принесенной ему Ноэль. Сладкий запах чуть шероховатых лепестков вызвал в нем какую-то острую боль. Он бросил шиповник и отошел от подоконника. Нет, никакой тоски, никакой меланхолии! В такое прекрасное утро надо быть на воздухе!

День был воскресный; но он сегодня свободен - и от трех служб и от чтения проповеди. День отдохновения, наконец-то его собственный день! Его это даже как-то смущало; так долго он чувствовал себя рабочей лошадью, которую нельзя распрягать из боязни, что она упадет. Он начал одеваться с особой тщательностью и еще не кончил, когда кто-то постучал в дверь и послышался голос Ноэль:

- Можно войти, папа?

В бледно-голубом платье, с дижонской розой, приколотой у ворота, открывавшего загорелую шею, она казалась отцу олицетворением свежести.

- Письмо от Гретианы; Джорджа отпустили в Лондон, он болен и сейчас у нас в доме. Ей пришлось взять отпуск в госпитале, чтобы ухаживать за ним.

Пирсон прочел письмо. "Бедный Джордж!"

- Папа, когда ты позволишь мне стать сестрой милосердия?

- Надо подождать, пока тебе исполнится восемнадцать, Нолли!

- А я могу сказать, что мне уже исполнилось. Всего месяц остался - и выпляжу я гораздо старше.

Пирсон улыбнулся.

- Разве не так, папа?

- Тебе, наверно, что-то между пятнадцатью и двадцатью пятью, родная, если судить по твоему поведению.

- Я хочу поехать как можно ближе к фронту.

Она закинула голову так, что солнце ярко осветило ее довольно широкое лицо и такой же широкий лоб, обрамленный волнистыми, светло-каштановыми волосами, короткий, несколько неопределенной формы нос, еще по-детски округлые, почти восковой прозрачности, щеки и голубоватые тени под глазами. Губы были нежные и уже любящие, серые глаза, большие и мечтательные, чем-то напоминали лебедя. Он даже не мог представить ее в форме сестры милосердия.

- Это что-то новое, да, Нолли?

- Обе сестры Сирила Морленда там; и сам он тоже скоро идет на фронт. Все идут.

- Грэтиана еще не уехала. Требуется время для подготовки.

- Я знаю. Тем более надо начинать поскорее.

Она встала, посмотрела на него, потом на свои руки, казалось, собираясь что-то сказать, но не сказала. Легкий румянец окрасил ее щеки. Чтобы только поддержать разговор, она спросила:

- Ты идешь в церковь? Забавно послушать, как дядя Боб читает Поучения, особенно когда он будет путаться... Не надо надевать длинный сюртук до того, как пойдешь в церковь. Я этого не потерплю!

Пирсон послушно отложил сюртук.

- Ну, теперь можешь взять мою розу. А нос твой много лучше! - Она поцеловала его в нос и воткнула розу в петлицу его куртки.

- Вот и все. Пойдем!

Он взял ее под руку, и они вышли вместе. Но он гнал: она пришла сказать ему что-то и не сказала.

Бобу Пирсону, как человеку наиболее состоятельному из всех прихожан, оказывалось уважение: он всегда читал библию; читал он высоким, глухим голосом, не всегда соразмеря дыхание с длиннотами некоторых периодов. Прихожане привыкли слушать его, и их это особенно не смущало; он был человеком полезным и желательным компаньоном в любом деле. Только собственную семью он этим чтением всегда приводил в смущение. Сидя во втором ряду, Ноэль важно взирала на профиль отца, сидевшего впереди, и думала: "Бедный папа! У него, кажется, вот-вот глаза на лоб вылезут. О, папа! Улыбнись, нельзя же так!" Сидевший с ней рядом юный Морленд, подтянутый, в военной форме, размышлял: "Она и не думает обо мне". Но в то же мгновение ее мизинчик зацепился за его палец. Эдвард Пирсон волновался: "Ох! Этот старина Боб! Ох!" А рядом с ним Тэрза соображала: "Бедный милый Тэд, как хорошо, что он устроил себе полный отдых. Его надо подкормить - он так исхудал!" А Ева думала: "О господи! Пощади нас!" Сам же Боб Пирсон прикидывал: "Ура! Кажется, осталось всего только три стиха!"

Мизинец Ноэль разжался, но она то и дело украдкой поглядывала на молодого Морленда, и в ее глазах все время, пока длились

песнопения и молитвы, светился какой-то огонек. Наконец прихожане, стараясь не очень шуметь, стали рассаживаться, и на кафедре появилась фигура в стихаре.

"Не мир пришел я принести, но меч!"

Пирсон поднял голову. Он был весь погружен в ощущение покоя. Приятный свет в церкви, жужжание больших деревенских мух - все только подчеркивало удивительную тишину. Ни одно сомнение не волновало его душу, но не было и экстаза. Он подумал: "Сейчас я услышу нечто, что пойдет мне на пользу; хороший текст взят для проповеди; когда это я в последний раз читал на этот текст?" Чуть повернув голову, он не видел ничего, кроме простого лица проповедника над резной дубовой кафедрой; давно уже не приходилось ему слушать проповедей, так же давно, как не было у него отдыха! Слова доносились отчетливо, проникали в сознание, как бы поглощались им и растворялись.

"Хорошая простая проповедь, - подумал он. - Мне кажется, я становлюсь черствым; словно я не..."

- Не следует думать, дорогие братья, - убежденно гудел проповедник, что господь наш, говоря о мече, который он принес, имел в виду меч материальный. Упомянутый им меч был меч духовный, тот светлый меч, который во все века разрубал путы, налагаемые людьми на себя во имя удовлетворения своих страстей, налагаемые одними людьми на других во имя удовлетворения своего честолюбия; разительный пример тому - вторжение нашего жестокого врага в маленькую соседнюю страну, которая не причинила ему никакого вреда. Братья, все мы должны нести меч!

У Пирсона дернулся подбородок; он поднял руку и провел ею по лицу. "Все должны нести мечи, - подумал он. - Мечи... Я не сплю; да, это так!"

- Но мы должны быть уверены, что наши мечи светлы; что они сияют надеждой и верой; тогда мы увидим, как сияют они среди плотских вожделений сей брэнной жизни, как прорубают нам дорогу в царство божие, где царит только мир, подлинный мир. Помолимся!

Пирсон не стал прикрывать рукой глаза; он еще шире открыл их, когда преклонил колени. Сзади Ноэль и юный Морленд тоже опустили на колени, и каждый прикрыл себе лицо только одной рукой; ее левая рука, как и его правая были свободны. Они почему-то

стояли на коленях несколько дольше, чем все другие, и, поднявшись, запели гимн немного громче.

По воскресеньям газет не было - даже местной, которая своими крупными заголовками вносила благородную лепту в дело победы. Не было газет - значит, не было известий о солдатах, взлетевших на воздух при взрывах артиллерийских снарядов; ничто не всколыхнуло тишины жаркого июльского дня и не помешало усыпительному действию воскресного завтрака, изготовленного тетушкой Тэрзой. Одни спали, другие думали, что бодрствуют, а Ноэль и юный Морленд поднимались через лесок к раскинувшемуся на холмах, заросшему вереском и дроком лугу, над которым возвышались так называемые Кестрельские скалы. Ни слова о любви не было еще сказано между молодыми людьми; их влюбленность выражалась только во взглядах и прикосновениях.

Молодой Морленд был школьным товарищем братьев Пирсонов, которые сражались на фронте. У него не было семьи - родители его умерли; сейчас он не впервые появился в Кестреле. Три недели назад он приехал сюда в последний отпуск перед отъездом на фронт; возле станции он увидел встретившую его на маленькой тележке девушку и почувствовал сразу, что это его судьба. А что до Ноэль, то, кто знает, когда влюбилась она. Надо полагать, она была готова отозваться на это чувство. Последние два года она заканчивала свое образование в аристократическом учебном заведении; несмотря на предусмотренные программой занятия спортом, а может быть, именно благодаря им, там всегда ощущался некий скрытый интерес к лицам другого пола; и никакие, даже самые строгие меры не могли воспрепятствовать этому. Потом, когда почти вся молодежь мужского пола исчезла, брошенная в мясорубку войны, интерес к мужчинам усилился. Мысли Ноэль и ее школьных подруг невольно обратились к тем, кто в довоенное время, по их уверениям, играл для них весьма второстепенную роль. Над этими юными созданиями нависла угроза, что они будут лишены любви, замужества, материнства, от века предугазанных судьбой миллионам женщин. И совершенно естественно, девушки тянулись к тому, что, как им казалось, ускользает от них.

Ноэль нравилось, что юный Морленд все время провожает ее взглядом, явно показывая, что с ним творится; затем это приятное

чувство сменилось легким волнением; волнение - мечтательностью. Потом, примерно за неделю до приезда отца, она уже сама начала украдкой заглядывать на молодого человека. Она стала капризной и чуточку злой. Будь здесь другой юноша, которому можно было бы отдать предпочтение... но такого не было; поэтому она отдавала предпочтение рыжему сеттеру дяди Боба. В душе Сирила Морленда нарастало отчаяние. В последние три дня бес, которого так страшился отец, окончательно овладел Ноэль. Однажды вечером, когда они с Морлендом возвращались с лугов, она посмотрела на него искоса; тот так и ахнул:

- О Ноэль, что я такого сделал?

Она схватила его руку и на мгновение сжала ее. Боже, какая перемена! Какая счастливая перемена!..

Теперь в лесу юный Морленд шел молча, только всячески старался прикоснуться к ней. Ноэль тоже молчала и думала: "Я его поцелую, если он поцелует меня". Какое-то нетерпеливое томление ощущала она в крови, но не смотрела на Морленда из-под своей широкополой шляпы. Сквозь просветы в листве пробивались солнечные лучи, придавая густой зелени леса удивительную теплоту; они вспыхивали на листьях буков, ясеней, берез, маленькими ручейками струились на землю, расписывали яркими полосами стволы деревьев, траву, папоротники; бабочки гонялись друг за другом в солнечных лучах, мириады муравьев, комаров, мух, казалось, были охвачены неистовой жаждой бытия. Весь лес был одержим ею, словно вместе с солнечным светом сюда пришел Дух счастья. На середине пути, в том месте, где деревья расступались и вдали была уже видна сверкающая река, Ноэль села на буковый пенек; молодой Морленд стоял, глядя на нее. Почему именно это лицо, а не другое, этот голос, а не другой, заставляют так биться его сердце? Почему прикосновение именно этой руки пробуждает восторг, а прикосновение другой не вызывает ничего? Он вдруг опустился на колени и прижался губами к ее ноге. Ее глаза засияли; но она вскочила и побежала - она никак не думала, что он поцелует ее ногу. Она слышала, как Морленд спешит за ней, и остановилась, прислонившись к стволу березы. Он рванулся к ней и, не говоря ни слова, прижался губами к ее губам. Для обоих наступила та минута, которую не передать словами. Они нашли свое заколдованное место и

не уходили отсюда, а сидели обнявшись и их охранял добрый Дух леса. Война - поразительный ускоритель Любви: то, на что должно было уйти полгода, совершилось в три недели. Час пролетел, как минута, и Ноэль промолвила:

- Я должна рассказать папе, Сирил. Я хотела сделать это сегодня утром, но решила, что лучше подождать", а вдруг ты не...

- О Ноэль! - воскликнул Морленд. Это было все, что он мог сказать, пока они сидели здесь. Прошел еще один мимолетный час, и Морленд проговорил:

- Я сойду с ума, если мы не поженимся до моего отъезда.

- А сколько это потребует времени?

- О, совсем немного! Надо только поспешить. У меня шесть дней до явки в часть; и, может быть, командир даст мне еще неделю, если я попрошу его.

- Бедный папа!.. Поцелуй меня еще. Крепко. Когда долгий поцелуй кончился, она сказала:

- А потом я смогу приехать и быть с тобой, пока ты не уйдешь на фронт? Ах, Сирил!

- О Ноэль!

- А может быть, ты не уедешь так скоро? Не уезжай, если можешь.

- Если бы я мог, дорогая! Но я не могу.

- Да, я знаю.

Юный Морленд схватился за голову.

- Все мы сейчас плывем в одной лодке; но не вечно же это будет продолжаться! А теперь, когда мы помолвлены, мы сможем быть вместе все время, пока я не получу разрешения или как это там называется. А потом...

- Папа захочет, чтобы мы повенчались в церкви. Но мне все равно.

Глядя сверху на ее закрытые глаза, на опущенные ресницы, юный Морленд думал: "Бог мой, я в раю!"

И еще один короткий час прошел, пока она не высвободилась из его объятий.

- Надо идти, Сирил. Поцелуй меня еще раз. Было время обеда, и они бегом начали спускаться с холма.

Эдвард Пирсон возвращался с вечерней службы, на которой читал библию, и увидел их издали. Он сжал губы. Их долго не было, и это

сердило его. Но что он может сделать? Перед этой юной любовью он чувствовал себя странно беспомощным. Вечером, открыв дверь своей комнаты, он увидел на подоконнике Ноэль; она сидела в халате, освещенная лунным светом.

- Не зажигай огня, папочка! Я должна тебе что-то сказать.

Она потрогала золотой крестик и повернула его.

- Я помолвлена с Сирилом; мы хотим пожениться на этой неделе.

Пирсону показалось, что его ударили под ребра; у него вырвался какой-то нечленораздельный звук. Ноэль торопливо продолжала:

- Видишь ли, это необходимо; он каждый день может уехать на фронт.

Как он ни был ошеломлен, он должен был признать, что в ее словах есть доля здравого смысла. Но он сказал:

- Милая моя, ты ведь еще ребенок. Брак - самое серьезное дело в жизни. А вы и знакомы-то всего три недели!

- Я все это понимаю, папа. - Ее голос звучал на удивление спокойно. Но нам нельзя ждать. Он ведь может никогда не вернуться, понимаешь? И тогда получится, что я сама отказалась от него.

- Но, Ноэль, представь себе, что он действительно не вернется. Тогда тебе будет еще хуже.

Она выпустила крестик, взяла его руку и прижала к сердцу. Но голос ее был все так же спокоен.

- Нет. Так будет гораздо лучше; ты думаешь, что я не знаю своих чувств. Но я их знаю.

Сердце Пирсона-человека смягчилось, но он был еще и священник.

- Нолли, настоящий брак - это союз душ; а для этого нужно время. Время, чтобы убедиться, что вы оба чувствуете и думаете одинаково и любите одно и то же.

- Да, я знаю. Но у нас так и есть.

- Ты еще не можешь этого сказать, дорогая; да и никто не может за три недели.

- Но ведь теперь не обычное время, правда? Теперь людям приходится спешить во всем. О папа! Будь же ангелом! Мама, наверно, поняла бы и позволила мне, я знаю!

Пирсон отнял у нее руку; эти слова ранили его, напомнив об утрате, напомнив и о том, как плохо он заменял ей мать.

- Послушай, Нолли, - сказал он. - Столько лет прошло с тех пор, как она покинула нас, а я все оставался одиноким; это потому, что мы с ней были действительно одно целое. Если вы поженитесь с этим молодым человеком, зная о своих сердцах только то, что вы могли узнать за такое короткое время, вы, возможно, потом страшно раскаетесь; вы можете вдруг убедиться, что все было лишь маленьким пустым увлечением; или же, если с ним случится что-нибудь до того, как у вас начнется настоящая семейная жизнь, твое горе и чувство утраты будут гораздо сильнее, чем если, бы вы оставались просто помолвленными до конца войны. И потом, дитя мое, ты ведь слишком еще молода!

Она сидела так неподвижно, что он с испугом посмотрел на нее.

- Но я должна!

Он закусил губу и сказал резко:

- Ты не можешь, Нолли.

Она встала и, прежде чем он успел ее удержать, ушла. Когда дверь закрылась за ней, гнев его испарился, вместо него пришло отчаяние. Бедные дети! Что же делать с этими своевольными птенцами, - они только что вылупились из яйца, а уже считают себя вполне оперившимися. Мысль о том, что Ноэль сейчас лежит у себя, несчастная, плачущая, может быть, проклиная его, не давала покоя Пирсону; он вышел в коридор и постучал к ней. Не дождавшись ответа, он вошел. В комнате было темно, только смутный свет луны пробивался сквозь штору; он увидел Ноэль - она лежала на кровати лицом вниз. Он осторожно подошел и положил руку ей на голову. Она не шевельнулась. Глядя ее волосы, он мягко сказал:

- Нолли, родная, я вовсе не хочу быть жестоким. Если бы на моем месте была твоя мать, она сумела бы убедить тебя. Но я ведь только старый брюзга-папочка.

Она повернулась на спину и скрестила ноги. Он видел, как сияли ее глаза. Но она не произнесла ни слова, словно зная, что сила ее в молчании.

Он сказал с каким-то отчаянием:

- Позволь мне поговорить с твоей тетушкой. Она очень разумный человек.

- Хорошо.

Он наклонился и поцеловал ее горячий лоб.

- Спокойной ночи, милая, не плачь! Обещай мне. Она кивнула и потянулась к нему; он почувствовал, как горят ее мягкие губы, коснувшиеся его лба, и вышел, немного успокоенный.

Ноэль сидела на кровати, обхватив руками колени, и вслушивалась в ночь, пустую, безмолвную; каждую минуту она теряла еще частичку из крохотного времени, которое она еще могла быть с ним.

### ГЛАВА III

Пирсон проснулся после тяжелой, полной беспокойных сновидений ночи ему снилось, что он потерянно блуждает в небесах, словно грешная душа.

Вчера он вернулся к себе от Ноэль особенно подавленный и обеспокоенный тем, что его слова: "Не плачь, Нолли!" - оказались совершенно ненужными. Он убедился, что она и не собиралась плакать; нет, она была далека от этого! Он и сейчас живо представлял себе: полумрак в комнате, Нолли лежит, скрестив ноги, сдержанная, загадочная, точно какая-нибудь китаянка; он еще чувствовал лихорадочное прикосновение ее губ. Лучше бы ей по-детски выплакаться: и самой было бы легче и в него это вселило бы какую-то уверенность. И хотя было неприятно признаваться себе, но он с горечью убеждался в том, что его отказ прошел мимо ее сознания, словно он ничего и не говорил. В тот поздний час он не мог отдаться музыке, а потому провел остаток ночи в молитве, на коленях прося у бога наставления, но не удостоился получить его.

Юные преступники вели себя за завтраком очень скромно. Никто не сказал бы, что они только что целый час сидели, крепко обнявшись, любовались рекой и очень мало разговаривали, так как губы у них были заняты. Пирсон пошел вслед за невесткой в комнату, где она каждое утро разбирала цветы. Он с минуту смотрел, как она отделяет розы от анютиных глазок, васильки от душистого горошка, а потом заговорил:

- Я очень встревожен, Тэрза. Вчера вечером ко мне приходила Нолли. Представь себе! Они хотят пожениться - эта пара!

Тэрза принимала жизнь такой, как она есть, и поэтому не выказала особого удивления, только щеки ее чуть-чуть порозовели и глаза удивленно округлились. Она взяла веточку резеды и промолвила безмятежно:

- Ах, ты, моя милочка!

- Подумай, Тэрза, она совсем еще ребенок. Ведь всего год или два назад она сидела у меня на коленях и щекотала мне своими кудрями лицо!

Тэрза продолжала разбирать цветы.

- Ноэль старше, чем ты думаешь, Эдвард; она много старше своих лет. И настоящая семейная жизнь у них начнется лишь после войны, если только вообще начнется.

Пирсон почувствовал, что у него словно отнимается язык. То, что сказала невестка, было преступно легкомысленным!

- Но... но... - пробормотал он, запинаясь. - Ведь это же... брачный союз, Тэрза! Кто знает, что может случиться, прежде чем они снова встретятся?

Она посмотрела на его вздрагивающие губы и сказала мягко:

- Я знаю, Эдвард; но если ты не дашь согласия, боюсь, как бы Нолли чего-нибудь не натворила - вспомни, в какое время мы живем. Говорю тебе, в ней есть что-то отчаянное.

- Ноэль послушается меня.

- Ты уверен? Ведь сколько их сейчас, этих браков военного времени!

Пирсон отвернулся.

- Это ужасно. О чем думают эти молодые? Только о том, чтобы удовлетворить свою чувственность! С таким же успехом можно было бы и вовсе не жениться.

- Сейчас, как правило, думают о военной пенсии, - сказала Тэрза спокойно.

- Тэрза, это цинично! К тому же это не имеет никакого отношения к Ноэль. Я не могу даже подумать, чтобы моя маленькая Нолли поступила так под влиянием минуты, да еще зная, что это ни к чему не приведет или станет началом несчастливой браку. Кто он, этот мальчик, что он такое? Я ничего о нем не знаю. Как я могу ее отдать ему - это невозможно! Если бы они некоторое время были помолвлены, если бы я знал что-нибудь о нем, тогда брак был бы возможен, пусть даже они еще очень юные. Но такая опрометчивая влюбленность - нет, это нехорошо, недостойно. Я не понимаю, право же, не понимаю, как может такой ребенок, как она, желать этого? Тут дело в том, что она сама не понимает, о чем меня просит, моя

маленькая Нолли! Она просто не знает, что означает брак, и не может постигнуть, что он священен. Ах, если бы была жива ее мать! Поговори с Нолли, Тэрза, ты сумеешь сказать то, чего не умею я.

Тэрза посмотрела ему вслед. Несмотря на свое одеяние, а отчасти даже благодаря ему, он казался ей ребенком, который приходил показать ей свой больной пальчик. Кончив разбирать цветы, она пошла искать племянницу. Ей не пришлось далеко ходить. Ноэль стояла в прихожей, явно поджидая кого-то. Они вместе пошли по аллее.

Девушка сразу заговорила:

- Бесцельно убеждать меня, тетя. Сирил собирается просить разрешение.

- О, значит, у вас все уже договорено?

- Окончательно.

- А ты думаешь, что это честно по отношению ко мне, Нолли? Разве я пригласила бы его сюда, если бы знала, что случится такая история?

Ноэль только улыбнулась.

- Нолли! Ты себе представляешь, что такое брак?

Ноэль кивнула.

- Да неужели?

- Ну, конечно. Вот Грэтиана замужем. И, кроме того, в школе...

- Твой отец решительно возражает. Для него это большое горе. Он ведь настоящий святой, и ты не должна причинять ему боль. Разве ты не можешь подождать хотя бы до следующего отпуска Сирила?

- Но может случиться, что у него больше никогда не будет отпуска!

Сердце матери, у которой сыновья были на фронте, откуда у них тоже могло не быть больше отпуска, откликнулось на эти слова. Она взволнованно смотрела на племянницу и уже ощущала какое-то смутное одобрение этому восстанию жизни против смерти, этому мятежу юности, которой грозит уничтожение. Ноэль шла, стиснув зубы, устремив взгляд куда-то вперед.

- Папа не должен был возражать. Пожилым людям не приходится воевать, их не убивают; И не надо им мешать нам, когда мы хотим взять от жизни, что можем. Они тоже были когда-то молоды.

Тэрза не знала, что ответить.

- Да, - сказала она наконец. - Может быть, он не совсем понимает все это.

- Я хочу быть уверенной в Сириле, тетя; я хочу взять от нашей любви все, что возможно. И не думаю, что это так уж много, ведь я, может быть, больше его не увижу.

Тэрза взяла девушку под руку.

- Я понимаю, - сказала она. - Только, Нолли, подумай: война кончится, мы вздохнем с облегчением и снова заживем нормальной жизнью, а ты вдруг поймешь, что сделала ошибку?!

Ноэль покачала головой.

- Нет, это не ошибка.

- Все мы так думаем, родная. Но люди совершают тысячи ошибок, хотя уверены, как и ты, что ошибки нет. А потом наступает расплата. Она оказалась бы особенно ужасной для тебя; твой отец всем сердцем и душой верует в то, что брак заключается навек.

- Папа - прелесть; но, знаете ли, я не всегда верю в то, во что верит он. Кроме того, я не делаю ошибки, тетя! Я так люблю Сирила!

Тэрза обняла ее за талию.

- Тебе нельзя ошибаться - мы слишком любим тебя, Нолли! Как мне хотелось бы, чтобы Грэтиана была здесь.

- Грэтиана поддержала бы меня, - сказала Ноэль. - Она знает, что такое война. Да и вы должны знать, тетушка. Если бы Рекс и Гарри захотели жениться, я уверена, вы не стали бы им мешать. Они не старше Сирила. Вы должны понять, тетя, дорогая, что означает для меня знать, что мы принадлежим друг другу по-настоящему, до того, как это начнется для него... и... может быть, больше вообще ничего не будет. Отец этого не понимает. Я знаю, он ужасно добрый, но... он забыл.

- Деточка, я думаю, он даже слишком хорошо помнит. Он был безумно привязан к твоей матери.

Ноэль стиснула руки.

- Правда? Но я так же предана Сирилу, а он мне. Мы бы не шли наперекор, если бы... если бы это не было необходимо. Поговорите с Сирилом, тетушка; тогда вы поймете. Вон он здесь; но только не задерживайте его долго, потому что он мне нужен. Ах, тетушка, он так мне нужен!

Она повернулась и убежала в дом; Тэрза, видя, что попала в ловушку, направилась к молодому офицеру, который стоял, сложив руки на груди, как Наполеон перед битвой. Она улыбнулась ему.

- Ну, Сирил, значит, ты меня предал?

Она понимала, какая серьезная перемена произошла в этом загорелом голубоглазом, сдержанно-дерзком юноше с того дня, как он приехал сюда в их маленькой тележке три недели назад. Он взял ее руку - точно так, как и Ноэль, - и усадил ее рядом с собой на грубо сколоченную скамейку, у которой, видимо, ему было приказано ждать.

- Видите ли, миссис Пирсон, - начал он, - дело в том, что Ноэль не какая-нибудь обычная девушка, и время теперь тоже необычное, правда? Ноэль такая девушка, что за нее душу отдашь; отпустить меня на фронт, не позволив мне жениться на ней, это значит разбить мне сердце. Разумеется, я надеюсь вернуться обратно, но ведь там и убивают; и вот я думаю, что было бы жестоко, если бы мы с ней не могли взять от жизни все, что можем и пока еще можем. Кроме того, у меня есть деньги; так или иначе они достанутся ей. Так будьте же доброй, хорошо? - Он обнял Тэрзу за талию, словно был ее сыном, и это согрело ее сердце, тоскующее по двум сыновьям. - Видите ли, я не знаю "мистера Пирсона, но он как будто страшно милый и приятный человек, и если бы он знал мои мысли, он, конечно, не стал бы возражать, я убежден в этом. Мы готовы рисковать своей жизнью и всякое такое; но мы считаем, что надо позволить нам распоряжаться своей жизнью, пока мы еще живы. Я дам ему предсмертную клятву или что-нибудь вроде этого - что никогда не переменюсь к Ноэль, а она тоже даст клятву. Ах, миссис Пирсон, будьте же молодчиной и замолвите за меня словечко, только поскорее! У нас осталось так мало времени!

- Но, мой милый мальчик, - слабо запротестовала Тэрза, - ты думаешь, что поступаешь честно с таким ребенком, как Ноэль?

- Думаю, что да. Вы просто не понимаете: ей пришлось повзрослеть, вот и все. И она повзрослела за эти недели; она такая же взрослая, как я, а мне двадцать два года. И видите ли, приходит - уже пришел! - новый, молодой мир; люди начнут входить в жизнь гораздо раньше! Какой смысл притворяться, будто все осталось по-старому, остерегаться и прочее? Если меня убьют, то, я думаю, у нас было

полное право сначала пожениться; а если не убьют, тогда какое это имеет значение?

- Но вы ведь с ней знакомы всего только двадцать один день, Сирил!

- Нет, двадцать один год. Тут каждый день стоит года, когда... Ах, миссис Пирсон! Это что-то не похоже на вас, правда? Вы ведь еще никогда никому не делали ничего дурного, верно ведь?

После этого хитрого замечания она нежно сжала его руку, все еще обнимавшую ее за талию.

- Хорошо, мой милый, - сказала она тихо. - Посмотрим, что тут можно сделать.

Сирил Морленд поцеловал ее в щеку.

- Я буду вечно вам благодарен, - сказал он. - Вы ведь знаете, что у меня никого нет, кроме двух сестер.

Что-то вроде слезинки мелькнуло на ресницах Тэрзы. Да, оба они похожи на детей, заблудившихся в лесу.

#### ГЛАВА IV

В столовой отцовского дома на Олд-сквер Грэтиана Лэрд, одетая в форму сестры милосердия, составляла телеграмму: "Преподобному Эдварду Пирсону, Кестрель - Тинтерн, Монмаутшир. Джордж опасно болен. Пожалуйста, приезжай, если можешь. Грэтиана".

Передав телеграмму горничной, она скинула пальто и на минуту присела. Всю ночь после тяжелого рабочего дня она провела в пути и только сейчас приехала. Муж ее был на волосок от смерти. Грэтиана была совсем не похожа на Ноэль: не такая высокая, но более крепкая, с темно-каштановыми волосами, ясными светло-кариими глазами и широким лбом; у нее было серьезное, отражающее постоянную работу мысли лицо и удивительно правдивый взгляд. Ей недавно исполнилось двадцать лет; за год своего замужества она всего только полтора месяца провела с Джорджем; у них даже не было своего пристанища.

Отдохнув пять минут, она решительно провела рукой по лицу, потрянула головой и пошла наверх, в комнату, где он лежал. Он был без сознания; она ничем не могла ему помочь - ей оставалось только сидеть и смотреть на него. "Если он умрет, - подумала она, - я возненавижу бога за его жестокость. Я прожила с Джорджем шесть недель, а люди живут вместе по шестьдесят лет". Она не отрывала глаз

от его лица, округлого и широкого, с "шишками наблюдательности" над бровями. Он сильно загорел. Глаза были закрыты, и темные ресницы четко выделялись на мертвенно-желтых щеках; густые волосы окаймляли довольно низкий и широкий лоб, сквозь полуоткрытые губы виднелись зубы, крепкие и белые. У него были маленькие подстриженные усы, на четко очерченном подбородке отросла щетинистая борода. Пижама его была распахнута, и Гретиана застегнула ее. Стояла удивительная для лондонского дня тишина, хотя окно было широко открыто. Все, что угодно, только бы Джордж вышел из этого каменного забытья - не только он, но и она и весь мир! Какая жестокость! Подумать только: через несколько дней и даже часов она может потерять его навеки! Она вспомнила об их расставании в последний раз - оно было не очень нежным. Он уезжал вскоре после того, как они сильно поспорили, а это часто случалось между ними, и ни один не шел в споре на уступки. Джордж сказал тогда, что если человек умирает, для него нет никакой будущей жизни; она утверждала, что есть. Оба разгорячились, были раздражены. Даже в машине по пути на вокзал они продолжали этот злополучный спор, и последний поцелуй их был отравлен горечью размолвки. С тех пор, словно раскаиваясь, она начала склоняться к точке зрения Джорджа, а сейчас... сейчас он, возможно, разрешит для себя этот вопрос. И тут она почувствовала, что если он умрет, она не встретится с ним больше никогда! Это было вдвойне жестоко в эти минуты подвергалась испытанию и ее вера! Она приложила ладонь к его руке. Рука была теплой и, казалось, полной силы, хотя лежала неподвижно и беспомощно. Джордж - здоровый, жизнеспособный, волевой человек; просто невероятно, чтобы судьба могла сыграть с ним такую злую шутку! Она вспомнила твердый взгляд его блестящих стальных глаз, глубокий, немного вибрирующий голос, в котором не было и следа застенчивости, но не было и фальши или притворства. Она приложила руку к его сердцу и принялась осторожно, мягко растирать ему грудь. Он, как врач, и она, как сестра милосердия, видели много смертей за эти последние два года. А здесь ей все казалось неожиданным, словно она никогда не видела, как умирают люди, словно все эти молодые лица в палатах госпиталя, бледные и безжизненные, были для чего-то выставлены напоказ. Да, смерть предстанет перед нею впервые, если

из этого лица, такого любимого, навеки уйдут краски, движение, мысль.

Со стороны парка влетел шмель и стал с ленивым жужжанием носиться по комнате. Она подавила рыдание и медленно, осторожно вздохнула.

Пирсон получил телеграмму в полдень, вернувшись с невеселой прогулки, которую он предпринял после разговора с Тэрзой. Если уж Грэтиана, обычно такая уверенная в себе, вызывает его, видимо, дело плохо. Он сразу же стал собираться, чтобы поспеть на ближайший поезд. Ноэль не было в доме, никто не знал, где она. С каким-то болезненным чувством он написал ей:

"Милое дитя,

Я еду к Грэтиане; бедный Джордж тяжело болен. Если дела пойдут еще хуже, тебе придется приехать и побыть с сестрой. Я дам тебе телеграмму завтра рано утром. Оставляю тебя на попечение тетушки, моя дорогая. Будь разумна и терпелива. Благослови тебя бог.

Твой любящий отец".

Он сидел один в купе третьего класса и, подавшись вперед, до тех пор смотрел на руины Аббатства по ту сторону реки, пока они не исчезли из виду. Те древние монахи жили не в такой тяжелый век, как этот! Они, наверно, вели мирную, уединенную жизнь; в ту эпоху церковь была величественна и прекрасна, и люди отдавали жизнь за веру и сооружали вечные храмы во славу божию! Как непохожи те времена на этот век спешки и суеты, науки, торговли, материальных выгод, век, породивший эту ужасную войну! Он попытался читать газету, но от нее веяло ужасом и ненавистью. "Когда это кончится?" - думал он. А поезд, ритмично раскачиваясь, словно отстукивал в ответ: "Никогда... никогда..."

В Чепстоу в вагон вошел солдат, за ним следовала женщина с покрасневшимся лицом и заплывшими глазами; волосы ее были спутаны, из губы сочилась кровь, словно она прокусила ее. У солдата тоже был такой вид, будто он сейчас выкинет что-нибудь отчаянное. Они уселись на противоположной скамье и отодвинулись друг от друга. Чувствуя, что мешает им, Пирсон решил укрыться за газетой; когда он взглянул снова, солдат уже скинул мундир, снял фуражку и стоял, глядя в окно; женщина, сидя на краю скамейки, всхлипывала и

вытирала лицо. Она встретилась глазами с Пирсоном, во взгляде ее была злоба. Приподнявшись, она потянула солдата за рукав.

- Садись. Не высовывайся!

Солдат плюхнулся на скамейку и посмотрел на Пирсона.

- Мы с женой немножко повздорили, - доверительно заговорил он. - Она раздражает меня; я не привык к этому. Она попала в бомбежку, ну, и нервы у нее совсем пошли к черту, правда, - старуха? У меня что-то с головой. Я был там ранен, понимаете? Теперь уж я мало на что гожусь. Я бы мог что-нибудь делать, но только пусть она бросит свои фокусы.

Пирсон повернулся к женщине, но в глазах ее была все та же враждебность. Солдат протянул ему пачку сигарет.

- Закуривайте, - сказал он.

Пирсон взял сигарету и, чувствуя, что солдат чего-то ждет от него, пробормотал:

- У всех у нас беды с близкими; и чем больше мы их любим, тем больше страдаем, не правда ли? Вот и я с моей дочерью вчера...

- А! - сказал солдат. - Это верно. Но мы с женой как-нибудь поладим. Ну, хватит, старушка.

Из-за газеты до Пирсона доносились звуки, свидетельствующие о примирении - упреки в том, что кто-то часто выпивает, потом поцелуи попеременно с легкими похлопываниями, потом ругань. Когда они выходили в Бристоле, солдат тепло пожал ему руку, но женщина глядела на него с той же злобой. Он подумал: "Война. Как она затрагивает каждого!"

Вагон наводнила толпа солдат, и весь остаток путешествия он просидел в тесноте, стараясь занимать как можно меньше места. Когда он наконец добрался до дома, Грэтиана встретила его в прихожей.

- Никакой перемены. Доктор говорит, что все выяснится через несколько часов. Очень хорошо, что ты приехал! Наверно, устал, - ведь такая жара. Просто ужасно, что пришлось прервать твой отдых!

- Милая, да разве я... Могу я подняться и посмотреть на него?

Джордж Лэрд все еще был в беспамятстве. Пирсон глядел на него с состраданием. Как и все священники, он часто посещал больных и умирающих и был как бы на короткой ноге со смертью. Смерть! Самая обыденная вещь на свете - сейчас она еще обычнее, чем жизнь. Этот

молодой врач, должно быть, повидал немало мертвецов за два года и многих людей спас от смерти; а теперь он лежит и не может пальцем шевельнуть для собственного спасения. Пирсон посмотрел на дочь; какая жизнеспособная, какая многообещающая молодая пара! И, обняв Грэтиану, он повел ее и усадил на диван, откуда они могли наблюдать за больным.

- Если он умрет, отец... - прошептала она.

- Если умрет, то умрет за родину, моя любовь! Как и многие наши солдаты.

- Я понимаю; но это не утешение; я просидела возле него целый день и все думала: после войны люди будут такими же жестокими, если не более жестокими. Все в мире останется таким же.

- Нужно надеяться, что так не будет. Может быть, помолимся, Грэтиана?

Грэтиана покачала головой.

- Если бы я могла верить, что мир... если бы я вообще могла во что-либо верить! Я потеряла веру, отец, даже в будущую жизнь. Если Джордж умрет, мы никогда с ним больше не встретимся.

Пирсон смотрел на нее, не говоря ни слова. Грэтиана продолжала:

- Когда мы в последний раз разговаривали с Джорджем, я обозлилась на него за то, что он смеялся над моей верой. А теперь, когда она мне так нужна, я чувствую, что он был прав.

Пирсон ответил дрожащим голосом:

- Нет, нет, родная! Ты просто слишком устала. Бог милостив, он вернет тебе веру.

- Бога нет, отец.

- Милое мое дитя, что ты говоришь?!

- Нет бога, который мог бы помочь нам; я чувствую это. Если бы существовал бог, который принимал бы участие в нашей жизни и мог бы изменить что-либо помимо нашей воли, если бы его заботило то, что мы делаем, он не потерпел бы, чтобы в мире творилось то, что творится сейчас.

- Но, дорогая, пути господни неисповедимы. Мы не смеем судить о том, что он делает или чего не делает, не должны пытаться проникнуть в цели его.

- Тогда он для нас бесполезен. Это все равно, как если бы его не было. Зачем же мне молиться о том, чтобы Джордж остался в живых, молиться кому-то, чьи цели только ему известны? Я знаю одно: Джордж не должен умереть. Если есть бог, который может ему помочь, то тогда будет просто позором, если Джордж умрет; если есть бог, который должен помогать людям, тогда страшный позор и то, что умирают дети, умирают миллионы бедных юношей. Нет, уж лучше думать, что бога нет, чем верить в то, что бог есть, но он беспомощен или жесток...

Пирсон внезапно зажал уши. Она подвинулась поближе и обняла его.

- Милый папа, прости, я совсем не хотела огорчить тебя.

Пирсон прижал ее голову к своему плечу и глухо сказал:

- Как ты думаешь, Грэйси: что случилось бы со мной, если бы я потерял веру, когда умерла твоя мать? Я никогда не терял веры. Да поможет мне бог никогда не потерять ее!

Грэйсиана пробормотала:

- Джордж не хотел, чтобы я притворялась, будто верю; он хотел, чтобы я была честной. Если я не честна, тогда я не заслуживаю, чтобы он остался в живых. Я не верю, и поэтому я не могу молиться.

- Милая, ты просто переутомилась.

- Нет, отец. - Она отодвинулась и, охватив руками колени, уставилась куда-то в пространство. - Только мы сами можем себе помочь; и я смогу перенести все это, только если восстану против бога.

У Пирсона дрожали губы, он понимал, что никакие увещания сейчас не подействуют на нее. Лицо больного уже было почти неразличимо в сумерках, и Грэйсиана подошла к его кровати. Она долго глядела на него.

- Пойди отдохни, отец. Доктор снова придет в одиннадцать. Я позову тебя, если будет нужно. Я тоже немного прилягу рядом с ним.

Пирсон поцеловал ее и удалился. Поблизости с ним - это было для нее теперь величайшим утешением. Он вошел в узкую маленькую комнату, которую занимал с тех пор, как умерла его жена; скинув башмаки, он принялся ходить взад и вперед, чувствуя себя разбитым и одиноким. Обе дочери в беде, а он словно им и не нужен! Ему казалось, что сама жизнь отодвигает его в сторону. Никогда он не был

так растерян, беспомощен, подавлен. Если бы Грэтиана действительно любила Джорджа, она не отвернулась бы в такой час от бога, что бы она об этом ни говорила! Но тут он понял, насколько кощунственна эта мысль, и как вкопанный остановился у открытого окна.

Земная любовь... Небесная любовь... Есть ли между Ними что-либо общее? Ему ответил равнодушный шорох листьев в парке; где-то в дальнем углу площади слышался голос газетчика, выкрикивавшего вечерние новости о крови и смертях.

Ночью в болезни Джорджа Лэрда наступил перелом. Наутро врачи сказали, что опасность миновала. У него был великолепный организм - сказывалась шотландская кровь - и очень боевой характер. Но вернулся он к жизни крайне ослабевшим, хотя и с огромной жаждой выздоровления. Первые его слова были:

- Я висел над пропастью, Грэйси!

...Да, он висел над крутым скалистым обрывом, и тело его качалось над бездной в бесплодных попытках удержать равновесие; еще дюйм, крошечная доля дюйма - и он сорвется вниз. Чертовски странное ощущение; но не такое ужасное, как если бы это было в действительности. Соскользни он еще немного - на этот последний дюйм, и он сразу перешел бы в небытие, не пережив ужаса самого падения. Так вот что приходилось ежедневно испытывать этим беднягам, которых немало прошло через его руки за эти два года! Их счастье, что в эти последние мгновения в них оставалось так мало жизни, что они уже не сознавали, с чем расстаются, так мало жизни, что им это уже было безразлично. Если бы он, Джордж Лэрд, мог почувствовать тогда, что рядом с ним его молодая жена, понять, что видит ее лицо и прикасается к ней в последний раз, - это был бы суший ад; если бы он был способен видеть солнечный свет, свет луны, слышать звуки жизни вокруг, ощущать, что лежит на мягкой постели, - это было бы самой мучительной пыткой! Жизнь чертовски хороша, и быть выброшенным из нее в расцвете сил - это означало бы, что есть какая-то гнусная ошибка в устройстве Природы, убийственная подлость со стороны Человека, ибо его смерть, как и миллионы других преждевременных смертей, свидетельствовала бы об идиотизме и жестокости рода человеческого!.. Теперь он уже мог улыбаться, когда Грэтиана наклонялась над ним; но все пережитое только подлило масла в огонь, который всегда горел в его сердце

врача, огонь протеста против этой полудивилизованной породы обезьян, именующей себя человеческой расой. Что ж, он получил кратковременный отпуск с карнавала смерти! Он лежал и всеми вернувшимися к нему чувствами радовался тому, что жена возле него. Из нее получилась прекрасная сестра милосердия; его наметанный глаз отдавал ей должное: она была энергична и спокойна.

Джорджу Лэрду было тридцать лет. В начале войны он проходил практику в Ист-энде, а потом сразу пошел добровольцем в армию. Первые девять месяцев он провел в самой гуще войны. Заражение крови в раненой руке быстрее, чем любое начальство, дало ему отпуск домой. Во время этого отпуска он и женился на Грэтиане. Он был немного знаком с семьей Пирсонов и, зная, как неустойчиво все стало теперь в жизни, решил жениться на Грэтиане при первой возможности. Своему тестю он отдавал должное и даже любил его, но всегда испытывал к нему какое-то смешанное чувство не то жалости, не то презрения. В Пирсоне уживались властность и смирение, церковник и мечтатель, монах и художник, мистик и человек действия; такое смешение вызывало в Джордже немалый интерес, но чаще какое-то досадливое удивление. Он сам совершенно по-иному смотрел на вещи, и ему не было свойственно то смешное любопытство, которое заставляет людей восхищаться всем необычным только потому, что оно необычно. В разговорах друг с другом они неизбежно доходили до той черты, когда Джорджу хотелось сказать: "Если мы не должны доверять нашему разуму и чувствам и не будем всецело полагаться на них, сэр, тогда не будете ли вы любезны сказать, чему же нам верить? Как можно полностью полагаться на них в одних случаях, а в других случаях вдруг отказываться от этого?" В одном из таких споров, которые часто бывали язвительными, Джордж изложил свои взгляды более подробно.

- Я допускаю, - сказал он, - что есть какая-то великая конечная Тайна, которую мы никогда не познаем, - тайна происхождения жизни и основ Мироздания; но почему должны мы отбросить весь аппарат наших научных исследований и отрицать всякую достоверность нашего разума, когда речь идет, скажем, об истории Христа, или о загробной жизни, или о моральном кодексе? Если вы хотите, чтобы я вошел в ваш храм маленьких тайн, оставив на пороге свой разум и чувства - как магометане оставляют свою обувь, - тогда нельзя просто

пригласить меня: "Вот храм! Войди!" Вы должны еще показать мне дверь. А вы не можете этого сделать! И я скажу вам, сэр, почему. Потому что в вашем, мозгу есть какая-то маленькая извилина, которой нет в моем, или, наоборот, отсутствует извилина, которая есть в моем. И ничто, кроме этого, не разделяет людей на две главные категории - на тех, кто верит в бога, и на тех, кто не верит. О, конечно! Я знаю, вы не согласитесь с этим, потому что такой взгляд превращает все ваши религии в нечто естественное, а вы считаете их сверхъестественными. Но, уверяю вас, ничего другого нет. Ваш взор всегда устремлен вверх или вниз, но вы никогда не смотрите прямо перед собой. Ну, а я смотрю прямо!

В тот день Пирсон чувствовал себя очень усталым, и, хотя дать отпор такой атаке было для него жизненно важно, он не был в состоянии сделать это. Его мозг отказывался работать. Он отвернулся и подпер рукой щеку, словно желая прикрыть неожиданный прорыв его оборонительных позиций. Но через несколько дней он сказал:

- Теперь я могу ответить на ваши вопросы, Джордж. Я надеюсь, мне удастся заставить вас понять.

- Очень хорошо, сэр, - сказал Лэрд. - Давайте!

- Вы начинаете с допущения, что человеческий разум есть конечное мерило вещей. Какое право вы имеете утверждать это? Представьте себе, что вы муравей; тогда муравьиный разум будет для вас конечным мерилом, не правда ли? Но разве это мерило откроет вам истину? - Он довольно ухмыльнулся в бороду.

Джордж Лэрд тоже улыбнулся.

- Это звучит как сильный аргумент, сэр, - сказал он. - Но аргумент этот хорош, если вы только не вспомните, что я вовсе не говорил о человеческом разуме как о конечном, абсолютном мериле вещей. Я ведь сказал, что это наивысшее мерило, какое мы способны применить, и что за пределами этого мерила все остается темным и непознаваемым.

- Значит, Откровение для вас ничего не означает?

- Ничего, сэр.

- Тогда, я думаю, нам бесцельно продолжать спор, Джордж.

- Я тоже так думаю, сэр. Когда я разговариваю с вами, у меня такое чувство, будто борюсь с человеком, у которого руки связаны за спиной.

- А я, может быть, чувствую, что спорю с человеком, слепым от рождения.

И все-таки они часто спорили, и каждый раз на их лицах появлялась эта особенная, ироническая улыбка. Но они уважали друг друга, и Пирсон не был против того, чтобы его дочь вышла замуж за этого еретика, которого он знал как человека честного и заслуживающего доверия. Джордж и Гретиана поженились еще до того, как зажила его рука, и они выкроили себе медовый месяц, прежде чем он снова уехал во Францию, а она - в свой госпиталь в Манчестере. А потом, в феврале, они провели две недели на море - вот и вся их совместная жизнь!..

С утра Джордж попросил бульона и, выпив чашку, заявил:

- Мне надо кое-что сказать твоему отцу.

Хотя губы его улыбались, Гретиану обеспокоила его бледность, и она ответила:

- Скажи сначала мне, Джордж.

- Это о нашем с тобой последнем разговоре, Грэйси. Так вот, по ту сторону жизни нет ничего! Я сам заглянул туда: ничего, кроме тьмы, черной, как твоя шляпа.

Гретиана вздрогнула.

- Я знаю. Вчера вечером, когда ты лежал здесь, я сказала об этом отцу.

Он сжал ее руку.

- Мне тоже хочется сказать ему это.

- Папа ответит, что тогда теряется смысл жизни.

- А я скажу, что, наоборот, смысла в ней становится больше, Грэйси. Ах, как мы сами калечим нашу жизнь - мы, обезьяны в образе ангелов! Когда же наконец мы станем людьми, я спрашиваю? Мы с тобой, Грэйси, должны бороться за достойную жизнь для каждого. А не только размахивать руками по этому поводу! Наклонись ко мне. Как приятно снова прикоснуться к тебе! Все очень хорошо. А теперь мне хочется заснуть...

Когда утром врач заверил, что все обойдется, Пирсон вздохнул с облегчением, но ему пришлось еще выдержать тяжелую борьбу с собой. Что же написать в телеграмме Ноэль? Ему так хотелось, чтобы она снова была дома, подальше от соблазна, от грозящего ей легкомысленного и недостойного брака. Но может ли он умолчать о

том, что Джордж выздоравливает? Будет ли это честно? Наконец он послал такую телеграмму: "Джордж вне опасности, но очень слаб. Приезжай".

С вечерней почтой он получил письмо от Тэрзы:

"У меня было два долгих разговора с Ноэль и Сирилом. Их невозможно отговорить. Я серьезно думаю, дорогой Эдвард, что было бы ошибкой упорно сопротивляться их желанию. Он, может быть, не так скоро уедет на фронт, как мы предполагали. Не следует ли пойти на то, чтобы они сделали оглашение в церкви? Это дало бы отсрочку еще на каких-нибудь три недели; а когда придет время им расставаться, может быть, удастся уговорить их отложить свадьбу? Боюсь, что это единственный выход; если ты просто запретишь свадьбу, они сбегут и поженятся где-нибудь в регистрационном бюро".

Пирсон отправился в Сквер-Гарден и взял письмо с собой, чувствуя, что ему предстоят горестные размышления. У человека, который много лет был на положении духовного наставника, не могла не сложиться привычка судить других, и он осуждал Ноэль за опрометчивость и непокорство, а черточка упрямства в ее характере еще больше укрепила его в том, что как отец и священник он правильно судит о ней. Тэрза его разочаровала: она, видно, плохо представляет себе непоправимые последствия, которые может иметь этот поспешный и нескромный брак. Она, наверно, смотрит на это слишком легко; она думает, что можно все отдать на волю случая, а если случай обернется неблагоприятно, то все-таки останется какой-нибудь выход. А он полагает, что никакого выхода не будет. Он посмотрел на небо, словно ожидая оттуда поддержки. День был так прекрасен, и так горько было причинить боль своей девочке, даже если это пойдет ей на пользу! Что посоветовала бы ее мать? Он знал, что Агнесса всегда, так же глубоко, как он сам, верила в святость брака!

Он сидел, освещенный солнцем, и чувствовал, как ноет и все больше ожесточается его сердце. Нет, он поступит так, как считает правильным, каковы бы ни были последствия! Он вернулся в дом и написал, что не может дать согласия и требует, чтобы Ноэль немедленно вернулась домой.

## ГЛАВА V

Но в тот же самый день, даже в тот же час, Ноэль сидела на берегу реки, крепко прижав руки к груди, а рядом стоял Сирил Морленд и с выражением отчаяния на лице вертел в руках телеграмму: "Явиться в часть вечером. Полк отправляется завтра".

Какое утешение в том, что миллионы таких телеграмм получали за последние два года миллионы людей и тоже горевали? Можно ли утешиться тем, что солнце ежедневно заволакивается тучами для сотен беспокойных глаз? Радость жизни иссыкает, ее заносят пески безнадежности!

- Сколько нам еще остается, Сирил?

- Я заказал машину в гостинице и могу остаться здесь до полуночи. Я уложил вещи, чтобы у меня было больше времени.

- Тогда пусть оно будет целиком нашим. Пойдем куда-нибудь. Я захватила с собой шоколад.

Морленд ответил уныло:

- Я могу сделать так: за моими вещами машину пришлют сюда, а потом она заберет меня в гостинице; тогда уж тебе придется передать всем прощальный привет от меня. А мы сейчас пойдем с тобой вдоль железной дороги, там мы никого не встретим...

Озаренные ярким солнцем, они шли рука об руку вдоль сверкающих рельсов. Было около шести часов, когда они добрались до Аббатства.

- Возьмем лодку, - сказала Ноэль. - Мы можем вернуться сюда, когда взойдет луна. Я знаю, как попасть в Аббатство, когда ворота закрыты.

Они наняли лодку и поплыли к далекому берегу. Когда лодка причалила, они уселись на корме рядом, плечом к плечу; высокий лес отражался в воде, и она казалась густо-зеленой. Они почти не разговаривали, - лишь изредка сорвется нежное слово, или один укажет другому на плеснувшую рыбу, на птицу, на стрекоз. Что толку строить планы на будущее - заниматься этим обычным делом влюбленных? Тоска парализовала их мысли. Что им оставалось? Только жаться поближе друг к другу, сидеть сплетя руки и касаясь губами губ другого. На лице Ноэль застыло какое-то тихое, странное ожидание, словно она на что-то надеялась. Они съели шоколад. Солнце садилось, уже пала роса; вода меняла окраску - становилась светлее; небо побледнело, стало аметистовым; тени удлинились и

медленно расплывались. Было уже больше девяти часов; пробежала водяная крыса, белая сова перелетела через реку в сторону Аббатства. Выходила луна, но свет ее был еще бледен. Они не замечали всей этой красоты - слишком юные, слишком влюбленные, слишком несчастные.

Ноэль сказала:

- Когда луна поднимется над этими деревьями, Сирил, мы вернемся на тот берег. Будет уже темно.

Они ждали, следя за луной, которая бесконечно медленно поднималась, с каждой минутой становясь все ярче.

- Пора, - сказала Ноэль.

И Морленд принялся грести к другому берегу. Они вышли из лодки, и Ноэль повела его мимо пустого коттеджа к сарайчику, крыша которого вплотную прилегала к низкой внешней стене Аббатства.

- Вот здесь мы можем подняться, - прошептала она.

Они вскарабкались на стену, спустились в заросший травой дворик, потом прошли во внутренний двор и укрылись в тени высоких стен.

- Который час? - спросила Ноэль.

- Половина одиннадцатого.

- Уже?! Давай сядем здесь в тени и будем смотреть на луну.

Они сели, прижавшись друг к другу. На лице Ноэль все еще было это странное выражение ожидания; Морленд покорно сидел, положив руку ей на сердце, и его собственное сердце билось так, что он едва не задыхался. Они молчали, тихие, как мыши, и следили за поднимающейся луной. Вот она бросила тусклый зеленоватый отблеск на высокую стену, потом свет опустился ниже, становясь все ярче; уже можно было различить траву и лишай на стене. Свет приближался. Он уже посеребрил тьму над их головами. Ноэль потянула Сирила за рукав и прошептала: "Смотри!" Они увидели белую сову, легкую, как ком снега; она плыла в этом неземном свете, словно летела навстречу луне. И как раз в это мгновение край луны выпянул из-за стены, точно стружка, сверкающая серебром и золотом. Она росла, превратилась в яркий раскрытый веер, потом стала круглой, цвета бледного меда.

- Вот она, наша! - прошептала Ноэль.

Стоя на обочине дороги, Ноэль прислушивалась до тех пор, пока шум уходящей машины не затерялся в холмистой долине. Она не

заплакала, только провела рукой по лицу и пошла домой, стараясь держаться тени деревьев. Сколько лет прибавилось ей за эти шесть часов - после того, как была получена телеграмма! Несколько раз на протяжении полутора миль она выходила в полосу яркого лунного света, вынимала маленькую фотографию и, поцеловав ее, снова прятала у сердца, не думая о том, что маленький портрет может пострадать от теплоты ее тела.

Ноэль ничуть не раскаивалась в своей безрассудной любви; эта любовь была ее единственным утешением среди гнетущего одиночества ночи; она поддерживала ее, помогала идти дальше с каким-то ощущением гордости, словно ей выпала самая лучшая в мире судьба. Теперь он принадлежал ей навеки, несмотря ни на что. Она даже не думала о том, что сказать, когда вернется домой. Она вступила в аллею и прошла ее как во сне. У крыльца стоял дядя Боб, она слышала, как он что-то бормочет. Ноэль вышла из тени деревьев, подошла к нему вплотную и, глядя в его взволнованное лицо, проговорила спокойно:

- Сирил просил меня пожелать вам всего лучшего, дядя. Спокойной ночи!

- Но послушай, Нолли... послушай же...

Она прошла мимо него прямо в свою комнату. Стоявшая там у дверей тетка Тэрза хотела поцеловать ее. Ноэль отшатнулась.

- Нет, тетушка, только не сейчас! - И, проскользнув мимо нее, заперла дверь.

Вернувшись к себе, Боб и Тэрза Пирсоны искоса поглядели друг на друга. Они радовались тому, что племянница вернулась здоровой и невредимой, но их смущали другие мысли. Боб Пирсон высказался первым:

- Фу! А я уж думал, что придется искать в реке. До чего доходят нынешние девушки!

- Это все война, Боб.

- Мне не понравилось ее лицо, старуха. Не знаю, в чем тут дело, но мне не понравилось ее лицо.

Оно не понравилось и Тэрзе, но она промолчала, чтобы приободрившийся Боб не слишком близко принимал все это к сердцу. Он так тяжело и так бурно все переживает! Она только сказала:

- Бедные дети! Но я думаю, это будет облегчением для Эдварда!

- Я люблю Нолли, - неожиданно заявил Боб Пирсон. - Она нежное создание. Черт побери, мне ее жаль. Но, право же, молодой Морленд может гордиться. Правда, ему пришлось нелегко, да и мне не захотелось бы расставаться с Нолли, будь я молод... Слава богу, ни один из наших сыновей не помолвлен. Проклятие! Когда я думаю о тех, кто на фронте, и о себе самом, я чувствую, что у меня голова раскалывается. А эти политики еще разглагольствуют во всех странах, как у них только хватает наглости!

Тэрза с тревогой смотрела на него.

- Она даже не пообедала, - сказал неожиданно Боб. - Как ты думаешь, что они там делали?

- Держали друг друга за руки, бедняжки! Знаешь ли ты, сколько сейчас времени, Боб? Почти час ночи,

- Ну, должен сказать, вечер у меня был испорчен. Давай ложиться, старушка, а то ты ни на что не будешь годна завтра.

Он скоро уснул, а Тэрза лежала без сна; она, собственно говоря, не волновалась, потому что это было не в ее характере, но все время она видела перед собой лицо Ноэль - бледное, томное, страстное, словно девушка уносилась куда-то на крыльях воспоминаний.

## ГЛАВА VI

Ноэль добралась до отцовского дома на следующий день к вечеру. В передней лежало для нее письмо. Она разорвала конверт и прочитала:

"Моя любимая,

Я доехал благополучно и сразу пишу тебе, что мы проедем через Лондон и отправимся с вокзала Черингкросс, должно быть, сегодня около девяти вечера. Я буду ждать тебя там, если только ты поспеешь вовремя. Каждую минуту думаю о тебе и о нашей вчерашней ночи. О, Ноэль!

Обожающий тебя С."

Она посмотрела на ручные часы, которые раздобыла себе, как и всякая патриотка. Восьмой час! Если она промедлит еще, Грэтiana и отец, наверное, вцепятся в нее.

- Отнеси мои вещи, Диана. У меня в дороге разболелась голова; я немного прогуляюсь. Вероятно, вернусь в десятом часу. Передавай мой привет всем.

- О, мисс Ноэль, но не можете же вы...

Ноэль уже исчезла. Она шагала в сторону вокзала Черинг-кросс; чтобы убить время, она вошла в ресторан и заказала простой ужин - кофе и сдобную булочку, которыми всегда довольствуются влюбленные, если только общество насильно не питает их разными другими вещами. Думать сейчас о еде казалось ей смехотворным. Она попала в людской муравейник, тут были какие-то личности, которые ужасно много ели. Место это напоминало современную тюрьму, по стенам зала ярусами шли галереи, в воздухе носились запахи еды, гремели тарелки, играл оркестр. Повсюду сновали мужчины в хаки, и Ноэль вглядывалась то в одного, то в другого, надеясь, что по какому-нибудь счастливому случаю здесь вдруг окажется тот, который представлял для нее все - жизнь и британскую армию. В половине девятого она вышла и пробралась через толпу, все еще машинально ища то хаки, к которому рвалась ее душа; к счастью, в ее лице и походке было что-то трогательное, и ее не задевали. На станции она подошла к старому носильщику, сунула ему шиллинг, страшно его удивив, и попросила узнать, откуда отправляется полк Морленда. Он быстро вернулся и сказал:

- Следуйте за мной, мисс.

Ноэль пошла. Носильщик хромал, у него были седые бакенбарды и неуловимое сходство с дядей Бобом - может быть, поэтому она инстинктивно и подошла к нему.

- Брат уезжает на фронт, мисс?

Ноэль кивнула.

- А! Эта жестокая война! Уж я-то не огорчусь, когда она кончится. Мы тут провожаем, и встречаем, и видим очень печальные сцены. Правда, у ребят бодрый дух, скажу я вам. Я никогда не смотрю теперь на расписание, только думаю: "Все поезда идут туда и все - товарные!" Я бы охотнее обслужил вас в тот день, когда ребята вернутся назад! Когда я подношу кому-нибудь чемодан, мне все кажется: "Вот еще один - для преисподней!" Так уж оно есть, мисс, так говорят все. У меня у самого сын там... Вот здесь они будут грузиться! Вы стойте спокойно и следите, и у вас будет несколько минут - повидаться с ним, когда он придет со своими солдатами. На вашем месте я бы не двигался; он так прямо и подойдет к вам; он не может миновать вас здесь.

Глядя в ее лицо, он подумал: "Просто удивительно, как много уезжает этих братьев! Ох-ох, бедная маленькая мисс! Должно быть, из хорошего дома. Она отлично владеет собой. Да, ей тяжело!" И, желая утешить ее, он пробормотал:

- Самое лучшее место, чтобы увидеть его. Спокойной ночи, мисс. Я больше ничего не могу сделать для вас?

- Нет, благодарю. Вы очень любезны.

Старик раз или два оглянулся на неподвижную фигурку в синем платье. Он поставил ее возле маленького оазиса из нагроможденных друг на друга пустых молочных бидонов, много ниже платформы, на которой собралось с той же целью несколько штатских. Железнодорожный путь был пока пуст. В серой необъятности станции, в ее шумном водовороте Ноэль не чувствовала себя одинокой, но и не замечала других ожидающих; она вся была поглощена одной мыслью - увидеть его, прикоснуться к нему. На рельсы вползал пустой состав, он дал задний ход, остановился, вагоны с лязгом столкнулись, состав снова попятился и наконец остановился. Ноэль посмотрела на сводчатые выходы из вокзала. Ее охватила дрожь, словно полк уже посылал ей издали трепетные звуки марша.

Ноэль еще никогда не видала, как уходят воинские эшелоны. У нее было только смутное представление о молодецком строе, о реющих знаменах и грохоте барабанов. И вдруг она заметила, что какая-то коричневая масса заполняет дальний край платформы; потом от нее отделилась тоненькая коричневая струйка, и вот она течет в ее сторону; ни звука музыки, ни колыхания знамен. Ей страшно захотелось броситься к барьеру, но она вспомнила слова носильщика и осталась стоять на месте, судорожно сцепив пальцы. Струйка превратилась в ручей, ручей в поток, он уже приближался к ней. Заполняя платформу гулом голосов, шагали загорелые солдаты, навьюченные до затылка, с винтовками, торчащими в разные стороны; напрягая глаза, она всматривалась в этот поток или, скорее, движущийся лес, пытаясь отыскать в нем нужное ей единственное дерево. Голова у нее кружилась от волнения, от усилий распознать его голос среди нестройного шума этих веселых, грубых, беспечных голосов. Некоторые солдаты, заметив ее, прищелкивали языками, другие проходили молча, третьи пристально вглядывались в нее, словно она и была той, кого они искали. Коричневый поток и шум

голосов постепенно растекались по вагонам, но солдат все прибавлялось. А она ждала, не сходя с места, и страх ее возрастал. Как он может найти ее или она - его? Она видела, что многие из провожающих уже нашли своих солдат; ее мучило желание броситься в сторону платформы; но она все ждала. И вдруг она увидела его у самых вагонов, он шел с двумя молодыми офицерами; все трое неторопливо приближались к ней. Она замерла, не сводя с него глаз; офицеры прошли, и она чуть не закричала им вслед. Но тут Морленд повернулся, отделился от остальных и направился к ней. Он увидел ее еще раньше, чем она его. Он был красен, на лбу, над голубыми глазами, застыла морщинка, челюсти были сжаты. Они стояли, глядя друг на друга, крепко держась за руки; воспоминания прошлой ночи так переполняли их сейчас, что заговорить не было никаких сил. Молочные бидоны образовали что-то вроде укрытия, и молодые люди стояли так близко друг к другу, что никто не мог видеть их лиц. Ноэль первая обрела дар речи; слова, как всегда произносимые нежным голосом, сыпались из ее дрожащих губ:

- Пиши мне часто, как только сможешь, Сирил! Я скоро буду сестрой милосердия. Когда получишь первый отпуск, я приеду к тебе, не забывая.

- Забыть?! Отодвинься немного назад, дорогая, нас не увидят здесь. Поцелуй меня!

Она отодвинулась и, подняв голову, чтобы ему не надо было наклоняться, прижалась губами к его губам. Потом, почувствовав, что ей вот-вот станет дурно и она упадет на бидоны, отняла губы и подставила ему лоб. Целуя, он бормотал:

- Дома все обошлось, когда ты вернулась ночью?

- Да; и я со всеми распрощалась за тебя.

- О, Ноэль, я все время боялся!.. Я не должен был... Я не должен был!..

- Нет, нет; теперь ничто не может разлучить нас,

- Ты была такой смелой!

Смелее меня. Раздался долгий гудок. Морленд судорожно сжал ее руки.

- До свидания, моя женушка! Не горюй! Прощай! Мне пора. Благослови тебя бог, Ноэль.

- Я люблю тебя!

Они смотрели друг на друга еще мгновение, потом она отняла руки и еще постояла в тени молочных бидонов, оцепенелая, провожая его глазами, пока он не исчез в вагоне.

В каждом окне полно было этих коричневых фигур с загорелыми лицами, люди махали руками, смутно звучали голоса, где-то кто-то кричал "ура"; какой-то солдат, высунувшись из окна, затянул песню "Старая моя подружка..." Ноэль стояла тихо в тени молочных бидонов, губы ее были плотно сжаты, руки она скрестила на груди; а молодой Морленд, стоя у окна, не отрываясь, смотрел на нее...

Как она очутилась на скамейке на Трафальгар-сквере, Ноэль не помнила. Слезы застилали ей глаза, и она, как сквозь пелену, видела толпу гуляющих лондонцев, шумную в этот летний вечер. Глаза ее машинально следили за бродящими по небу лучами прожекторов, этими новыми млечными путями, которые рассекали небо и указывали путь в никуда. Все это было удивительно красиво: небо бледной синевы, луна, посеребрившая шпиль церкви Сент-Мартина, превратившая огромные здания в сказочные дворцы. Даже львы Трафальгарской площади словно ожили и глядели на эту лунную пустыню и на человеческие фигурки, слишком маленькие, чтобы стоило протянуть к ним лапу. Она сидела со страшной болью в сердце, словно тоска всех осиротевших сердец столицы переселилась в него. Сегодня она переживала свою потерю в тысячу раз острее: в прошлую ночь она была опьянена новым для нее ощущением победившей любви, а теперь чувствовала себя так, словно жизнь загнала ее в угол огромной пустой комнаты, погасила веселые огни и заперла дверь. У нее вырвалось короткое, сухое рыдание. Она вспомнила сенокос, Сирила в расстегнутой рубашке, с обнаженной шеей, - он копил сено и все время смотрел на нее, а она рассеянно тыкала вилами, подбирая остатки; вспоминала и сверкающую реку, и лодку, приставшую к песчаному берегу, и ласточек, сновавших над их головами, и этот долгий вальс, когда она все время чувствовала его руку на спине! Воспоминания были такими сладостными, такими острыми, что она чуть не закричала. Снова перед ней предстал этот темный, поросший травой дворик в Аббатстве и белая сова, летящая над ними. Белая сова! Она, наверно, и сегодня полетит туда же, но уже не увидит влюбленных внизу, на траве. А сейчас Сирил был только коричневой частичкой этого огромного, бурлящего коричневого

потока солдат, текущего в гигантское коричневое море. Жестокие минуты на платформе, когда она все искала и искала в этом шагающем лесу свое единственное дерево, казалось, навсегда выжжены в ее сердце. Сирил исчез, она уже не могла различить его, он растворился в тысяче других силуэтов. И вдруг она подумала: "А я - я ведь тоже исчезла для него; он никогда не видел меня дома, не встречался со мною в Лондоне; скоро он даже не сможет ясно представить меня. Теперь все в прошлом, только в прошлом - для нас обоих. Есть ли хоть кто-нибудь еще такой же несчастный?" И голоса города: стук колес, шум шагов, свистки, разговоры, смех - отвечали ей равнодушно: "Нет никого". Она посмотрела на свои ручные часы. Как и на часах Сирила, на них были светящиеся стрелки. "Половина одиннадцатого", - говорили зеленоватые цифры. Она поднялась в смятении. Дома подумают, что она заблудилась, что ее переехали, вообразят еще какие-нибудь глупости! Она не могла найти свободного такси и пошла пешком, не очень разбираясь в дороге в эти ночные часы. Наконец она остановила полисмена и спросила:

- Скажите, пожалуйста, как пройти в сторону Блумсбери? Я не могу найти такси.

Полисмен посмотрел на нее и некоторое время размышлял. Потом сказал:

- Такси? Они сейчас выстраиваются возле театров, мисс. - Он снова оглядел ее. Казалось, что-то в нем пробудилось. - Мне надо туда же, мисс. Если хотите, можете идти со мной.

Ноэль пошла с ним рядом.

- Теперь улицы не такие, как им положено быть, - заговорил он. Во-первых, темно, и девушки совсем потеряли голову, прямо удивительно, сколько их шляется. Тут всему виной солдаты, я думаю.

Ноэль почувствовала, как запылали ее щеки.

- Осмелюсь спросить, замечаете ли вы, - продолжал полисмен, - но эта война - забавная штука. На улицах стало веселее и многолюднее по ночам; просто сплошной карнавал. Что мы будем делать, когда наступит мир, я просто ума не приложу. Но я думаю, у вас, в вашем районе, поспокойнее, мисс?

- Да, - сказала Ноэль, - там совсем спокойно.

- В Блумсбери нет солдат. У вас есть кто-нибудь в армии, мисс?

Ноэль кивнула.

- Ах, тревожные времена пришли для женщин! Во-первых, эти цеппелины, и потом - мужья и братья во Франции - все это так мучительно. У меня самого погиб брат, а теперь сын воюет где-то на Ближнем Востоке; мать страшно тоскует. Что мы только будем делать, когда все кончится, даже ума не приложу... Эти гунны - просто гнусная банда!

Ноэль взглянула на него; высокий человек, подтянутый и спокойный, с одной из тех внушительных физиономий, которые часто встречаются у лондонских полисменов.

- Мне очень жаль, что вы уже потеряли кого-то, - сказала она. - А я еще никого из близких не потеряла, пока.

- Что же, будем надеяться, что этого не случится, мисс. Времена такие, что сочувствуешь другим, а это много значит. Я заметил перемену даже в тех людях, которые раньше никогда никому не сочувствовали. И все-таки я видел много жестоких вещей - так уж приходится нам в полиции. Вот, например, эти англичанки, жены немцев, или эти безобидные немецкие булочники, австрияки и всякие там прочие; для них наступили тяжелые времена; это их беда, а не вина - вот мое мнение; а обращаются с ними так, что просто иногда стыдишься, что ты англичанин. Да, стыдишься. А женщинам сейчас хуже всех приходится. Я только вчера говорил жене. "Они называют себя христианами, - сказал я, - а при всей своей любви к ближнему ведут себя не лучше этих гуннов". Но она не понимает этого, не понимает! "Хорошо, а почему они бросают бомбы?" спрашивает она. "Бомбы? - говорю я. - Это английские-то жены да булочники бросают бомбы? Не говори глупостей. Они так же ни в чем не повинны, как и мы. Просто невинные люди страдают за чужую вину". "Но они все шпионы", говорит она. "Ну, - говорю я, - старуха! Как не стыдно так думать, в твои-то годы!" Да только женщине разве что втолкуешь? А все оттого, что начитались газет. Я часто думаю, что их, наверно, пишут женщины, - извините меня, мисс; и, право же, вся эта истерика и ненависть просто с ног могут свалить человека. А у вас в доме тоже так ненавидят немцев, мисс?

Ноэль покачала головой.

- Нет. Понимаете, мой отец - священник.

- А! - сказал полисмен. Взгляд, который он бросил на Ноэль, говорил о возросшем уважении к ней.

- Конечно, - продолжал он, - наше чувство справедливости порой возмущается этими гуннами. Их поступки иногда просто переходят всякие границы. Но вот о чем я всегда думаю, хотя, конечно, не высказываю этого не хочется ведь, чтобы о тебе думали дурно, - так вот сам я часто думаю: посмотреть на каждого немца в отдельности - и увидишь, что они в общем такие же люди, как и мы, осмелюсь сказать. Их просто скверно воспитали, обучали действовать скопом, потому они и превратились в таких бандитов. По своей профессии мне не раз приходилось видеть толпу, и у меня очень невысокое мнение о ней. Толпа совершает самые жестокие ошибки и кровавые злодеяния, которые только бывают на свете. Толпа похожа на расвирепевшую женщину, у которой повязка на глазах, - что может быть опаснее? Эти немцы, мне кажется, всегда действуют, как толпа. У них в голове только то, что говорят их кайзер Билл и вся эта кровожадная шайка; они никогда не живут своим умом.

- Я думаю, что их расстреливали бы, если бы они жили своим умом, сказала Ноэль.

- Да, наверно, так и есть, - сказал задумчиво полисмен. - У них дисциплина поставлена очень высоко, это несомненно. А если вы спросите меня... - он понизил голос, так что его слов почти не было слышно из-за ремешка, охватывающего подбородок. - Мы скоро дадим им как следует. То, что мы защищаем, - дело нешуточное... Посмотрите: тут тебе город без огней, тем-ные улицы, а там иностранцы, и их магазины, и бельгийские беженцы, и английские жены, и солдаты с женщинами, и женщины с солдатами, и эта самая партия мира, и жестокое обращение с лошадьми, и кабинет министров, который все меняется, а теперь еще появились эти "кончи" {"Кончи" - сокращенное "Conscientious objectera" - "добросовестно возражающие" - движение отказывающихся от военной службы по политическим или религиозным соображениям.}. А нам, учтите, даже жалованья не прибавили! Для полиции нет военных ставок. Насколько могу судить, война дала только один хороший результат: сократились кражи со взломом. Но, помяните мое слово, скоро и здесь у нас будет рекордный урожай, не будь моя фамилия Харрис.

- У вас, наверно, очень беспокойная жизнь? - спросила Ноэль.

Полисмен посмотрел на нее искоса, как умеют смотреть только люди его профессии, и сказал снисходительно:

- Это - дело привычное, видите ли; в том, что делаешь постоянно, уже нет ничего беспокойного. Говорят, беспокойно в окопах. Возьмите наших моряков. Сколько их было взорвано и сколько взлетает в воздух снова и снова, а они все идут да записываются! Вот в чем ошибка немцев! Англия военного времени! Я часто, обходя улицы, размышляю - тут ведь ничего не поделаешь, мозг просит работы, - и чем больше думаю, тем больше вижу, что у нашего народа боевой дух. Мы не поднимаем вокруг этого такого шума, как кайзер Билл. Посмотрите на мелкого лавочника или на бедняков, у которых разбомбили дома. Вы увидите, что они смотрят на всю эту кашу с отвращением. Но приглядитесь к их лицам - и вы увидите, что они готовы драться не на жизнь, а на смерть. Или возьмите какого-нибудь из наших томми {Прозвище английских солдат.}, он ковыляет на костылях, и пот течет с его лба, и глаза лезут на лоб от усилия, и все-таки идет, шагает вперед - тут вы можете получить понятие! Жаль мне этих ребят из партии мира, право же жаль; они и сами не знают, против чего борются. Я думаю, бывают минуты, когда вам хотелось бы быть мужчиной, не правда ли, мисс? А иногда и мне как будто хочется пойти в окопы. В моей работе самое скверное то, что ты не можешь быть человеком - в полном смысле этого слова. Ты не должен выходить из себя, тебе нельзя пить, разговаривать; эта профессия держит человека в очень узких рамках. Ну вот, мисс, вы и дошли. Ваша площадь - первый поворот направо. Спокойной ночи и спасибо вам за беседу.

Ноэль протянула руку.

- Спокойной ночи, - сказала она.

Полисмен взял ее руку с каким-то смущением; он был явно польщен.

- Спокойной ночи, мисс, - повторил он. - Я вижу, у вас горе; но надеюсь, что все обернется к лучшему.

Ноэль пожала его огромную лапу; глаза ее наполнились слезами, и она быстро повернула к площади.

Ей навстречу двинулась какая-то темная фигура. Она узнала отца. Лицо его было усталым и напряженным, он шел неуверенно, как человек, что-то потерявший.

- Нолли! - воскликнул он. - Слава богу! - В его голосе слышалось бесконечное облегчение. - Дитя мое, где ты была?

- Все хорошо, папа: Сирил только что уехал на фронт. Я провожала его с вокзала Черинг-кросс.

Пирсон обнял ее. Они молча вошли в дом...

Сирил Морленд стоял в стороне от остальных, у поручней палубы морского транспорта, и смотрел на Кале. Перед ним, как во сне, вырисовывался город, сверкающий под жарким солнцем. Сирил уже слышал доносившийся издали гром пушек, голос его новой жизни. Вот она уже наступала, эта жизнь, полная неведомых тревог, а он весь еще был во власти нежных, удивительных воспоминаний: он видел Ноэль на траве, освещенную луной, темную стену Аббатства. Мгновенный переход от одного чуда к другому - это было нелегко для юноши, непривычного к серьезным размышлениям, и он стоял, тупо уставившись на Кале, а гром его новой жизни все накатывался, поглощая ту волнующую лунную мечту.

## ГЛАВА VII

После потрясений минувших трех дней Пирсон проснулся с ощущением, какое мог бы испытывать корабль, наконец приставший к берегу. Такое ощущение естественно, но, как правило, обманчиво, потому что события в такой же мере чреватые будущим, в какой сами порождены прошлым. Снова быть дома, с дочерьми, отдыхать - ибо его отпуск еще продлится десять дней, - как в былые времена. Джордж поправляется очень быстро, и Гретиана становится прежней. Сирил Морленд уехал, и Ноэль избавится от этой внезапной любовной лихорадки юности. Если в ближайшие дни Джордж совсем выздоровеет, можно будет поехать куда-нибудь с Ноэль и провести там последнюю неделю отдыха. А пока - в этом старом доме, в котором скопилось столько воспоминаний о счастье и горе, и в обществе дочерей так же можно отдохнуть, как во время их былых скитаний на каникулах где-нибудь в Уэльсе или Ирландии. В это первое утро полной праздности - никто не знал, что он вернулся в Лондон, - он мог бездельничать, играть на рояле в их просто обставленной гостиной, где ничто не изменилось после смерти его жены; и он испытывал истинное наслаждение. Он еще не видел дочерей; Ноэль не сошла вниз к завтраку, а Гретиана была с Джорджем.

Прошло еще два дня, и он сделал открытие, что его отделяет от дочерей какой-то барьер. Ему не хотелось признаваться в этом, но барьер был. Это чувствовалось по их голосам, по движениям - скорее,

исчезло что-то из прежнего, чем появилось нечто новое. Было так, словно каждая из них говорила ему: "Мы любим тебя, но ты не знаешь наших секретов и не должен знать, потому что ты будешь пытаться проникнуть в них". Они его не боялись, но как бы бессознательно отодвигали в сторону, чтобы он не мог запретить или изменить то, что кажется для них самым дорогим. Обе они очень любили его, но каждая шла по своему пути. И чем сильнее была его любовь, тем настороженнее они относились к вмешательству этой любви в их жизнь. С лица Ноэль не сходило выражение подавленности и в то же время гордости - это и трогало и раздражало Пирсона. Что он сделал такого, что потерял право на ее доверие? Ведь она сама должна понять, насколько естественным и правильным было его сопротивление их браку! Однажды, сделав над собой огромное усилие, он решил высказать ей свое сочувствие. Но она только ответила: "Я не могу говорить о Сириле, папа, просто не могу!" И он, сам столь часто уходивший в свою скорлупу, не мог не посчитаться с ее замкнутостью.

С Грэтианой дело обстояло иначе. Он знал, что ему не миновать столкновения с ее мужем; характерно, что изменение, происшедшее в ней, упадок ее веры, - он приписывал влиянию Джорджа, а не ее собственным, внезапно возникшим мыслям и чувствам. Он страшился этого столкновения и все же ждал его. Оно произошло на третий день, когда Лэрд уже начал поправляться и лежал на том самом диване, на котором Пирсон выслушивал признания Грэтианы в ее неверии. Он по-настоящему еще и не повидался с зятем - только заглядывал к нему в комнату, чтобы пожелать доброго утра. Молодого врача нельзя было назвать хрупким - широкое лицо, квадратный подбородок, тяжелые скулы, - но все-таки на нем оставила свой след отчаянная борьба, которую он перенес, и сердце Пирсона сжалось.

- Ну, Джордж, - сказал он, - задали же вы нам страху! Я благодарю бога за его милосердие.

Этой почти машинальной фразой он как бы бессознательно бросил вызов Лэрду. Тот насмешливо посмотрел на него.

- Значит, вы и в самом деле считаете, что бог милосерден, сэр?

- Не будем спорить, Джордж; вы еще недостаточно окрепли.

- О! Я просто изнываю от желания вцепиться в этот вопрос.

Пирсон посмотрел на Грэтиану и сказал мягко:

- Милосердие божие безгранично, и вы оба знаете, что это так.

Лэрд, прежде чем ответить, тоже посмотрел на Грэтиану.

- Милосердие божие, наверно, стоит того же, что и милосердие людей. А как оно велико, об этом говорит нам война, сэр.

Пирсон вспыхнул.

- Мне не ясна ваша мысль, - сказал он с болью. - Как можете вы говорить такие вещи, когда вы сами только что... Нет! Я отказываюсь спорить, Джордж. Я отказываюсь.

Лэрд подал знак Грэтиане, она подвинулась к нему, и он крепко сжал ей руку.

- Хорошо. Тогда я буду спорить, - сказал он. - Меня просто распирает от желания поспорить. Я предлагаю вам, сэр, показать мне, есть ли в чем-либо, кроме человека, признаки милосердия. Материнская любовь не идет в счет: мать и дитя в основном одно и то же.

Оба одновременно иронически усмехнулись.

- Милый Джордж, разве человек не высшее создание бога, а милосердие не высшее качество человека?

- Нисколько. Если все геологическое время принять за одни сутки, то жизнь людей на земле составила бы примерно две секунды; а еще через несколько секунд, когда люди уже исчезли бы с лица земли, геологическое время продолжалось бы, пока земля не стукнулась бы о что-нибудь и снова не превратилась в туманность. Бог был не так уж сильно занят, сэр, не правда ли? Всего две секунды из двадцати четырех часов - для человека, который есть его любимейшее создание! А что касается до милосердия и до того, что оно есть высшее качество человека, то это только современный стиль разговора. Наивысшее качество человека - это ощущение меры вещей, и только благодаря этому он выживает; а милосердие, если говорить логически, могло бы только его истребить. Это для него роскошь или побочный продукт.

- Джордж, в вашей душе совсем нет музыки. Наука - это такая малая вещь! Если бы только вы могли это понять!

- Покажите мне нечто большее, сэр.

- Вера.

- Во что?

- В то, что открылось для нас.

- А! Опять об этом. Кем же открылось и как?

- Самим богом. Через нашего спасителя.

Легкий румянец окрасил желтое лицо Лэрда, и глаза его заблестели.

- Христос! - сказал он. - Если он существовал, в чем некоторые, как вы знаете, сомневаются, он был очень хорошим человеком. Были и другие пророки. Но требовать в наше время, чтобы мы верили в его сверхъестественность или божественность, - это значит требовать от нас, чтобы мы шли по земле с завязанными глазами. А именно этого вы и требуете, не правда ли?

Снова Пирсон посмотрел в лицо дочери. Она стояла очень тихо, не сводя глаз с мужа. Каким-то чутьем он угадывал, что слова больного обращены, по сути дела, к ней. Гнев и отчаяние подымались в нем, и он с горечью сказал:

- Я не могу объяснить. Есть вещи, которые я не могу сделать совершенно ясными, потому что вы сознательно закрываете глаза на то, во что я верю. За что, по-вашему, мы сражаемся в этой великой войне, как не за то, чтобы восстановить веру в любовь как главный принцип жизни?

Лэрд покачал головой.

- Мы воюем за то, чтобы удержать равновесие, которое вот-вот могло быть нарушено.

- Равновесие сил?

- Господи, нет! Равновесие философии. Пирсон улыбнулся.

- Это звучит очень умно, Джордж, но опять-таки я не улавливаю вашу мысль.

- Я говорю о равновесии между двумя поговорками: "Сила есть право" и "Право есть сила". Обе эти пословицы - только полуправда. Но первая вытеснила вторую со сцены. А все остальное - ханжество. Тем временем, сэр, ваша церковь продолжает требовать наказания грешников. Где же здесь милосердие? Либо бог вашей церкви немилосерден, либо ваша церковь не верит в своего бога.

- Но ведь наказание не исключает милосердия, Джордж!

- В природе это исключается.

- Ах! Природа, Джордж, - вечно природа! Бог превыше природы.

- Тогда почему же он отпустил поводья и не управляет ею? Если человек привержен к пьянству или к женщинам, - милосердна ли к нему природа? Наказание, которое он получает, равноценно его

распушенности; пусть человек молится богу, сколько хочет; если он не изменит своих привычек, он не дожидется милосердия. А если изменит, он все равно не будет вознагражден никаким милосердием: он просто получит от природы то, что ему причитается. Мы, англичане, которые всегда пренебрегали разумом и образованием, - много ли милосердия мы видим в этой войне? Милосердие - искусственное украшение, созданное человеком, болезнь или роскошь - называйте как хотите. А так вообще я ничего не могу сказать против милосердия. Наоборот, я целиком за него.

Пирсон еще раз взглянул на дочь. Что-то в ее лице тревожило его: то ли тихая сосредоточенность, с которой она прислушивалась к каждому слову мужа, то ли этот жадный, вопрошающий взгляд. И он пошел к двери, сказав:

- Вам нельзя волноваться, Джордж.

Он увидел, как Грэтиана положила руку на лоб мужа, и ревниво подумал: "Как могу я спасти мою бедную дочь от этого неверия? Неужели двадцать лет моего попечения о ней ничто перед этим современным духом?"

Когда он вернулся в кабинет, в его голове промелькнули слова: "Свят, свят, свят, милосерден и всемогущ!" Подойдя к стоявшему в углу пианино, он открыл его и стал наигрывать церковные гимны. Он играл, осторожно прикасаясь к стертým клавишам этого тридцатилетнего друга, который был с ним еще в годы учения в колледже, и тихо подпевая утомленным голосом. Шум шагов заставил его поднять глаза: вошла Грэтиана. Она положила руку ему на плечо и сказала:

- Я знаю, это причиняет тебе боль, отец, но ведь мы сами должны доискиваться до истины, правда? Все время, пока ты разговаривал с Джорджем, я чувствовала одно: ты не замечаешь, что перемена произошла именно во мне. Это не его мысли; я пришла сама к тому же выводу. Мне хотелось бы, чтобы ты понял: у меня свой разум, папа.

Пирсон посмотрел на нее с изумлением.

- Конечно, у тебя свой разум.

Грэтиана покачала головой.

- Нет. Ты всегда думал, что разум у меня твой; а теперь думаешь, что это разум Джорджа. Но он мой собственный. Когда ты был в моем

возрасте, разве ты не старался всеми силами самостоятельно искать истину и не расходился в этом с твоим отцом?

Пирсон не отвечал. Он не мог вспомнить. Это было все равно, что пошевелить палкой кучу прошлогодних листьев, но услышать только сухой шорох да вызвать смутное ощущение небытия. Искал ли он? Разумеется, искал. Но это не дало ему ничего. Знания - это дым. Только в эмоциональной вере - истина и подлинная реальность!

- Ах, Грэйси, - сказал он. - Ищи, если это тебе нужно. Но где ты найдешь истину? Источник слишком глубок для нас. Ты вернешься к богу, дитя мое, когда устанешь искать; единственное отдохновение - в нем.

- Я не ищу отдохновения. Некоторые люди ищут всю жизнь и умирают, так ничего и не отыскав. Почему же со мной не может случиться так?

- Ты будешь очень несчастна, дитя мое.

- Если я и буду несчастна, папа, то только потому, что мир несчастен. А я не верю, что он должен быть таким. Я думаю, мир несчастен потому, что люди на все закрывают глаза.

Пирсон встал.

- Ты полагаешь, что я закрываю глаза?

Грэйси кивнула.

- Но если так, - сказал он, - то, видимо, нет иного пути к счастью.

- А ты счастлив, папа?

- Счастлив настолько, насколько позволяет мой характер. Мне так не хватает твоей матери. А если я еще потеряю тебя и Ноэль...

- О! Мы не покинем тебя! Пирсон улыбнулся.

- Дорогая моя, - сказал он. - Мне кажется, что я уже потерял вас!

## ГЛАВА VIII

Кто-то написал мелом слово "мир" на дверях трех соседних домов на маленькой улочке напротив Букингэмского дворца.

Оно бросилось в глаза Джимми Форту, который ковылял к себе домой после затянувшегося спора в клубе, и его тонкие губы скривились в усмешке. Он был одним из тех англичан-перекати-поле, которые проводят юность в разных частях света и попадают в разные передраги; это был человек, похожий на трость из твердой орешины, высокий, сухощавый, узловатый, крепкий, как гвоздь, смуглый, с крутым, упрямым затылком и таким же упрямым лбом. Люди такого

типа складываются за одно-два поколения в колониях и в Америке. Но всякий принял бы Джимми Форта только за англичанина, и ни за кого другого. Хотя ему было уже около сорока, в его открытом лице еще сохранилось что-то мальчишеское, отважное и напористое, а маленькие, твердые серые глаза смотрели на жизнь с каким-то задорным юмором. Он еще носил военную форму, хотя был признан негодным к военной службе: его продержали девять месяцев в госпитале, пытаясь подремонтировать раненую ногу, но она навсегда осталась искалеченной; теперь он служил в военном министерстве и ведал лошадьми, в которых знал толк. Работа ему не нравилась, он слишком долго прожил среди самых разных людей, которые не были ни англичанами, ни чиновниками, - эту комбинацию он находил просто невыносимой. Жизнь, которую он теперь вел, наводила на него скуку, и он бы все отдал, лишь бы снова очутиться во Франции. Вот почему это слово "мир" показалось ему особенно раздражающим.

Придя домой, он скинул с себя военную форму, которая была ему ненавистна своей казенной жесткостью, раскурил трубку и сел у окна.

Лунный свет не охлаждал раскаленного города, и, казалось, Лондон спит беспокойным сном - семь миллионов спящих в миллионе домов. Звуки были какими-то затяжными, они словно никогда не утихали; внизу, в узких улицах, стояли застарелые запахи, которые не под силу было развеять легкому ветерку. "Проклятая война!" - подумал Форт. "Чего бы я не отдал за то, чтобы выспаться где-нибудь на воле, а не в этом чертовом городе". Те, кто, пренебрегая правилами приличия, спят под открытым небом, наверняка насладятся ночной прохладой. И сколько бы ни выпало сегодня росы, ее не хватит, чтобы охладить в душе Джимми Форта вечно обжигающую мысль: "Война! Проклятая война!" В бесконечных рядах маленьких серых домиков, в огромных отелях, в поместьях богачей, в виллах, в трущобах, в правительственных канцеляриях, на заводах, на железнодорожных станциях, где работа идет всю ночь; в длинных палатах госпиталей, где чуть не навалом лежат раненые; в лагерях для интернированных; в бараках, работных домах, во дворцах повсюду, где спит человек или бодрствует, ни одна голова не свободна от этой мысли: "Проклятая война!"

Ему бросился в глаза шпиль, точно призрак, возвышающийся над крышами. Ах, одни лишь церкви, растерявшие человеческие души, не

желают ничего понимать!.. А людей не освобождает даже сон. Там мать шепчет имя своего сына; тут храпит предприниматель, и ему снится, что он тонет, захлебываясь в золоте; здесь жена протягивает руку - и никого не находит рядом; там просыпается в холодном поту раненый солдат - ему снится, будто он все еще в окопе; а тут, на чердаке, газетчик продолжает и во сне хрипло выкрикивать названия и заголовки газет. Тысячи и тысячи обездоленных людей мечутся, заглушая стоны; тысячи разоренных людей вглядываются в мрачное будущее; домохозяйки воюют за жизнь с жалкими грошами в руках; солдаты спят как убитые - завтра их и в самом деле убьют; детям снятся отцы; проститутки тупо дивятся тому, что на них такой спрос; журналисты спят сном праведников - и над всеми в лунном свете витает одна и та же мысль: "Проклятая война!" И она машет черными крыльями, как старый ворон.

"Если бы Христос существовал, - думал Форт, - он достал бы с неба луну, и пошел бы по всей Европе, и писал бы ею, как мелом, слово "мир" на каждой двери каждого дома. Но Христа не существует, а Гинденбург и Хармсворт существуют. Они так же реальны, как два буйвола, бой которых он видел однажды в Южной Африке. Ему казалось, что он снова слышит топот, храп и удары мощных черепов и видит, как животные, отпрянув назад, снова несутся один на другого, вращая налитыми кровью глазами.

Он вынул из кармана письмо и снова перечел его при свете луны:  
"Кэймилот-Мэншенз, 15.

Сент-Джонс-Вуд.

- Дорогой мистер Форт,

Просматривая старые письма, я натолкнулась на адрес вашего клуба. Знаете ли вы, что я в Лондоне? Мой муж умер пять лет назад, и я уехала из Стэнбока. С тех пор я много пережила; это было ужасное время. Пока немцы вели кампанию на юго-западе, я работала сестрой милосердия; но год назад я вернулась в Лондон, чтобы помогать здесь. Как было бы приятно встретиться с вами снова, если вы случайно в Англии! Я работаю в госпитале в В. А. Д. {В. А. Д. - Victoria-Albert Dock's - портовый район Лондона.}, но по вечерам обычно свободна. Помните ли вы ту лунную ночь во время сбора винограда? Здесь нет благоуханных ночей, как там. Бензин! Фу! А все эта война!

С самыми лучшими воспоминаниями

Ли́ла Линч".

Ужасное время! Если он не ошибается, для Лилы Линч вся жизнь была ужасным временем. Он улыбнулся, представив себе крыльцо старого голландского дома в Верхней Констанции и женщину, сидящую под белыми, ароматными цветами плюща, - красивую женщину, с глазами, которые словно околдовывают тебя; женщину, в чьи сети он непременно попал бы, если бы вовремя не удрал! С тех пор прошло десять лет, и вот теперь она снова здесь и напоминает ему о прошлом. Он вдохнул аромат, исходивший от письма. Как это люди ухитряются отразить в письмах суть того, чем они занимаются во время войны! Если он надумает ответить ей, то, наверно, напишет так: "Поскольку я охромел, я работаю в военном министерстве, комплектую коней для кавалерии. Скучная это работа!" Ли́ла Линч! Женщины с годами не молодеют, а он и тогда подозревал, что она старше его. Но он не без удовольствия вспоминал ее белые плечи, изгиб шеи, когда она поворачивала голову и смотрела на него большими серыми глазами. Они были знакомы всего пять дней, но сколько вместилось в эти дни! Так нередко случается с теми, кто приезжает в чужие края. Весь этот эпизод напоминал охоту на бекасов в болотистой местности: ступишь на опасный зеленый островок ногой - и увязнешь по самую шею. Да, теперь для него опасности уже нет: ее муж умер, бедняга. Было бы приятно в эти унылые дни, когда все время уходит только на службу родине, поразнообразить служебную скуку несколькими часами отдыха в ее обществе. "Какие же мы ничтожества! подумал он. - Если верить газетам и речам, - все думают только о том, чтобы попасть под пули во имя будущего. Какое-то опьянение собственным красноречием! Что же будет с нашими головами и ртами, когда в одно прекрасное утро мы проснемся и увидим, как мир сияет во всех окнах? Ах, если бы только это сбылось! Если бы только радость жизни опять вернулась к нам!" Он посмотрел на луну. Она уже заходила, растворяясь в свете зари. На улицах из рассветных сумерек появлялись поливочные и уборочные машины. Хлопотливо щебетали в канавах воробьи. Пустынный, как Вавилон, город поднимал свое странное, незнакомое лицо к серому свету. Джимми Форт выколотил трубку, вздохнул и лег спать.

В это самое время Ли́ла Линч, возвращаясь с ночного дежурства, решила прогуляться часок, прежде чем идти домой. В ее ведении

были две палаты, и, кроме того, как правило, она брала дневные дежурства; незначительные изменения в расписании дали ей лишний свободный час. И она чувствовала себя на этот раз хуже или, может быть, лучше обычного - после восемнадцати часов, проведенных в госпитале. Щеки ее были бледны, у глаз обозначились морщинки, обычно незаметные. В лице ее странно совмещались мягкость и твердость: глаза, несколько полные губы и бледные щеки говорили о природной мягкости, но ее огрубляло выражение замкнутости и сдержанности, свойственное женщинам, которым самим приходится бороться за существование и, сознавая свою красоту, стараться сохранить ее, несмотря на возраст. Фигура ее тоже производила двойственное впечатление: естественная мягкость линий приобрела некоторую жесткость из-за корсета. Она шла по пустынным предрассветным улицам, распахнув длинное синее пальто; сняв шляпу, она вертела ее на пальце; ее пушистые, светло-каштановые, чуть подкрашенные волосы, свободно развевались на утреннем ветерке. И хотя она не могла себя видеть, ей нравилась ее фигура, медленно движущаяся мимо одиноких деревьев и домов. Как жаль, что никто не видит ее на этой прогулке по Риджент-парку, занявшей у нее уже добрый час! Она шла, размышляя и наслаждаясь утренними красками, которые словно только для нее возвращались в мир.

Ли́ла Линч была женщиной с характером, и прожила она в некотором смысле интересную жизнь. В юности она кружила головы многим, не только своему кузену Эдварду Пирсону, а в восемнадцать лет вышла замуж по любви за красивого молодого индийского чиновника по имени Фэйн. Год они любили друг друга. А потом потянулись пять лет взаимных обид, скуки, все возрастающего цинизма, частых поездок в Симлу, путешествий домой в Англию для лечения здоровья ее и в самом деле было подорвано жарким климатом. Все это кончилось, как и следовало ожидать, новой страстью, которой она воспылала к колониальному стрелку Линчу. Последовал развод, второй брак, а потом началась бурская война, и ее новый муж был тяжело ранен. Она приехала к нему; ее заботы помогли ему отчасти восстановить свое когда-то крепкое здоровье; в двадцать восемь лет она поселилась с ним в глуши, на ферме в Капской колонии. Так они прожили десять лет, сначала на уединенной ферме, потом в старом голландском доме в Верхней Констанции.

Линч оказался неплохим парнем, но, как и большинство солдат старой армии, был абсолютно лишен эстетических чувств. А на несчастье Лилы, у нее наступали моменты, когда эстетические переживания казались ей совершенно необходимыми. Она боролась, чтобы преодолеть эту, а заодно и другую свою слабость - ей нравилось вызывать восхищение мужчин; были, разумеется, и такие этапы в ее жизни, когда судьба не баловала ее успехами. Ее знакомство с Джиммом Фортом произошло как раз на таком этапе. И когда он неожиданно уехал в Англию, Лила уже питала к нему весьма нежные чувства. Она до сих пор не без удовольствия вспоминала о нем. Пока был жив Линч, в ней иногда возрождалось на этих "этапах" прежнее теплое чувство к искалеченному человеку, с которым она связала жизнь в романтической обстановке развода. Он, конечно, оказался неудачным фермером, и после его смерти у нее не осталось ничего, кроме собственного ежегодного дохода в 150 фунтов. И вот в тридцать восемь лет она должна была сама зарабатывать себе на жизнь; но если Лила и растерялась, то очень ненадолго - она была поистине смелой женщиной. Как и многие, кто играл в любительских спектаклях, она вообразила себя актрисой; после нескольких попыток выяснилось, что для разборчивых импрессарио и публики Южной Африки ценность представляют только ее голос да прекрасно сохранившиеся ноги. Назвав себя вымышленным именем, она три сезона боролась с судьбой при помощи голоса и ног.

Все, что она делала, стараясь сохранить при этом некоторый лоск и изысканность, было гораздо пристойнее, чем подвиги некоторых дам, оказавшихся в ее положении. По крайней мере она никогда не жаловалась на стесненные обстоятельства, и если ее жизнь была беспорядочной и насчитывала три тяжелых эпизода, это была жизнь глубоко человеческая. Она храбро встречала превратности судьбы, никогда не теряла способности извлекать из жизни удовольствия и все больше сочувствовала бедам ближних. Но она смертельно устала. Когда началась война, она вспомнила, что прежде была неплохой сестрой милосердия, приняла свое настоящее имя и решила переменить профессию. Для женщины, которая привыкла нравиться мужчинам и хотела, чтобы мужчины нравились ей, обстановка военного времени не лишена была некоторой привлекательности; после двух лет войны она с удовольствием замечала, что ее томми

поворачивают головы и следят за ней взглядом, когда она проходит мимо их коек. Но жестокая школа жизни научила ее в совершенстве владеть собой. И хотя всякие кисляи и пуритане не были равнодушны к ее чарам, они знали, что ей сорок три. А вообще солдаты любили ее, и в ее палатах редко случались неприятности. Война научила ее идти простыми путями; она была патриоткой без мудрствований, как все люди ее круга. Отец ее был моряк, а мужья: один чиновник, другой - военный; жизнь для нее не осложнялась никакими отвлеченными размышлениями. Родина - прежде всего. И хотя в течение этих двух лет через ее руки прошло великое множество молодых изувеченных тел, она считала это повседневной работой, щедро даря свои симпатии и не очень предаваясь сожалениям и мыслям об утратах. Да, она и в самом деле работала не покладая рук, "внося свою лепту"; но с некоторого времени она почувствовала, что в ней снова просыпается прежняя смутная тяга к "жизни", к удовольствиям, к чему-то большему, чем платоническое восхищение, которое испытывали к ней ее томми. Эти старые письма - уже одно то, что она стала их просматривать, было верным признаком той смутной тяги - до предела обострили ощущение, что жизнь проходит мимо нее, хотя она, Лила Линч, все еще не лишена привлекательности. Она долго не была в Англии, а вернувшись сюда, она так много времени отдавала работе, что не связала даже тех немногих нитей, которые соединяли ее с прошлым. Два письма из этой маленькой пачки, сохранившейся от прошлого - а ведь прошли годы и годы! - пробудили в ней какое-то сентиментальное томление.

"Дорогая хозяйка ароматных цветов!

Exiturus (sic!) te saluto! {Уходя, тебя приветствую! (лат).} Почтовое судно привезет вам мое прощальное послание. Честно говоря, мне очень не хочется покинуть Южную Африку. Из всех моих воспоминаний последнее будет жить дольше всего - сбор винограда в Констанции и ваша песенка "Ах, если б я была росинкой". Если когда-нибудь вы и ваш муж приедете в Англию, дайте мне знать, я попытаюсь хоть немного отблагодарить вас за эти счастливейшие пять дней, которые я провел здесь.

Ваш верный слуга

Джимми Форт".

Она вспомнила его загорелое лицо, высокую, стройную фигуру и что-то рыцарское во всем облике. Каким он стал через десять лет? Седой, женатый, с большой семьей? Какая страшная вещь - время. А вот еще письмецо - от кузена Эдварда, на желтой бумаге. Боже мой! Двадцать шесть лет назад! Он еще не был священником, еще не женился, ничего этого не было! Такой прекрасный партнер в танцах, по-настоящему музыкальный; странный, милый юноша, преданный, рассеянный, легко обижающийся, но горящий каким-то внутренним огнем...

"Дорогая Лиля!

После нашего последнего танца я сразу же ушел - мне не хотелось оставаться. Я направился к реке и гулял вдоль берега. Река, окутанная серым туманом, была прекрасна, деревья что-то шептали, и даже коровы казались мне священными, а я все ходил и думал о тебе. Какой-то фермер, поглядев на мой карнавальный костюм, принял меня за умалишенного. Дорогая Лиля, ты была такая красивая вчера вечером, и мне так нравилось танцевать с тобой. Надеюсь, что я тебе не надоел и что скоро смогу тебя увидеть снова.

Твой любящий кузен  
Эдвард Пирсон".

А потом он уехал, стал священником, женился, и вот уже пятнадцать лет вдовец. Лиля вспомнила, что жена его умерла перед тем, как она уехала в Южную Африку, в тот "позорный" период ее жизни, когда она так шокировала всю семью своим разводом. Бедный Эдвард - самый приятный из ее кузенов! Единственный, которого ей хотелось бы снова увидеть. Должно быть, он очень постарел и страшно добропорядочен сейчас!..

Круг, который она делала по Риджент-парку, замкнулся. Солнце уже поднялось над домами, но шума уличного движения еще не было слышно. Она остановилась у клумбы с гелиотропами и глубоко вздохнула всей грудью. Не удержавшись, она сорвала веточку и понюхала цветы. И вдруг тоска по любви охватила ее, она просто жаждала любви каждой частицей своей души.

Она вздрогнула и, полузакрыв глаза, долго стояла у клумбы с бледно-фиолетовыми цветами. Потом, взглянув на ручные часы, увидела, что уже около четырех часов утра, и поспешно зашагала домой, чтобы поскорей добраться до постели - в полдень ей снова

надо быть на дежурстве. Ах, эта война! Она так устала. Только бы кончилась война, тогда можно было бы еще пожить!..

Где-то у Твикенхэма луна зашла за дома, где-то у Кентиш Таун выплывало солнце; снова загремели колеса и семь миллионов спящих пробудились в миллионе домов от утреннего сна с одной и той же мыслью...

## ГЛАВА IX

За завтраком Эдвард Пирсон, рассеянно доедая яйцо, распечатал письмо, написанное почерком, которого он не узнал,

"Госпиталь В. А. Д.

Молберри-Род, Сент-Джонс-Вуд.

Дорогой кузен Эдвард!

Помнишь ли ты меня или я ушла слишком далеко под сень ночи? Когда-то я была Лилой Пирсон; я часто о тебе думаю и все спрашиваю себя: каков-то он сейчас, какие у него дочери? Я здесь уже около года, ухаживаю за нашими ранеными, а до этого была сестрой милосердия в Южной Африке. Пять лет назад умер мой муж. Хотя мы не встречались - страшно даже подумать, как давно, мне очень хотелось бы увидеть тебя снова. Не зайдешь ли ты как-нибудь ко мне посмотреть мой госпиталь? Под моим началом две палаты; наши солдатики просто чудо.

Забытая тобой, но все еще любящая тебя кузина

Лиля Линч.

Р. S. Мне попало коротенькое письмецо, которое ты мне когда-то написал; оно напомнило мне о прежних днях".

Нет! Он не забыл. В его доме было живое напоминание о ней. Он посмотрел на сидящую напротив Ноэль. Как похожи у них глаза! И он подумал: "Интересно, какая сейчас Лиля? Надо быть милосердным. Тот человек умер; два года она работает сестрой в госпитале. Она, наверно, очень изменилась. Конечно, я рад был бы повидать ее. Я пойду к ней".

Он еще раз взглянул на Ноэль. Только вчера она снова просила позволить ей начать готовиться в сестры милосердия.

- Сегодня я решил посмотреть один госпиталь, Нолли, - сказал он.  
- Если хочешь, я наведу справки. Но боюсь, что тебе придется начать с мытья полов.

- Ну что ж, мне все равно. Лишь бы начать.

- Очень хорошо; я узнаю. - Пирсон снова принялся за яйцо.

Потом он очнулся от задумчивости, услышав голос Ноэль:

- Ты очень чувствуешь войну, папа? Из-за нее у тебя не болит здесь? Она положила руку на сердце. - А может, и не болит, потому что ты живешь наполовину в потустороннем мире. Правда?

У Пирсона чуть не сорвались слова: "Боже упаси!", - но он не произнес их, а только положил на стол ложку, обиженный и ошеломленный. Что она хотела сказать? Как можно не чувствовать войны?

- Мне кажется, Нолли, что я в силах еще иногда помочь людям, - возразил он.

Сознавая, что отвечает скорее на собственные мысли, чем на ее вопрос, он закончил завтрак и ушел.

Пирсон пересек площадь и направился через две многолюдные улицы к своей церкви. На этих улицах, запущенных и грязных, его фигура в черном одеянии и серьезное лицо с вандейковской бородкой производили странное впечатление чего-то устарелого, какого-то пережитка прежней цивилизации. Он вошел в церковь через боковую дверь. Всего пять дней он не был здесь, но эти дни были наполнены такими переживаниями, что знакомое пустое здание показалось ему чужим. Он пришел сюда бессознательно, в поисках пристанища и наставления, в которых так нуждался теперь, когда его отношения с дочерьми вдруг изменились. Он стоял у потертого медного орла и смотрел на алтарь. Для хора нужны новые сборники песнопений - не забыть бы заказать! Глаза его остановились на цветном витраже, который он поставил здесь в память жены. Солнце стояло высоко и озаряло низ витража, пылавший густым вишневым цветом.

"В потустороннем мире"... Что за странные слова! Он посмотрел на блестящие трубы органа. Поднявшись на хоры, он сел и начал играть, беря мягкие, сливающиеся друг с другом аккорды. Потом постоял немного, глядя вниз. Это пространство между высокими стенами и сводчатым потолком, где дневной свет всегда казался сумерками, сквозь которые лишь кое-где выступали яркие пятна стекол, цветов, металла или полированного дерева, - это пространство было его домом, его заботой, его прибежищем. Ни шороха там, внизу... И все-таки разве эта пустота не жила своей таинственной жизнью, разве сам воздух, заключенный в этих стенах, не хранил в

себе странным образом и звуки музыки и голоса людей, читающих молитвы и воссылающих хвалу богу? Разве не живет здесь святость? На улице шарманщик накручивал какую-то мелодию; по мостовой громыхала телега и возчик покрикивал на лошадей; откуда-то издалека доносились учебные залпы орудий, а перестук догоняющих друг друга колес сплетался в какую-то паутину звуков. Но весь этот вторгающийся с улицы шум превращался здесь в некое подобие приглушенного жужжания; только тишина да этот сумеречный свет были реальны для Пирсона маленькой черной фигурки, застывшей в огромном, пустом пространстве.

Когда он покинул церковь, было еще рано идти в госпиталь к Лиле; заказав новые сборники песнопений, он отправился к одной из своих прихожанок, у которой сын был убит во Франции. Он нашел ее в кухне; пожилая женщина жила поденной работой. Она вытерла табуретку для vicария.

- Я как раз собиралась выпить чашку чая, сэръ.

- А! Приятно выпить чаю, миссис Солз.

И он сел, чтобы она чувствовала себя свободнее.

- Да. Только от чая у меня изжога. Я выпиваю теперь восемь или десять чашек в день, к тому же крепкого. Без этого я бы не могла жить. Надеюсь, ваши дочери в добром здравии, сэръ?

- Да, благодарю вас. Мисс Ноэль собирается стать сестрой милосердия.

- Подумать только, она ведь так молода! Но теперь все молодые девушки что-то делают. У меня племянница на военном заводе, неплохо зарабатывает... Мне все хотелось сказать вам - я ведь теперь не хожу в церковь; с тех пор, как убит сын, мне никуда не хочется идти. Я и в кино не была три месяца. Как поволнуюсь, так сразу в слезы.

- Я знаю. Но в церкви вы найдете утешение.

Миссис Солз покачала головой, и маленький узелок ее бесцветных волос тоже качнулся.

- Я не могу быть без дела, - сказала она. - Я лучше похлопочу по дому или задержусь на работе. Мой мальчик был мне хорошим сыном. Вот чай единственная вещь, которая мне на пользу. Если хотите, я мигом приготовлю вам чашечку свежего.

- Благодарю вас, миссис Солз, но мне пора идти. Всем нам нужно жить в ожидании встречи с нашими любимыми, ибо бог милосерден. Надеюсь, что в один из ближайших дней я увижу вас в церкви, не правда ли?

Миссис Солз переступала с ноги на ногу.

- Ну что ж, может быть и так, - сказала она. - Но я не знаю, когда соберусь пойти в церковь. До свидания, сэр, и спасибо вам, что зашли.

Пирсон уходил со слабой улыбкой. "Странная, бедная старушка! - Она была не старше его самого, но он почему-то считал ее глубокой старушкой. Лишилась сына, как многие и многие! И как добра и терпелива!"

В его ушах зазвучала мелодия хорала. Пальцы его задвигались; он стоял неподвижно, ожидая автобуса, который должен был отвезти его в Сент-Джонс-Вуд. Тысячи людей проходили мимо остановки, но он не замечал их, думая об этом хорале, о своих дочерях, о божьем милосердии; когда наконец подошел автобус и Пирсон забрался на империал, он казался одиноким и заброшенным, хотя рядом с ним сидел пассажир, до того толстый, что трудно было примоститься возле него на скамейке. Сойдя у Лорде Крикет-граунда, он спросил дорогу у женщины в одежде сестры милосердия.

- Если хотите, могу вас проводить, - сказала она. - Я как раз туда и иду.

- О, так, может быть, вы случайно знаете миссис Линч, которая работает там сестрой?..

- Я и есть миссис Линч. Ах, да вы - Эдвард Пирсон!

Он внимательно посмотрел ей в лицо.

- Лила! - сказал он.

- Да, Лила. Как это славно, что ты пришел, Эдвард!

Они продолжали стоять, и каждый искал в другом свою юность. Наконец она пробормотала:

- Несмотря на твою бороду, я бы узнала тебя всюду.

Но подумала она другое: "Бедный Эдвард, он сильно постарел и похож на монаха!" Пирсон, в свою очередь, сказал:

- Ты очень мало изменилась, Лила. Мы не виделись с того времени, когда родилась моя младшая дочка. Она немного похожа на тебя.

Про себя он подумал: "Моя Нолли! Насколько она красивее! Бедная Лила!"

Они двинулись вперед и, разговаривая о его дочерях, дошли до госпиталя.

- Если ты подождешь минуту, я проведу тебя по моим палатам.

Она оставила его в пустой приемной. Он стоял держа шляпу в одной руке, другой теребил золотой крестик. Лила тут же вернулась, и сердце его сразу оттаяло. Как красит женщину милосердие! В белой косынке и белом переднике, надетом поверх голубого платья, она казалась совсем иной - мягкой и доброй.

Она заметила перемену в выражении его лица, и на душе у нее тоже стало теплее; пока они шли через бывшую биллиардную, она все время смотрела на него.

- Мои солдатики - прелесть, - сказала она. - Они любят, когда с ними беседуют.

Верхний свет падал на шесть коек, выстроившихся вдоль зеленой стены; напротив, вдоль другой, стояло еще шесть; с каждой койки к ним поворачивались молодые равнодушные лица. Сиделка в дальнем конце комнаты оглянулась на них и занялась своим делом. Вид палаты был столь же привычным для Пирсона, как и для всякого другого в эти дни. Все было до мелочей знакомо и давно утеряло новизну. Пирсон остановился у первой койки, Лила стала рядом с ним. Пока она говорила, солдат улыбался; но когда начал говорить Пирсон, улыбка сошла с лица раненого. Это тоже было ему знакомо. Они переходили от одного раненого к другому, и все было так же, пока Лилу куда-то не вызвали. Он уселся возле молодого солдата с длинной головой, узким лицом и туго забинтованным плечом. Бережно прикоснувшись к повязке, Пирсон спросил:

- Ну как, мой милый мальчик, все еще плохо?

- А! - ответил солдат. - Шрапнельная рана. Шрапнель здорово рвет мясо.

- Но не убивает дух, я вижу?

Молодой солдат посмотрел на него как-то странно, словно хотел сказать: "Это бы еще полбеды!"

Возле крайней кровати заиграл граммофон: "Боже храни папу на войне!"

- Вы любите музыку?

- Да так себе. Помогает убивать время. Наверное, в госпитале время долго тянется? Конечно, долго; такова уж тут жизнь. Я не первый раз ранен, знаете ли. Но лучше лежать в госпитале, чем быть там. Должно быть, я уже не смогу действовать этой рукой. Но я не горюю. По крайней мере демобилизуют.

- У вас здесь хорошие сестры?

- Да, мне нравится миссис Линч, славная женщина.

- Она моя кузина.

- Я видел, что вы пришли вместе. Я все вижу. И очень много думаю. Быстрее проходит время.

- Вам разрешают курить?

- О да. Нам разрешают курить.

- Хотите сигарету?

Молодой солдат впервые улыбнулся.

- Благодарю вас. У меня их полно.

Мимо проходила сиделка, она с улыбкой сказала Пирсону:

- Он у нас старичок; уже побывал здесь однажды. Правда, Симеон?

Пирсон посмотрел на молодого солдата; длинное, узкое лицо, одно веко с рыжеватыми ресницами немного опущено. Этот юноша, казалось, был закован в некую броню всезнайства. Граммофон зашипел и начал исполнять "Сиди Ибраим".

- "Сиди Абрам", - сказал молодой солдат. - Французы поют ее. Они ставят эту пластинку сотни раз, знаете ли.

- А, - пробормотал Пирсон, - хорошая песенка! - И его пальцы забарабанили по одеялу, он не знал этой мелодии. Что-то словно дрогнуло в лице молодого солдата, он как будто стал оттаивать.

- Франция мне ни о чем, - сказал он отрывисто. - Мне ни о чем снаряды и все прочее. Но я терпеть не могу болот. Так много раненых гибнет в болотах; они не в силах выбраться: их засасывает. - Его здоровая рука беспокойно задвигалась. - Меня и самого чуть не затащило, но как-то удалось высунуть оттуда нос.

Пирсон содрогнулся.

- Слава богу, что удалось!

- Да. Я не люблю болот. Я рассказывал об этом миссис Линч, когда у меня был жар. Она хорошая женщина. Она много перевидала таких, как я. Эти болота - скверная штука, знаете ли. - И снова его

здоровая рука беспокойно задвигалась, а граммофон заиграл "Ребята в хаки".

Этот жест страшно подействовал на Пирсона; он поднялся, коснулся забинтованного плеча солдата и сказал:

- Прощайте. Надеюсь, вы скоро поправитесь.

Губы молодого солдата задергались, - это было подобие улыбки, опущенное веко словно пыталось подняться.

- До свидания, сэр, - сказал он. - Благодарю вас. Пирсон вернулся в приемную. Солнечный свет падал из открытой двери. Повинуясь какому-то бессознательному порыву, Пирсон подошел и встал в полосу света, и у него как-то стало спокойнее на душе. Болота! Как безобразна жизнь! Жизнь и смерть. И то и другое безобразно. Бедные мальчики! Бедные мальчики! Он услышал сзади голос:

- О, ты уже здесь, Эдвард? Хочешь, я проведу тебя по другой палате, или показать тебе кухню?

Пирсон судорожно сжал ей руку.

- Ты делаешь благородное дело, Лила. Я хотел спросить тебя: не могла бы ты устроить, чтобы Нолли ходила сюда обучаться? Она хочет начать сейчас же. Дело в том, что юноша, в которого она влюблена, только что уехал на фронт.

- Ах, - прошептала Лила, и глаза ее стали грустными. - Бедное дитя! На будущей неделе нам потребуется человек. Я посмотрю, может быть, ее возьмут. Поговорю с сестрой-экономкой и сегодня же сообщу тебе.

Она крепко пожала ему руку.

- Милый Эдвард, я так рада, что снова встретила с тобой. Ты первый из нашей семьи, кого я увидела за эти шестнадцать лет. Может быть, ты приведешь Ноэль ко мне поужинать сегодня вечером? Так, легкий ужин. У меня маленькая квартирка. Будет капитан Форт, очень приятный человек.

Пирсон принял приглашение и, уходя, подумал: "Милая Лила! Я верю, что это рука провидения. Лила нуждается в сострадании. Ей хочется почувствовать, что прошлое есть прошлое. Как добры женщины!"

Солнце, вдруг сверкнувшее из-за туч в ту минуту, когда он проходил по середине Портленд-Плэйс, залило светом его черную фигуру и маленький золотой крестик.

## ГЛАВА X

Люди, часто бывавшие на чужбине и повидавшие свет, даже если они и не обладают художественной жилкой, привыкают смотреть на мир, как на некую театральную сцену и становятся очень восприимчивыми ко всему живописному. Так Джимми Форт впоследствии вспоминал и свой первый ужин у Лилы Линч: как некую картину или серию картин. Случилось, что весь тот день он пробыл на воздухе, разъезжал в машине под жарким солнцем по конским заводам, а рейнвейн, выпитый за ужином, обладал скрытой крепостью; ощущение театральности происходящего еще больше усиливало присутствие какой-то высокой девочки, которая ничего не пила; отец ее тоже только пригубил вина; так что они с Лилой выпили все остальное. В его сознании все это слилось в одну сцену, теплую, яркую и в то же время странно мрачную - может быть, из-за черных стен комнаты.

Квартирка эта принадлежала какому-то художнику, который уехал на фронт. Собственно, это была мансарда на четвертом этаже. Два окна маленькой квадратной гостиной глядели на группу деревьев и церковь. Но Лила, которая не любила обедать при дневном свете, сразу же задернула шторы из темно-голубой материи. Картина, которая припоминалась потом Форту, была такая: маленький квадратный стол темного дерева, посреди него на ярко-синей китайской подставке - серебряная ваза с садовой гвоздикой; несколько зеленоватых бокалов с рейнвейном; слева от него - Лила в сиреневом платье, открывавшем очень белую шею и плечи, лицо немножко напудрено, глаза сверкают, губы улыбаются; напротив - священник в темном одеянии с маленьким золотым крестиком; у него тонкое смуглое лицо с благообразной острой бородкой, он мягко улыбается, но в его глубоко запавших серых глазах светится огонь; справа - девушка в закрытом сером платье, очень бледная, с тонкой шеей, пышные рукава до локтей открывают ее тонкие руки; короткие волосы слегка растрепаны; большие серые глаза глядят серьезно; полные губы изящно складываются, когда она говорит, но говорит она мало; красные отблески камина смешиваются с золотыми бликами света, пляшущими на черных стенах; голубой диван, маленькое черное пианино у стены, черная полированная дверь; четыре японских гравюры; белый потолок. Он чувствовал, что его хаки портит это

странное и редкое сочетание красок, встречающееся разве что на старинном китайском фарфоре. Он даже помнил, что они ели: омаров, холодный пирог с голубем, спаржу, сент-ивельский сыр, малину со сливками. О чем они разговаривали, он наполовину забыл; помнил только собственные рассказы о бурской войне, в которой он участвовал в полку добровольческой кавалерии; пока он говорил, девушка, словно ребенок, слушающий сказку, не сводила с него глаз. После ужина они все курили сигареты, даже эта высокая девочка - и священник сказал ей мягко: "Моя дорогая!", - а она ответила: "Мне просто необходимо, папа. Только одну." Он помнил, как Лила наливала всем кофе по-турецки, очень хорошее, и как красивы были ее белые руки, словно порхающие над чашками. Он помнил также, что она усадила священника за пианино, а сама села рядом с девушкой на диване, плечом к плечу - странный контраст! - хотя они были так же странно похожи. Он помнил, как изумительно звучала музыка в маленькой комнате, наполняя все его существо мечтательным блаженством. А потом, вспоминал он, Лила пела, а священник стоял рядом; высокая девочка сидела на диване, подавшись вперед, охватив колени руками и уткнувшись в них подбородком. Он довольно отчетливо помнил, как Лила повернула голову и посмотрела на него, потом на священника, потом снова на него; и весь вечер его не покидало восхитительное ощущение света, тепла и какого-то волшебного обаяния; и это долгое рукопожатие Лилы, когда он прощался! Все вышли вместе, потому что им было по дороге. Он помнил, что в машине очень долго разговаривал о чем-то со священником, кажется, о школе, в которой оба они учились, и думал: "Это хороший священник". Помнил он, как такси доставило их на какую-то площадь, которой он не знал, где деревья казались непроницаемо черными в свете звезд. Он помнил, что какой-то человек, стоявший у дома, завел со священником серьезный разговор, а высокая девушка и он стояли у открытой двери, за которой была темная передняя. Он очень хорошо помнил короткий разговор, который завязался между ним и девушкой, когда они поджидали ее отца.

- Очень страшно в окопах, капитан Форт?
- Да, мисс Пирсон, почти всегда очень страшно.
- И все время опасно?

- Да, почти всегда.
- А офицеры рискуют больше, чем солдаты?
- Нет. Если только не бывает атаки.
- А атаки часто бывают?

Ему показались странными и примитивными эти вопросы, и он улыбнулся. И хотя было очень темно, она увидела эту улыбку, потому что лицо ее сразу стало очень гордым и замкнутым. Он мысленно выругал себя и спросил мягко:

- У вас брат там?
- Она покачала головой.
- Но кто-нибудь есть?
  - Да.

Кто-нибудь! Этот ответ его поразил. Ребенок, принцесса из сказки, - а у нее уже есть там кто-то. Он понял, что она задавала все эти вопросы не зря, а все время думая о том человеке. Бедное дитя! И он поспешно сказал:

- В конце концов посмотрите на меня. Я там пробыл год, к вот я здесь, только нога покалечена; а ведь тогда времена были похуже. Я часто мечтаю вернуться туда. Все лучше, чем Лондон и военное министерство!

Он увидел приближающегося священника и протянул ей руку.

- Спокойной ночи, мисс Пирсон. Не беспокойтесь. Это ведь не помогает. Там и вполонину не так опасно, как вы думаете.

Она благодарно сжала его руку. Так мог бы сжать руку ребенок.

- Спокойной ночи, - прошептала она. - Большое вам спасибо.

Сидя в темной машине, он подумал: "Что за странный ребенок! А он счастливее, тот мальчик, что сейчас на фронте. Как все скверно! Бедная маленькая принцесса из сказки!"

\* ЧАСТЬ ВТОРАЯ \*

## ГЛАВА I

Мытье посуды - не очень вдохновляющее занятие. А в августе оно превратилось для Ноэль в подлинное испытание ее сил и энтузиазма. К тому же, готовясь к роли сестры милосердия, она выполняла и другие работы. У нее было очень мало свободного времени, и по вечерам она дома часто засыпала, свернувшись калачиком в большом, обитом ситцем кресле.

Джордж и Гретиана давно уже уехали в свои госпитали, и Ноэль с отцом были сейчас в доме одни. Она получала от Сирила много писем, носила их с собой и часто перечитывала по дороге в госпиталь и домой. Сама она писала ему через день. Он еще не был на передовой. В письмах он рассказывал ей, какие у него солдаты, каков военный паек, что за люди живут в тех местах, вспоминал о Кестреле. А Ноэль писала, что моет посуду в госпитале, и тоже вспоминала Кестрель. Но в каждом их письме всегда было словечко-другое о том, как они тоскуют друг о друге.

В конце августа он написал ей, что его часть передвинули на передовую. Отныне он постоянно будет в опасности! В этот вечер Ноэль не заснула после обеда в кресле, а села, сцепив руки, у открытого окна; пыталась читать "Гордость и предрассудок" {Роман известной английской писательницы Джейн Остин (1775-1817).}, но не понимала ни одного слова. Когда к ней заглянул отец, она была целиком поглощена своими мыслями.

- Капитан Форт пришел, Нолли. Угости его кофе. А мне надо отлучиться.

Отец ушел. Ноэль смотрела на гостя, отхлебывающего кофе. Капитан был на фронте и вернулся живым, вот только слегка прихрамывает. Форт сказал с улыбкой:

- О чем вы думали после того, как мы виделись с вами?

- Я все время думаю только о войне.

- Есть какие-нибудь новости от него?

Ноэль нахмурилась.

- Да. Он теперь на передовой. Не хотите ли сигарету?

- Спасибо. А вы закурите?

- Да, непременно. Мне кажется, что сидеть тихо и ждать - ужаснее всего на свете.

- Еще ужаснее - знать, что другие тебя ждут. Когда я был на фронте, меня страшно мучили мысли о матери. Она все время болела. Самое жестокое в войне - это беспокойство друг о друге - ни с чем нельзя сравнить!

Эта фраза словно подытожила то, о чем постоянно думала Ноэль. Он утешал ее, этот человек с длинными ногами и худым, загорелым, шишковатым лицом.

- Я хотела бы быть мужчиной, - сказала она. - Мне кажется, больше всего страдают во время войны женщины. Ваша мать старая? "Ну, конечно же, старая, ведь и сам он не молод", - подумала она.

- Она умерла в прошлое рождество.

- О, простите!

- А вы потеряли мать еще в детстве, не правда ли?

- Да. Вот ее портрет.

В углу комнаты на куске черного бархата висел исполненный пастелью, в очень бледных тонах, да и выцветший уже, портрет молодой женщины со страстным и нежным лицом и темными глазами; она сидела, слегка подавшись вперед, словно о чем-то спрашивая художника. Форт подошел к портрету.

- Вы нисколько не похожи на нее, но она, наверно, была прелестной женщиной.

- Она как будто живет в этой комнате. Мне хотелось бы быть похожей на нее.

- Нет, - сказал Форт, вернувшись к столу. - Нет. Лучше оставайтесь такой, какая вы есть. Это бы только нарушило цельность вашего облика.

- Она была хорошая.

- А вы?

- О нет! Иногда в меня вселяется бес.

- В вас? Да вы же прямо принцесса из сказки!

- Беса я унаследовала от отца; только он этого не знает, потому что он - настоящий святой. Но я-то знаю, что в нем когда-то сидел бес. Иначе отец не мог бы быть святым.

- Гм! - пробормотал Ферт. - Что-то очень сложно! Но одно, я думаю, верно: в каждом святом действительно когда-то сидел бес.

- Бес бедного папочки уже давно умер. Или он морил его голодом, и тот удрал.

- А вашему бесу есть еще чем поживиться?

Ноэль почувствовала, как вспыхнули ее щеки под его взглядом, и отвернулась к окну.

- Нет. Но это настоящий бес.

И вдруг перед нею живо предстало темное Аббатство и луна, повисшая над полуразрушенной стеной, и белая сова, плывущая над ними. И, словно в пространство, она прошептала:

- Бес заставляет человека делать то, что ему нравится.

Она подумала, что он засмеется - это прозвучало так глупо. Но он не засмеялся.

- И - наплевать на последствия? Понимаю. Наверно, занятно, когда в тебе живет бес?

Ноэль покачала головой.

- Вот папа возвращается, - сказала она.

Форт протянул ей руку.

- Мне пора идти. Спокойной ночи: и не слишком тревожьтесь, хорошо?

Он держал ее руку довольно долго, потом крепко пожал.

"Не тревожьтесь"! Что за совет! О Сирил!

В сентябре 1916 года, несмотря на войну, суббота наступила перед воскресеньем. Для Эдварда Пирсона эта суббота была очень напряженным днем, и даже сейчас, чуть не в полночь, он продолжал трудиться, заканчивая почти готовую проповедь.

Он был патриотом, и у него часто появлялось страстное желание отказаться от своего прихода и отправиться, как и его помощник, на фронт войсковым священником. Ему казалось, что люди считают его жизнь праздной, бесполезной и слишком уж беззаботной. Даже в мирное время его очень уязвляли отчужденность и равнодушие, с которыми приходится встречаться церкви в этот век материализма. Он знал, что девять человек из десяти видят в нем чуть ли не паразита, не занятого никаким полезным делом. И так как основной чертой его характера была необычайная добросовестность, он работал до полного изнеможения.

Сегодня он встал в половине седьмого и после ванны и гимнастики уселся за свою проповедь - даже теперь он раз в месяц составлял новую, хотя всегда мог легко выбрать что-нибудь из запаса, накопившегося за двадцать шесть лет. Впрочем, сочиняя проповедь наново, он широко использовал старые; с отъездом помощника на фронт у него уже не хватало времени для новых размышлений на старые темы. В восемь он позавтракал с Ноэль; потом она ушла в госпиталь, откуда возвращалась в восемь вечера. С девяти до десяти он принимал прихожан; они являлись к нему со своими бедами, за помощью или советом; сегодня он принял троих, все они просили помощи, и он оказал ее. С десяти до одиннадцати он снова работал

над проповедью, а с одиннадцати до часу был в церкви, занимаясь всякими мелочами: писал объявления, намечал порядок песнопений, отслужил ежедневную получасовую службу, установленную для военного времени, хотя мало кто посещал это моление. Потом он поспешил домой ко второму завтраку и съел его второпях, чтобы осталось время посидеть у рояля, забыться хотя бы на час. В три он крестил очень крикливого ребенка, и его еще задержали родители расспросами о самых разнообразных вещах. В половине пятого он наскоро проплотил чашку чая и просмотрел газету. Между пятью и семью побывал в двух приходских клубах, поговорил с несколькими прихожанами, для которых он хлопотал о военных пенсиях - заполнял формы, подлежащие хранению в соответствующих учреждениях до тех пор, пока не будут выпущены новые формы. От семи до восьми он снова был дома - на случай, если понадобится своей пастве; сегодня явились побеседовать с ним четверо - он не был уверен, стали ли они мудрее от этой беседы или нет. С половины девятого до половины десятого он присутствовал на репетиции хора, так как органист был в отпуску. Потом медленно в вечерней прохладе добрался до дома и там уснул в кресле. В одиннадцать проснулся, как от толчка, и, скрепя сердце, снова засел за проповедь. И вот теперь почти полночь, а вся проповедь займет не больше, чем двадцать минут. Он закурил сигарету, что позволял себе очень редко, и предался размышлениям. Как красивы эти светло-алые розы в старой серебряной вазе, словно удивительная маленькая поэма! А как хороша та музыкальная пьеса Дебюсси или картина Мариса {Марис, Маттейс (1839-1917) голландский художник.}, которая странным образом напоминала ему слово "Лиля". Не ошибка ли это, что он позволяет Ноэль так много времени проводить в обществе Лилы? Но она стала намного лучше, эта славная Лиля!.. А розы уже готовы осыпаться! И все-таки они прекрасны!.. Сегодня спокойный вечер.... Он почувствовал, что начинает дремать... А Ноэли все еще думает об этом юноше или ее чувство уже прошло? Она с тех пор ни разу не поверяла ему своих тайн! Хорошо бы после войны увезти ее в Италию, показать все эти маленькие городки. Они могли бы поехать в Ассизи, где жил святой Франциск. "Цветочки Франциска Ассизского" {Сборник проповедей приписываемых Франциску Ассизскому (1182-1226), основателю

монашеского ордена францисканцев.}. Цветочки! Рука его упала, сигарета погасла. Он спал. Лицо его было в тени.

Но постепенно в его глубокую дремоту вторглись какие-то едва слышные, зловещие звуки, какие-то легкие постукивания - они звали его, выводили из этого тяжелого оцепенения. Он вскочил. В дверях стояла Ноэль в длинном пальто. Она сказала спокойным голосом:

- Цеппелины, папа!

- Да, моя милая. Где девушки?

Кто-то с ирландским акцентом ответил из передней:

- Мы здесь, сэр; уповаем на господу; но лучше бы спуститься в подвальный этаж.

Он увидел на ступеньках лестницы три жавшиеся друг к другу фигуры в довольно странных одеяниях,

- Да, да, Бриджи. Там безопаснее. - Но тут он заметил, что Нолли исчезла. Он пошел за ней следом на площадь, уже заполненную людьми, лица которых были едва различимы в темноте. Ноэль он нашел возле ограды сквера.

- Пойдем домой, Нолли.

- Ну нет! У Сирила это бывает каждый день.

Он покорно стал рядом с ней; его и самого охватывало какое-то возбуждение. Несколько минут они напрягали зрение, стараясь разглядеть что-нибудь в небе, но видели только зигзагообразные вспышки рвущейся шрапнели да слышали гул голосов вокруг и выкрики: "Смотри, там, там! Вот он - там!"

Но, должно быть, эти люди обладали более острым зрением, чем Пирсон: он не видел ничего. Наконец он взял Ноэль за руку и повел в дом; в прихожей она вырвалась.

- Пойдем на крышу, папочка! - И побежала вверх по лестнице. И опять он последовал за ней, поднялся по лестнице и через люк вылез на крышу.

- Здесь так хорошо видно! - крикнула она.

Он заметил, как сверкают ее глаза, и подумал: "Откуда у моего ребенка такое пристрастие ко всему возбуждающему - это просто невероятно!"

На необъятном темном, усеянном звездами небе метались лучи прожекторов, освещая маленькие облака; среди множества крыш вздымались вверх купола и шпили, величественные и призрачные.

Зенитные пушки вдруг прекратили огонь, словно чем-то озадаченные; вдали раздался взрыв.

- Бомба! Ах! Вот бы сбить хоть один из цеппелинов!

Снова яростно загрохотали пушки, канонада продолжалась с минуту, потом снова умолкла, словно по волшебству. Они увидели, как два луча прожекторов скрестились и встретились прямо у них над головой.

- Это над нами, - прошептала Ноэль.

Пирсон обнял ее. "Она совсем не боится", - подумал он. Лучи прожекторов опять разделились; и вдруг откуда-то издалека донесся неясный гул.

- Что это?! Кричат "ура"! О! Папочка, смотри!

На восточной стороне неба висело что-то тускло-красное, оно словно удлинялось прямо на глазах.

- Они попали в него! Он горит! Ура!

Пылающий оранжевый предмет начал опускаться книзу, крики "ура" все нарастали, доходя до какой-то неистовой ярости. Пирсон сжал плечо дочери.

- Хвала богу, - пробормотал он.

Яркий овал, казалось, надломился и, распластавшись, поплыл боком, опускаясь за крыши; и вдруг все небо вспыхнуло, словно опрокинулся гигантский сосуд, наполненный красным светом. Что-то перевернулось в сердце Пирсона; он порывистым жестом прикрыл глаза рукой.

- Бедные люди - те, которые там! - сказал он. - Как ужасно!

Он услышал голос Ноэль, жесткий и безжалостный:

- Нечего было лететь сюда! Они убийцы!

Верно, они убийцы. Но как это страшно! Он продолжал стоять неподвижно, содрогаясь, закрыв лицо руками, пока наконец не замерли крики "ура" и не наступила тишина.

- Помолимся, Нолли, - прошептал он. - О боже! Ты, по великой милости своей спасший нас от гибели! Прими в лоно твое души врагов наших, испепеленных гневом твоим на наших глазах; дай нам силы сожалеть о них, ведь они такие же люди, как и мы сами!

Но даже молясь, он видел лицо Ноэль - бледное, освещенное отблесками пламени; и когда кровавый свет на небе угас, он еще раз ощутил трепет торжества.

Они спустились вниз, рассказали обо всем девушкам и некоторое время сидели вместе, толкуя о том, что им довелось увидеть, ели печенье и пили молоко, подогретое на спиртовке. Было уже около двух часов, когда они легли спать. Пирсон заснул тут же и ни разу не повернулся во сне, пока его не разбудил в половине седьмого будильник. В восемь ему надо было раздать причастие; он торопился попасть в церковь заблаговременно и кстати выяснить, не пострадала ли она от налета. Но церковь стояла вся залитая солнечным светом, высокая, серая, спокойная, неповрежденная, и колокола ее тихо звонили.

В этот самый час Сирил Морленд стоял у бруствера своей траншеи, затягивая пояс, поглядывая на ручные часы и в сотый раз примеряясь, куда поставить ногу, где опереться рукой, когда надо будет выпрыгнуть из окопа. "Я ни в коем случае не должен позволить ребятам идти впереди меня", - думал он. Столько-то шагов до первой линии траншей, столько-то до второй линии -и там остановка!.. Итак, репетиции кончились; сейчас начнется действие. Еще минута - и из страшного гула артиллерийской подготовки возникнет огневая завеса, которая будет передвигаться впереди них. Он обвел глазами траншею. Ближайший к нему солдат поплевывал на пальцы, словно готовясь взять битую и ударить по мячу в крикете. Чуть подальше другой солдат поправлял об\* мотки. Чей-то голос сказал: "Вот бы оркестр сейчас!" Сирил увидел сверкающие зубы на загорелом до черноты лице. Потом он посмотрел вверх; сквозь бурую пелену пыли, поднятой рвущимися снарядами, проступала синева неба.

Ноэль! Ноэль! Ноэль!.. Он засунул пальцы глубоко в левый карман куртки, пока не почувствовал края фотографии между бумажником и сердцем. Оно трепетало сейчас так же, как тогда, когда он еще школьником, пригнувшись и касаясь одной рукой земли, собирался стартовать на сто ярдов. Уголком глаза он уловил огонек зажигалки - какой-то солдат закуривал сигарету. Этим ребятам все нипочем. А как он? Ему понадобится все его дыхание - да еще мешают винтовка и вся выкладка! Два дня назад он читал в газете описание того, как солдаты чувствуют себя перед атакой. Теперь он знал это по себе. Нервы его были напряжены до предела. Скорее бы наступила эта минута и скорее бы прошла! Он не думал о противнике,

как будто его не существовало; не было ничего-ничего, кроме снарядов и пуль, словно живущих своей собственной жизнью.

Он услышал свисток; его нога сразу оказалась на том месте, которое он наметил, рука там, где решил ее положить. Он крикнул:

- Ну, ребята!

Голова его была уже над бруствером. Он перемахнул через него и тут же увидел, что кто-то падает, а вот, рядом с ним, еще двое. Только не бежать, только не сбиться с ровного шага; идти твердо и только вперед! Черт бы побрал эти ямы! Пуля пробила его рукав, обожгла руку - точно он прикоснулся к раскаленному железу. Английский снаряд пронесся над самой его головой и разорвался в шестидесяти ярдах впереди; Морленд споткнулся, упал плашмя, потом снова вскочил. Теперь впереди него трое! Он зашагал быстрее и поравнялся с ними. Двое упали. "Вот повезло!" - подумал он и, крепче сжав винтовку, не глядя, ринулся в ров. Там повсюду валялись мертвые тела! Это была первая линия немецких траншей, и ни одного живого солдата в них не было. Некого было выбивать - ни живой души! Он остановился перевести дыхание и смотрел, как его солдаты, запыхавшись, прыгают в траншею. Гул орудий стал громче, заградительный огонь переносили на вторую линию. Пока все хорошо. А вот и капитан!

- Готовы, ребята? Вперед!

Теперь он двигался куда медленнее, земля была вся изрыта воронками и ямами. Инстинктивно он искал и находил укрытия. Все вокруг было наполнено треском пулеметов, их огонь бушевал вокруг зигзагообразными линиями - воздух казался живым от взвизгивания пуль, пыли и дыма. "Как я расскажу ей обо всем этом?" - подумал он. Но о чем тут рассказывать? Какое-то безумное опьянение! Он смотрел прямо перед собой, стараясь не видеть падающих вокруг солдат, не желая знать ничего, что могло бы отвлечь от этого движения туда, вперед. Он чувствовал, как свистит воздух от пролетающих пуль. Должно быть, близко вторая линия. Почему же не прекращают заградительный огонь? Что это? Новая военная хитрость - вести огонь до последней секунды, пока атакующие не достигнут траншей? Еще сто ярдов - и он ворвется в них. Он снова бросился на землю, выжидая; взглянув, на часы, он вдруг заметил, что его рукав пропитался кровью. Он подумал: "Рана! Теперь я вернусь домой."

Слава богу! О Ноэль!" Пули свистели над ним; он слышал их даже сквозь грохот и гром орудийного огня. "Вот проклятые!" - подумал он. Чей-то голос сзади него сказал:

- Заградительный прекращен, сэр.

- За мной, ребята! - крикнул Морленд и, согнувшись, побежал вперед. Пуля ударила в его винтовку, он пошатнулся, словно электрический ток пробежал по его руке. "Снова повезло! - подумал он. - Теперь - туда! Я еще не видал ни одного немца!" Он прыгнул вперед, завертелся на месте, вскинул вверх руки и упал на спину, насквозь прошитый пулеметной очередью...

Позиция была закреплена, как говорится в донесениях; в темноте, по этому участку фронта в полмили, бродили санитары. Как блуждающие светлячки, они двигались час за часом со своими затененными фонариками, понемногу прочесывая черную, опаленную, похожую на соты землю, лежащую позади новой английской линии. То и дело одинокая ракета освещала их фигуры, склоняющиеся к земле, поднимающие неподвижные тела раненых или орудующие лопатой и киркой.

- Офицер.

- Убит?

- Без сомнения.

- Общайте.

Желтоватый свет фонарика, поднесенного прямо к телу, упал на лицо и грудь. Руки санитары двигались в этом маленьком пятне света. Второй санитар делал заметки. Он наклонился пониже.

- Еще один мальчик! - сказал он. - Это все, что у него есть?

Первый санитар поднялся.

- Только это, и вот еще фотография.

- Бумажник, кредитный билет в фунт стерлингов, пачка сигарет, ручные часы, фотография. Дайте посмотреть.

Второй санитар осветил маленькую фотографию фонариком. Лицо девушки, обрамленное коротко остриженными кудрями, глядело на них.

- "Ноэль", - прочел первый санитар.

- Гм! Спрячьте фотографию, положите в бумажник. Пошли!

Пятно света погасло, и тьма навеки окутала Сирила Морленда.

ГЛАВА II

Когда они вчетвером заняли места в большом зале Куинс-холла, шел уже второй номер программы; несмотря на все патриотические усилия устроителей, это было произведение немецкого композитора: "Бранденбургский концерт" Баха. Еще любопытнее было то, что концерт повторяли на бис. Пирсон не аплодировал; наслаждаясь музыкой, он сидел с блаженной улыбкой, забыв об окружающем. Он был сейчас бесконечно далек от земных радостей и горестей. Когда замерли последние аплодисменты, Лила сказала ему на ухо.

- Какая удивительная аудитория, Эдвард! Смотри: всюду хаки. Кто бы думал, что наши молодые солдаты интересуются музыкой, хорошей музыкой, к тому же немецкой?

Пирсон посмотрел на всю эту массу людей в военных кепи и соломенных шляпах, терпеливо стоявших в зале и глядевших на эстраду, и вздохнул:

- Хотелось бы мне иметь такую аудиторию в церкви!

Улыбка тронула уголки губ Лилы. Она подумала: "Ах, мой дорогой, церковь твоя устарела, и ты вместе с ней! Куда уж ей, твоей церкви, с запахом плесени и ладана, витражами, узкими закоулками и гудящим органом! Бедный Эдвард, он совсем не от мира сего!" Но она только пожала ему руку и прошептала:

- Посмотри на Ноэль.

Девушка разговаривала с Джимми Фортом. Щеки ее разругались, она была такой красивой, какой Пирсон не видел ее уже давно, с самого Кестрела. Он услышал, как вздохнула Лила.

- Есть у нее какие-нибудь вести от этого юноши?.. Помнишь ту нашу Майскую неделю, Эдвард? Мы были очень молоды тогда, даже ты был молод. И ты написал мне такое милое письмецо. Я и сейчас представляю себе, как ты бродил в своем карнавальном костюме вдоль реки, среди этих "священных" коров.

Но, говоря это, Лила смотрела в другую сторону - на второго своего соседа и на девушку. Скрипач играл сонату Цезаря Франка. Это была любимая вещь Пирсона. Она всегда вызывала в нем ощущение небес - этой напоенной благодатью голубой тверди, в которой блистают крошечные звезды, а в полдень солнце заливают ликующие деревья и воды, где плавают ликующие лебеди.

- Станный мир, мистер Пирсон! Представьте себе: все эти ребята после того, как прослушают такую музыку, должны вернуться

в казармы! Что вы думаете об этом? Не возвращаемся ли мы назад, к обезьянам? Или поднимаемся до высоты этой сонаты?

Пирсон повернулся и внимательно посмотрел на Форта.

- Нет, капитан Форт, я не думаю, что мы опускаемся до обезьян, если мы только произошли от них. У этих парней - души героев.

- Я знаю это, сэр, и, быть может, лучше, чем вы.

- Ах, да, - кротко сказал Пирсон. - Я и забыл. Но он все еще с сомнением смотрел на своего соседа.

Этот капитан Форт, знакомый Лилы, дважды уже приходивший к ним, ставил его в тупик. У него было открытое лицо, спокойный голос, но совершенно дикие воззрения - или это только казалось Пирсону? Что-то от магометанства; что-то от религий жителей джунглей или южноафриканской степи; при этом странный, неожиданный цинизм и какой-то иронический взгляд на Англию. Все это совмещается в нем, и Форт этого, кажется, не скрывает. Мысли выскакивают из него, как пули, и хотя он говорит спокойно, его слова словно пробивают дыры в слушателе. Подобные критические воззрения звучат острее в устах человека, получившего примерно то же образование, что и сам Пирсон, чем если бы все это говорил какой-нибудь скромный самоучка, какой-нибудь актер, иностранец или даже врач вроде Джорджа. И это каждый раз вызывает какое-то неприятное чувство, словно прикосновение к колючему шипу. Нет, это совсем не забавляет! Эдвард Пирсон всегда сжимался, соприкасаясь со всякой крикливой философией, - и естественно, что так на него действовал и Форт.

После первого отделения концерта они с Ноэль ушли, распрощавшись с Лилой и Фортом в дверях. Отец взял Ноэль под руку и, все еще занятый теми мыслями, которые возникли у него в концертном зале, спросил:

- Тебе нравится капитан Форт, Нолли?

- Да, он славный человек.

- Это верно. Он производит впечатление славного человека - у него приятная улыбка, но, боюсь, очень странные взгляды.

- Он считает, что немцы немногим хуже, чем мы сами; он говорит, что большинство англичан - такие же грубые, как они.

- Да, он говорил что-то вроде этого.

- Но разве мы такие, папа?

- Безусловно, нет.

- Один полисмен сказал мне то же самое. Капитан Форт считает, что мало кто из людей не развратился бы, добравшись до власти. Он рассказал мне несколько ужасных случаев. Он говорит, что у нас нет воображения и мы часто делаем многое, не понимая, как это жестоко.

- Мы, конечно, не безупречны, Нолли, но в целом я считаю, что мы добродушный народ.

Ноэль с минуту помолчала, потом вдруг сказала:

- Хорошие люди часто думают, что все другие тоже хорошие; а на самом деле те совсем нехороши. Капитан Форт не ошибается в людях.

- Я думаю, что он немного циничен и поэтому вреден.

- А разве все, кто думает не так, как другие, - вредные люди, папа?

Пирсон неспособен был насмеяться над людьми и поэтому не понимал, когда насмеваются над ним самим. Он посмотрел на дочь с улыбкой.

- Не так плохо сказано, Нолли, но все-таки мистер Форт в каком-то смысле вреден. Вероятно, потому, что он видел слишком много плохого в жизни.

- Поэтому он мне и нравится!

- Ну, ну, - ответил Пирсон рассеянно.

У него была срочная работа: надо было подготовиться к конференции. Как только они вернулись домой, он сразу направился в свой кабинет.

Ноэль зашла в столовую выпить горячего молока. Шторы не были опущены, и яркий лунный свет заливал комнату. Не зажигая электричества, она поставила молоко на спиртовку и стала смотреть на небо. Было полнолуние - второе с тех пор, как она и Сирил ожидали появления луны над Аббатством. Она вздрогнула и прижала руки к сердцу. Если бы она могла призвать его к себе из этого лунного света! Если бы она была колдуньей - могла увидеть его, узнать, где он, что делает! Уже две недели от него нет писем. После того, как он уехал на фронт, она ежедневно прочитывала в газетах списки убитых; у нее было суеверное чувство, что этим она как бы спасает его от гибели. Она взяла "Таймс". Было достаточно светло, и она принялась читать этот свиток доблести и читала до тех пор, пока... луна не

осветила ее, лежащую на полу рядом с отброшенной в сторону газетой...

Она была горда и унесла свое горе к себе в комнату, как унесла с собой свою любовь в ту ночь, когда он уезжал. Ни один звук не выдал дому ее несчастья; газета на полу, запах подгоревшего молока - все это не говорило ни о чем. В конце концов ее сердце - лишь одно из тысяч сердец, которые терзаются в эту лунную ночь жестокой мукой. Каждую ночь, год за годом, тысячи женщин прячут лицо в подушку, пытаюсь заглушить это первое страшное чувство осиротелости; они словно ищут тайного прибежища, слабого утешения в мысли о том, что есть и другие, у которых такое же горе. Утром она поднялась после бессонной ночи, даже как будто съела завтрак и пошла в госпиталь. Там, с каменным лицом, с темными кругами под глазами, она принялась мыть тарелки и блюда.

Пирсон узнал о гибели Морленда из письма Тэрзы, которое получил во время завтрака. Он прочел его с великой горечью. Бедная, бедная маленькая Нолли! Какое страшное несчастье для нее! Весь день он работал с кошмарной мыслью, что вечером должен будет сообщить ей это. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким, никогда так страстно не желал, чтобы здесь была мать его детей. Она знала бы, как успокоить, как утешить! На ее груди девочка могла бы выплакать свое горе. Весь этот час между семью и восемью, когда он обычно выполнял обязанности представителя бога перед своими прихожанами, он провел в молитве, прося указания: как нанести ей этот удар и как залечить рану? Когда наконец Ноэль пришла, он сам открыл ей дверь и, отбрасывая волосы с ее лба, сказал:

- Зайди ко мне на минутку, родная!

Ноэль пошла за ним в кабинет и села.

- Я уже знаю, папа.

Ее стойкость поразила Пирсона больше, чем если бы Он увидел естественный взрыв горя. Робко поглаживая ее волосы, он нашептывал ей то же самое, что Грэтиане и многим другим в такие минуты:

- Смерти нет. Жди новой встречи с ним. Бог милосерден!

И снова он изумился спокойствию этого бледного лица, такого юного.

- Как ты мужественна, дитя мое! - сказал он.

- Ничего другого не остается.

- Могу ли я сделать что-нибудь для тебя, Нолли?

- Нет, папа.

- Когда ты узнала об этом?

- Вчера вечером.

Она знала уже почти сутки и не сказала ему ни слова!

- Ты молилась, моя девочка?

- Нет.

- Попробайся, Нолли!

- Нет.

- О, попробайся!

- Это было бы нелепо, папа. Ты не понимаешь.

Охваченный горем, растерянный, Пирсон отстранился от нее и сказал:

- У тебя страшно усталый вид. Может быть, примешь горячую ванну и тебе дадут пообедать в постель?

- Я хотела бы чашку чая, больше ничего. - И она ушла.

Когда ей понесли чай, он вышел из дому. У него было непреодолимое желание спросить совета у какой-нибудь женщины. Он взял машину и поехал к Лиле.

### ГЛАВА III

После концерта Лила и Джимми Форт разыскали такси; поздно вечером, да еще в военное время, поездка в машине располагала к интимности. Тряска, шум мотора, темнота; однако всего этого было мало, чтобы возродить прежнее чувство; не хватало аромата жимолости, роз, белых цветов плюща, который они вдыхали в Верхней Констанции, - тот аромат был много приятнее, чем этот запах бензина.

Когда Лила очутилась с Фортом наедине, чего она так жаждала, ее охватила болезненная застенчивость. Вот уже несколько недель она была в странном состоянии. Каждую ночь подолгу размышляла и никак не могла разобраться в своих чувствах. Когда женщина достигает известного возраста, какой-то голос словно нашептывает ей: "Ты была молода, ты была красива; ты еще и теперь красива; ты не постарела, и ты не должна быть старой; не расставайся с молодостью, держись за свою красоту; бери от жизни все, что можно, не жди, пока твое лицо покроется морщинами, волосы поседеют; не верь, что прошлая твоя любовь была последней".

Такие мысли с особой силой овладели ею, когда она увидела, как Джимми Форт разговаривает на концерте с Ноэль. Лила не была ревнива и искренне восхищалась Ноэль, но сама мысль, что Джимми Форт может тоже восхищаться девушкой, причиняла ей боль. Он не имеет права на это; это нечестно; он слишком стар для нее - и, кроме того, у девушки есть тот мальчик, а Лила уже позаботилась, чтобы Форт знал об этом. Наклонившись к нему, когда молодая дама с обнаженными плечами пела что-то на эстраде, она прошептала:

- О чем задумались?

Он ответил ей шепотом:

- После скажу.

Это успокоило ее. Он проводит ее домой. Пора ей открыть ему свое сердце.

Но теперь, в машине, когда она уже решила сказать ему о своих чувствах, ею овладела неожиданная робость, и все показалось не таким-то легким. Любовь, которой она не испытывала уже три года, вдруг ожила в ней. Чувствовать это было сладостно и мучительно; она сидела, отвернувшись от него, не в силах воспользоваться драгоценными минутами. Они подъехали к ее дому, перекинувшись лишь несколькими словами о том, что улицы темны, а луна светит ярко. Она вышла из машины, еще не зная, как ей поступить, и вдруг сказала с решимостью отчаяния:

- Вы можете подняться ко мне и выкурить сигарету. Еще совсем рано.

Он поднялся вместе с ней.

- Подождите минутку, - сказала Лила.

Сидя за стаканом вина и покуривая сигарету, он пристально разглядывал цветы в вазе марки "Семейство Роз" и ждал - уже минут десять; слегка улыбаясь, он вспоминал нос этой маленькой сказочной принцессы и ее изящную манеру складывать губы, когда она говорит. Не будь этого чертовски удачливого солдатика, он бы и сам был не прочь застегивать ее башмаки или расстилать перед ней в грязи свое одеяние - или как это еще делается в волшебных сказках? Да, он хотел бы этого, - эх, чего только не хочется человеку! Чтоб он пропал, этот молодой солдат! Лила сказала, что ему двадцать два года. Черт побери! Каким старым чувствуешь себя, когда тебе под сорок, да еще с таким увечьем! Нет, сказочные принцессы не для него! Вдруг запах

духов ударил ему в нос; подняв голову, он увидел Лилу; она стояла перед ним в длинном кимоно из темного шелка, белые руки были обнажены.

- Опять задумались? А помните эти кимоно, Джимми? В Кейптауне их носили малайские женщины. Можете себе представить, как я отдыхаю, когда сбрасываю свою одежду рабыни? Ах, до чего мне надоело быть сестрой милосердия! Джимми, мне так хочется пожить еще, хотя бы немного!

В этом одеянии она выглядела лет на пятнадцать моложе: цветок гардении, приколотый на груди у самого выреза шелкового кимоно, не казался блее, чем ее кожа. Он удивленно подумал: уж не упал ли этот цветок с неба?

- Пожить? - переспросил он. - Как это? Разве вы сейчас не живете?

Она подняла руки, и черные шелковые рукава упали, обнажив их до плеч.

- У меня нет жизни - вот уже два года. Ах, Джимми, помогите мне. Жизнь так коротка, особенно сейчас.

Ее взгляд, напряженный и взволнованный, обнаженные руки, запах цветов смутили его. Он почувствовал, как кровь приливает к его лицу, и опустил глаза.

Легким движением она бросилась к нему, опустилась на колени и, сжимая обеими руками его руки, зашептала:

- Полюбите меня хоть немного! Что же еще остается? Ах, Джимми, что же еще?

Вдыхая волнующий аромат цветка, раздавленного их руками, Форт подумал: "Ах, что еще есть в это окаянное время?"

Джимми Форт обладал чувством юмора и был в своем роде философом, и его почти всегда забавляли всякие капризные повороты жизни. Но от Лилы он возвращался в глубокой задумчивости. Она была хороша собой - очень красивое создание, женщина спортивного склада, обольстительница, но... она явно перезрела. И вот он впутался в эту историю - теперь он должен помочь ей "пожить"; впутался так, что это не может не вызывать тревоги; он уже почти безошибочно знал, что она действительно полюбила его.

Это было, конечно, очень лестно и приятно. Время просто ужасное, развлечения скупые, но... Инстинкт бродяжничества

заставлял его с юных лет носиться по свету; так же инстинктивно он избегал всяких уз, даже приятных, если не мог сам оценить их силу и прочность; может быть, впервые в жизни он заглянул в какую-то сказочную страну, - а в его связи с Лилой уж, конечно, нет ничего сказочного. Была у него и другая причина чувствовать себя неловко. Несмотря на беспорядочный образ жизни, он обладал мягким сердцем, и ему всегда бывало трудно причинять кому-либо боль, особенно женщине, которая оказала ему честь полюбить его. Какое-то предчувствие угнетало Форта, шагавшего по залитым луной улицам в этот безлюдный ночной час, когда даже такси не попадались. Захочет Лиля, чтобы он женился на ней? И будет ли он считать это своим долгом, если она захочет? Но мысли его приняли другое направление; он думал о концерте, о девушке, которая слушала его рассказы. "Дьявольски странный мир! - мелькало у него в голове. - И как все это нелепо получилось!.. Что подумала бы она обо мне и Лиле, если бы знала? И этот добрый священник! Уф!"

Он шел медленно, боясь, что разболится нога и придется провести ночь на крыльце, поэтому у него было достаточно времени для размышлений. Но они не успокаивали его, и он в конце концов решил: "Ладно, ведь могло быть и хуже. Надо без долгих рассуждений брать те блага, которые посылают нам боги!" И вдруг он с удивительной живостью вспомнил ту ночь на веранде в Верхней Констанции и подумал растерянно: "Тогда я мог бы погрузиться в эту любовь с головой, а теперь не могу. Вот она, жизнь! Бедная Лиля! Да и сам я, возможно, несчастен - кто знает!"

#### ГЛАВА IV

Когда Лиля открыла дверь Эдварду Пирсону, глаза ее сияли, на губах играла мягкая улыбка. Казалось, вся ее душа мягко улыбается; она протянула ему обе руки. В этот день все доставляло ей радость, даже это скорбное лицо. Она любила и была любима. У нее снова было настоящее и будущее, а не только прошлое; надо только кончить разговор с Эдвардом в полчаса - ведь скоро придет Джимми! Она села на диван, по-родственному взяла Пирсона за руку и сказала:

- Ну, выкладывай, Эдвард; я чувствую, ты в большом смятении. Что случилось?

- Ноэль... Тот мальчик, которого она любила, убит. Лиля выпустила его руку.

- Не может быть! Бедное дитя! О, как это жестоко! - Слезы навернулись на ее серые глаза, она отерла их крошечным носовым платочком. - Бедная, бедная маленькая Ноэль! Она его очень любила?

- Это была неожиданная и поспешная помолвка; но боюсь, что на Ноэль все это слишком подействовало. Не знаю, как утешить ее; это может только женщина. Я пришел спросить тебя: продолжать ли ей работать? Как ты думаешь, Лила? Я просто растерялся.

Лила взглянула на него и подумала: "Растерялся? О да, похоже на то, мой бедный Эдвард!"

- На твоём месте я позволила бы ей работать, - сказала она. - Это помогает; только это и может помочь. Я посмотрю, может быть, устрою ее работать в палатах. Ей нужно быть поближе к нашим солдатам, видеть, как они страдают; теперь работа на кухне будет для нее особенно мучительной... А он был очень молод?

- Да. Они хотели пожениться. Я был против этого, Лила чуть скривила губы. "Еще бы!" - подумала она.

- Я не мог вынести даже мысли, что Нолли готова так поспешно отдать себя; они и знакомы-то были всего три недели. Это было очень тяжело для меня, Лила. А потом он внезапно уехал на фронт.

Волна возмущения поднялась в Лиле. Ах, уж эти ханжи! Как будто и без них жизнь не лишает людей радости! В эти минуты лицо кузена казалось ей почти отталкивающим; его кроткая, безмятежная доброта словно потускнела и растворилась в этом монашеском облике. Она отвернулась, посмотрела на часы над камином и подумала: "Ну, конечно, он и нам с Джимми стал бы мешать! Сказал бы: "О нет, дорогая Лила, ты не должна его любить - это грех!" Как я ненавижу это слово!"

- Я считаю, что самое страшное в жизни, - возразила она, - это когда люди подавляют в себе естественные инстинкты да еще заставляют других делать; то же, если, конечно, могут; этим объясняется добрая половина несчастий, которые случаются в мире.

Заметив по его лицу, что он ошеломлен этим взрывом, причин которого он не мог знать, она поспешно добавила:

- Я надеюсь, что Ноэль скоро забудет свое горе и найдет кого-либо другого.

- Возможно. Но было бы еще хуже, если бы они поженились! Слава богу, что они этого не сделали.

- Не знаю. У них, наверно, был бы все-таки час блаженства. Даже час блаженства чего-то стоит в наше время.

- Для тех, кто верит только в земную жизнь, - пожалуй.

"Осталось всего десять минут, - подумала она, - Ах, - почему он не уходит?" Но тут он поднялся, и сразу же ее сердце смягчилось.

- Мне так жаль Нолли, Эдвард! Если только я могу чем-нибудь помочь, завтра же попытаюсь сделать для нее все, что в моих силах; а ты приходи сюда, когда тебе вздумается.

Она снова протянула ему обе руки; прощаясь, она боялась, что он вдруг вздумает остаться, но все-таки ласково заглянула ему в глаза и тепло и сочувственно пожала ему руки.

Пирсон улыбнулся. Эта улыбка всегда вызывала в Лиле жалость к нему.

- Прощай, Лиля; ты очень мила и добра. До свидания!

Она ответила глубоким вздохом, в котором чувствовалось явное облегчение. Потом она пошла его провожать.

Взбегая по лестнице, она думала: "У меня еще есть время. Что мне надеть? Бедный Эдвард, бедная Ноэль!.. Какой цвет нравится Джимми?.. Ах, почему я не удержала его тогда, десять лет назад, как глупо растрачено это время!"

Лихорадочно закончив туалет, она подошла к окну и стала ждать, не заживая света; аромат жасмина доносился снизу. "Выйду я за него замуж, если он предложит мне? - думала она. - Но он не предложит - с чего бы он стал это делать? Кроме того, я бы не потерпела, если бы он подумал, что я ищу положения или денег. Мне нужно одно - любовь, любовь, любовь!" Беззвучное повторение этого слова приносило ей какое-то приятное ощущение прочности и спокойствия. Пока она хочет только любви - он наверняка останется с ней!

Из-за угла церкви появилась высокая фигура и направилась к ее дому. Он! И вдруг Лиля опомнилась. Она подбежала к маленькому пианино и, аккомпанируя себе, запела песенку, которую пела десять лет назад. "Если б я была росинкой, я несла б тебе прохладу каждый день!" Она не обернулась, когда он вошел, а продолжала напевать, чувствуя, что он уже стоит в темноте за ее плечами. Но, окончив песню, она встала, обняла его, притянула к себе и разрыдалась у него на плече; она думала о Ноэль и об этом убитом юноше, о миллионах других юношей, думала о своем счастье, и об этих упущенных десяти

годах, и о том, как коротки жизнь и любовь, И, думая обо всем этом, она едва ли сознавала, о чем думает. А Джимми Форт, растроганный ее настроением, которое понимал только наполовину, крепко сжимал ее в объятиях, целовал ее мокрые щеки и теплую шею, такую белую, что она словно светилась в темноте.

## ГЛАВА V

Прошел месяц, и Ноэль продолжала работать; но однажды утром она потеряла сознание и упала на грудь тарелок. Шум привлек внимание, кто-то позвал миссис Линч.

Увидев Ноэль, лежащую со смертельно бледным лицом, Лила ужаснулась. Но Ноэль скоро пришла в себя, и для нее вызвали машину. Лила поехала с ней, велев шоферу отвезти их в Кэймилот-Мэншенз. Ноэль была в таком состоянии, что везти ее домой не следовало - лучше избавить девушку от лишней тряски в машине и дать ей сначала по-настоящему окрепнуть. Они поднялись по лестнице рука об руку. Лила уложила ее на диван и принесла бутылку горячей воды, чтобы согреть ей ноги. Ноэль была еще так слаба и бледна, что было бы жестоко расспрашивать ее. Лила тихонько достала из шкафчика бутылку с остатками шампанского, - которое прислал ей Джимми Форт, и, захватив два стакана и штопор, отправилась в спальню. Там она выпила немного сама, а другой стакан принесла и подала девушке. Ноэль покачала головой, глаза ее словно говорили: "Неужели ты думаешь, что меня так легко вылечить?" Но Лила за свою жизнь повидала многое и презирала общепринятые лекарства; она поднесла стакан к губам девушки и заставила ее выпить. Это было прекрасное шампанское, а Ноэль никогда не пробовала спиртного; вино немедленно оказало свое действие. Глаза ее заблестели; слабый румянец окрасил щеки. И вдруг она повернулась к Лиле спиной и зарылась лицом в подушку. С коротко остриженными волосами она была похожа на ребенка; Лила опустила на колени и стала гладить ее по голове, приговаривая:

- Ну, родная! Ну же, успокойся!

Наконец девушка приподнялась; бледная маска отчаяния, которую она носила на лице весь последний месяц, спала; лицо ее горело, глаза блуждали. Она отодвинулась от Лилы, крепко прижала руки к груди и сказала:

- Я не вынесу этого. Я совсем не сплю. Я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Я ненавижу жизнь, ненавижу весь мир! Мы не сделали ничего дурного только любили друг друга. Богу нравится наказывать; он наказывает нас лишь за то, что мы любили. У нас был только один день для нашей любви... только один день... только один! Лила видела, как судорожно дергается стройная, белая шея девушки, как неестественно вытянулись и оцепенели ее руки; было почти невыносимо смотреть на это. Удивительно нежный голос произносил безумные слова, безумным казалось и лицо девушки.

- Я не хочу... Я не хочу жить! Если есть загробная жизнь, я уйду к нему. А если ее нет, тогда это все равно, что уснуть.

Лила подняла руку, словно желая остановить этот бред. Как и большинство женщин, которые живут только своими чувствами и настроениями, она не привыкла раздумывать над подобными вещами и поступила так, как принято поступать в таких случаях.

- Расскажи мне о себе и о нем, - попросила она.

Ноэль повернулась и вскинула серые глаза на кухню.

- Мы любили друг друга; когда любишь, рождаются дети, правда? Ну, а мой не появится на свет!

Не столько эти слова, сколько выражение лица Ноэль раскрыло Лиле все; потом смысл сказанного как бы погас в ее сознании и вспыхнул снова. Невероятно! Но... если Ноэль сказала правду - это ужасно! То, что всегда казалось Лиле простым отступлением от общепринятых норм, сейчас вставало перед ней как подлинная трагедия! Она порывисто поднялась и крепко обняла девушку.

- Бедная детка, - сказала она. - Это у тебя какие-то фантазии.

Слабый румянец сошел с лица Ноэль, она откинула голову, веки ее наполовину опустились; теперь она была похожа на привидение, маленькое и скорбное.

- Пусть фантазии, но жить я не буду. Мне все равно - умереть так легко! И я не хочу, чтобы отец знал.

- Что ты, дорогая... дорогая моя! - шептала, запинаясь, Лила.

- Это была ошибка, Лила?

- Ошибка? Не знаю... Если все действительно так, то... это просто неудача. Но ты вполне уверена?

Ноэль кивнула.

- Я сделала так, чтобы мы принадлежали друг другу. Чтобы ничто не могло отнять его у меня.

Лиля ухватилась за эти слова.

- Тогда, моя милая, он не совсем ушел от тебя, понимаешь?

С губ Ноэль слетело едва слышное "да".

- Но папа! - прошептала она.

Перед Лилой встало лицо Эдварда - так живо, что на минуту заслонило лицо девушки. Все жизнелюбие Лилы восстало против этого аскета. И хотя, следуя здравому житейскому рассудку, она не одобряла поступок Ноэль и огорчалась за нее, - сердцем она поневоле приветствовала этот час жизни и любви, который они вырвали для себя из пасти смерти.

- Разве отец непременно должен знать? - спросила она.

- Я никогда не лгала папе. Но это неважно. Зачем человеку продолжать жить, если жизнь ни к чему?

На улице ярко сияло солнце, хотя был уже конец октября. Лиля поднялась с колен. Она стала у окна и глубоко задумалась.

- Дорогая, - сказала она наконец, - надо победить в себе эту боль и уныние. Посмотри на меня! У меня было два мужа, и... я провела довольно бурную жизнь, с подъемами и падениями, и смело скажу, что всяких бед и потрясений я видела довольно в своей жизни. Но я не собираюсь еще умирать; не надо умирать и тебе. Пирсоны всегда были мужественными людьми, не изменяй же своему роду. Это последнее дело! Твой мальчик тоже велел бы тебе быть мужественной. Теперь это - твои "окопы", и не надо давать жизни смять себя.

Наступило долгое молчание. Потом Ноэль пробормотала:

- Дай мне сигарету, Лиля.

Лиля достала маленький плоский портсигар, который всегда носила с собой.

- Вот молодец! - сказала она. - Нет ничего неизлечимого в твоём возрасте. Неизлечима только старость.

Ноэль усмехнулась.

- Но ведь и она излечима, не так ли?

- Если только не сдаваться.

Снова они замолчали; они курили, часто затягиваясь, и синий дымок двух сигарет поднимался к низкому потолку. Потом Ноэль встала с дивана и подошла к пианино. На ней была еще госпитальная

форма из лилового полотна; стоя, она слегка прикасалась пальцами к клавишам, беря то один, то другой аккорд; сердце Лилы разрывалось от жалости; сама она была сейчас так счастлива, а жизнь этого ребенка исковеркана!

- Поиграй мне, - сказала она. - Или нет, не надо! Лучше я сыграю сама.

Она села за пианино и запела французскую песенку, в которой первые слова были: "Si on est jolie, jolie comme vous..." {Если быть красивой, красивой, как вы... (франц.).} Это была наивная, веселая, очаровательная песенка. Если бы Ноэли выплакалась, для нее было бы лучше! Но Ноэль не плакала; она, видимо, вполне овладела собой. Она говорила спокойно, отвечала на вопросы Лилы без всякого волнения и наконец заявила, что хочет домой. Лила вышла вместе с ней и немного ее проводила; ей было грустно, но она чувствовала себя какой-то растерянной. В конце Портленд-плэйс Ноэль остановилась и сказала:

- Мне уже лучше, Лила. Я очень тебе благодарна. Я теперь пойду домой и лягу. А завтра приду в госпиталь, как обычно. До свидания!

Лила успела только схватить руку девушки и сказать:

- Милая моя, это чудесно! Мало ли что случается, особенно в военное время!

С этими словами, неясными для нее самой, она отпустила Ноэль и некоторое время следила, как та медленно шла вперед; потом Лила направилась к госпиталю. Она была растрогана и полна сострадания.

Ноэль не пошла домой; она зашагала по Риджент-стрит. В какой-то мере она успокоилась, немножко оправилась - этому помог оптимизм ее выдавшей виды кузины; слова Лилы "он не совсем ушел от тебя" и "особенно в военное время" толкали ее на новые размышления. К тому же кузина говорила обо всем вполне откровенно; неведение, в котором Ноэль находилась последние три недели относительно своего физического состояния, рассеялось. Естественно, что она, как и большинство гордых натур, не очень задумывалась над тем, что скажут окружающие; впрочем, у нее было слабое представление об обществе и о том, как судят и что думают люди. Кошмаром висела над ней только одна мысль: какой это будет ужас и горе для отца. Она пыталась успокоить себя, вспоминала о сопротивлении отца ее замужеству, о том, как она озлобилась тогда. Он не понимал, не мог постигнуть, как они с Сирилом любили друг

друга! Теперь, если у нее действительно появится ребенок, это будет ребенок Сирила - сын Сирила, это будет сам возродившийся к жизни Сирил! В ней понемногу снова пробуждался инстинкт, который сильнее всякой утонченности, традиций, воспитания; тот самый инстинкт, который толкнул ее так поспешно закрепить их союз - неудержимое биение жизни, противостоящее небытию; и ее ужасная тайна теперь казалась ей почти сокровищем. Она читала в газетах о так называемых "детях войны", читала с каким-то неясным ей самой любопытством. Теперь внутренний смысл прочитанного осветился для нее совсем иным светом. Эти дети были плодом "дурного поведения", они составляли "проблему"; и все-таки она знала теперь, что люди рады им; эти дети примиряли их с жизнью, заполняли пустоту. Может быть, когда у нее будет ребенок, она станет гордиться им, тайно гордиться, наперекор всем и даже отцу! Они старались убить Сирила - этот их бог и все они; но им это не удалось - Сирил живет в ней! Лицо Ноэль пылало, она шагала в гуще суетливой толпы; прохожие оборачивались и глядели на нее - у нее был такой вид, словно она никого и ничего не замечает, - обычно люди, у которых есть хоть немного времени, обращают на это внимание. Так она бродила два часа, пока не очутилась возле своего дома; состояние восторга прошло у нее только в ее комнате, когда она села на кровать, вынула фотографию и стала в нее вглядываться. И тут наступил новый упадок сил. Заперев дверь, она легла на кровать и заплакала, чувствуя себя совсем одинокой и брошенной; наконец, окончательно измученная, она уснула, сжимая в руке фотографию, на которой не высохли еще следы слез. Проснулась она, как от толчка. Было темно, кто-то стучал в дверь.

- Мисс Ноэль!

Из какого-то детского упрямства она не ответила. Почему они не оставят ее в покое? Если бы они знали, они не приставали бы к ней! Она услышала новый стук и голос отца:

- Нолли, Нолли!

Она вскочила и открыла дверь. Вид у него был встревоженный, у нее сжалось сердце.

- Все хорошо, папа. Я спала.

- Дорогая, извини, но обед готов.

- Я не хочу обедать, я лучше лягу. Морщинка между его бровями углубилась.

- Ты не должна запира́ть дверь, Нолли. Я так испугался. Я зашел за тобой в госпиталь, мне сказали о твоём обмороке. Прошу тебя - пойдй к доктору.

Ноэль отрицательно затрясла головой.

- Ах, нет! Это пустяки!

- Пустяки? Такой обморок? Но послушай же, дитя мое! Ради меня!

Он сжал ладонями её голову. Ноэль отстранилась.

- Нет, папа, я не пойду к доктору. Что ещё за нежности в военное время! Я не хочу. И не надо меня заставлять. Я спущусь вниз, если ты хочешь. А завтра я буду себя чувствовать совсем хорошо.

Пирсону пришлось уступить; но в этот вечер она не раз замечала его тревожный взгляд. Когда она снова ушла наверх, он последовал за ней и настоял, чтобы она растопила камин. Целуя её у двери, он сказал очень спокойно:

- Как бы я хотел заменить тебе мать, дитя мое!

На мгновение Ноэль обожгла мысль: "Он знает!" Но потом, взглянув на его озадаченное лицо, она поняла, что это не так. Если бы он знал! Какую тяжесть это сняло бы с неё! Но она ответила ему так же спокойно:

- Доброй ночи, милый папочка! - Поцеловав его, она закрыла дверь. Потом села перед камином и протянула к нему руки. Её сердце было словно сковано ледяным холодом. Отблески света играли на её лице с тенями под глазами, на все ещё округлых щеках, на тонких бледных руках, на всей её юной, легкой, полной грации фигурке. А там, в ночи, мимо луны бежали облака. Снова наступило полнолуние.

## ГЛАВА VI

Пирсон вернулся в кабинет и начал писать Грэтиане:

"Если бы ты могла взять отпуск на несколько дней, моя дорогая, я бы хотел, чтобы ты приехала домой. Меня очень беспокоит Нолли. С тех пор, как у неё случилось это несчастье, она совсем извелась; а сегодня она упала в обморок. Она ни за что не хочет обращаться к врачу, но, может быть, показать её Джорджу? Если бы ты приехала, Джордж тоже завернул бы к нам на один-два дня; или же ты могла бы отвезти Нолли к нему, на море. Я только что прочел, что погиб твой

троюродный брат Чарли Пирсон. Он убит в одном из последних наступлений на Сомме; он племянник моей кузины Лилы, с которой, как ты знаешь, Ноэль встречается каждый день в госпитале. Бертрам получил орден "За отличную службу". В последнее время я не так страшно занят: мой помощник Лодер приехал в отпуск с фронта и иногда служит в церкви вместо меня. Теперь, когда наступают холода, я чувствую себя лучше. Постарайся приехать. Меня серьезно тревожит здоровье нашей дорогой девочки.

Твой любящий отец  
Эдвард Пирсон".

Грэтиана ответила, что получит отпуск в конце недели и приедет в пятницу. Он встретил ее на станции, и они поехали в госпиталь, чтобы захватить с собой Ноэль. Лила вышла к ним в приемную; Пирсон, полагая, что им с Грэтианой будет удобнее поговорить о здоровье Ноэль, если он оставит их одних, вышел в комнату отдыха. Там он стал смотреть, как двое выздоравливающих играют в настольный бильярд. Когда он вернулся в маленькую гостиную, Лила и Грэтиана еще стояли у камина и разговаривали вполголоса. Грэтиана, должно быть, слишком близко наклонилась к огню: ее лицо пылало, оно даже как бы припухло, а веки были красные, словно она их обожгла.

Лила сказала легким тоном:

- Ну, Эдвард, разве наши солдатики не изумительны? Когда мы снова пойдем с тобой в концерт?

Но она тоже раскраснелась и выглядела совсем молодой.

- Ах! Если бы мы могли делать то, что хотим! - ответил Пирсон.

- Это хорошо сказано, Эдвард. Но иногда, знаешь ли, полезно хоть немного развлечься.

Он покачал головой и улыбнулся.

- Ты искусительница, Лила. Пожалуйста, скажи Нолли, что мы хотим увезти ее с собой. Ты можешь отпустить ее на завтра?

- На столько дней, сколько потребуется; Ноэль нужен отдых - я говорила об этом Грэтиане. Все-таки ей надо было перестать работать после такого страшного удара, может быть, тут и моя ошибка. Я думала тогда, что лучше всего для нее - работать.

Пирсон увидел, что Грэтиана идет мимо него к двери. Он пожал руку Лиле и последовал за дочерью. Позади себя он услышал

восклицание, которое обычно издают женщины, наступив на собственное платье, или если что-либо другое вызовет у них раздражение. В приемной их уже ждала Ноэль; Пирсон, очутившийся как бы в центре треугольника женщин, смутно почувствовал, что глаза их ведут между собой какую-то тайную игру. Сестры расцеловались. Потом все они сели вместе в такси. Даже самый наблюдательный человек, расставаясь с ними дома в прихожей, ничего не заметил бы - разве только то, что обе были очень молчаливы. Войдя в свой кабинет, он взял с полки книгу "Жизнь сэра Томаса Мора"; там были строки, которые ему не терпелось показать Джорджу Лэрду - его ждали в этот же вечер.

Грэтиана и Ноэль поднимались по лестнице, поджав губы и не глядя друг на друга; обе были очень бледны. Они подошли к комнате Грэтианы, которая когда-то была комнатой их матери, и Ноэль уже собиралась пройти мимо, но Грэтиана схватила ее за руку и сказала:

- Зайди ко мне.

В комнате ярко горел камин, и сестры стали по обе его стороны, опершись на каминную доску и глядя в огонь. Ноэль прикрыла рукой глаза и пробормотала:

- Я просила Лилу сказать тебе.

Грэтиана сделала такой жест, словно она боролась между двумя сильными чувствами, не зная, какому из них поддаться.

- Это ужасно! - только и выговорила она.

Ноэль пошла к двери.

- Подожди, Нолли.

Ноэль уже взялась за ручку двери, но остановилась.

- Мне не нужно ни прощения, ни сочувствия, - сказала она. - Я только хочу, чтобы меня оставили в покое.

- Но как же можно оставить тебя в покое?

Волна горечи поднялась в Ноэль, и она крикнула страстно:

- Я ненавижу сочувствие тех, которые не в состоянии понять! Мне не надо ничьего сочувствия. Я всегда могу уйти и скрыться подальше.

Слова "не в состоянии понять" ошеломили Грэтиану.

- Я могу понять, - сказала она.

- Нет, не можешь; ты никогда не видела его, ты не видела... - Ее губы задрожали, она закусила их, чтобы не разрыдаться. - И потом, ты

бы никогда так не поступила, как я.

Грэтиана шагнула к ней, но остановилась и села на кровать. Да, это правда. Она сама никогда бы так не поступила! И именно это - как бы страстно она ни желала помочь сестре - сковывало ее любовь и сочувствие. О, как все это ужасно, уродливо, унижительно! Ее сестра, ее единственная сестра оказалась в таком же положении, как все эти бедные, плохо воспитанные девушки, которые потеряли себя! А что скажет ее отец - их отец! До этой минуты Грэтиана почти не думала о нем, она была слишком занята своей собственной уязвленной гордостью; слово "отец" вырвалось у нее против воли.

Ноэль вздрогнула.

- А этот мальчик! - сказала Грэтиана. - Его я не могу простить. Если ты не знала, то он знал. Это он... - Она осеклась, увидев лицо Ноэль.

- Я все знала, - ответила Ноэль. - И все сделала я. Он был моим мужем, так же, как Джордж - твой муж. Если ты скажешь хоть одно слово против Сирила, я никогда не буду с тобой разговаривать. Я счастлива, как и ты будешь счастлива, если у тебя родится ребенок. В чем же разница? Только в том, что тебе повезло, а мне нет? - Ее губы снова задрожали, и она замолчала.

Грэтиана уставилась на нее. Ей вдруг захотелось, чтобы Джордж был здесь; как бы хорошо узнать, что он думает обо всем этом!

- Ты не возражаешь, если я расскажу Джорджу? - спросила она.

Ноэль покачала головой.

- Нет, не теперь! Не говори никому. - И вдруг горе Ноэль, скрытое за мнимым безразличием, пронзило сердце Грэтианы. Она встала и обняла сестру.

- Нолли, дорогая, не смотри так!

Ноэль не ответила на ласку сестры и, как только та отняла руки, ушла в свою комнату.

Грэтиана осталась одна; она была полна сострадания к Ноэль и в то же время огорчена и разобижена; неуверенность и страх владели ею. Ее гордости был нанесен жестокий удар, сердце у нее сжималось; она злилась на себя. Почему она не проявила больше сочувствия и теплоты? И все-таки теперь, когда Ноэль ушла, она снова стала осуждать покойного. То, что он сделал, непростительно! Ведь Нолли - еще ребенок. Он совершил святотатство. Скорее бы приехал Джордж,

и скорее бы переговорить с ним обо всем! Сама она вышла замуж по любви и знала, что такое страсть; была достаточно проникательна, чтобы понять, насколько глубока любовь Ноэль, конечно, в той мере, в какой может быть глубокой любовь девочки; себя Грэтиана считала уже зрелой женщиной - ей было двадцать лет. И все-таки, как могла Ноэль так забытья! А этот мальчик! Если бы Грэтиана была знакома с ним, может быть, ее негодование было бы смягчено личным впечатлением о нем - это ведь так важно во всех человеческих суждениях, - но она никогда его не видала и находила его поведение "непорядочным". Грэтиана знала, что это останется камнем преткновения в ее отношениях с сестрой. Как бы она ни пыталась скрывать свои мысли, Ноэль все равно поймет, что сестра втайне осуждает ее.

Она сбросила форму сестры милосердия, надела вечернее платье и начала беспокойно расхаживать по комнате. Все, что угодно, только как можно дольше не идти вниз к отцу! То, что случилось, разумеется, будет страшным горем для него. Она боялась разговора с ним, его расспросов о здоровье Ноэль. Она, разумеется, может обо всем умолчать, пока этого хочет Ноэль, но она была очень правдива по характеру, и ее приводила в отчаяние мысль, что надо что-то скрывать.

Наконец, она спустилась вниз; отец и сестра были уже в гостиной: Ноэль в платье с оборками сидела у камина, опершись подбородком на руку, а отец читал последние сообщения с фронта в вечерней газете. Увидев изящную девичью фигуру сестры, ее глаза, задумчиво устремленные на огонь, увидев усталое лицо отца, Грэтиана с особой силой ощутила трагичность происшедшего. Бедный папа, бедная Нолли! Ужасно!

Ноэль повернулась к ней и слегка качнула головой; ее глаза говорили так же ясно, как если бы сказали губы: "Молчание!" Грэтиана кивнула ей и подошла к камину. Так начался этот спокойный семейный вечер, но за этим спокойствием таились глубокие душевные страдания.

Ноэль подождала, пока отец отправился спать, и сразу поднялась в свою комнату. Она явно решила больше не разговаривать о себе. Грэтиана осталась в столовой одна - ждать приезда мужа. Когда он приехал, было уже около полуночи, и она сообщила ему семейные

новости только на следующее утро. Он встретил их неясным мычанием. Грэтиана увидела, как он прищурил глаза, словно разглядывая тяжелую и сложную рану; потом уставился в потолок. Хотя они были женаты уже больше года, она все еще не знала его отношения ко многим вещам и с замиранием сердца ждала ответа. Эта позорная семейная тайна, скрываемая от других, будет испытанием любви Джорджа к ней самой, испытанием достоинств человека, за которого она вышла замуж! Некоторое время он молчал, и тревога ее все возрастала. Потом он нащупал ее руку и крепко сжал.

- Бедная маленькая Нолли! Вот случай, когда требуется весь оптимизм Марка Тэпли {Имеется в виду отличавшийся большим оптимизмом герой романа Чарлза Диккенса "Мартин Чеззлвит"}. Не унывай, Грэйси! Мы ее выручим.

- Но как быть с отцом! Ведь скрыть от него невозможно, но и рассказать нельзя! Ах, Джордж! Я раньше не знала, что такое семейная гордость. Это просто невероятно! Этот злополучный мальчик...

- De mortuis {De mortuis aut bene aut nihil - о мертвых либо хорошее, либо ничего (лат.)}. Вспомни, Грэйси: мы живем, осажженные смертью! Нолли, конечно, вела себя, как подлинная дурочка. Но ведь война! Война! Надо бы и твоему отцу привыкнуть к этому; вот для него прекрасный случай проявить христианский дух!

- Папа будет так же добр, как всегда; но именно это и страшно!

Джордж Лэрд сильнее сжал ее руку.

- Совершенно верно! Старомодный папа может себе это позволить! Но нужно ли, чтобы он знал? Мы можем увезти ее из Лондона, а позднее что-нибудь придумаем. Если отец узнает, надо будет убедить его, что этим поступком Нолли "внесла свою лепту".

Грэтиана отняла руку.

- Не надо, - сказала она едва слышно.

Джордж Лэрд обернулся и посмотрел на нее. Он и сам был очень расстроен и, возможно, более ясно, нежели его молодая жена, представлял себе жестокие последствия случившейся беды; он так же отчетливо понимал, насколько глубоко задета и взволнована Грэтиана; но, как прагматик, воспринимавший всегда жизнь с позиций опыта, он терпеть не мог этого восклицания: "Какой ужас!" Ему всегда хотелось побороть в Грэтиане и традиционную черту отцовского

аскетизма. Если бы она не была его женой, он сразу сказал бы себе: изменить эту основную черту ее характера так же безнадежно, как пытаться переделать строение костей ее черепа; но она была его женой, и эта задача казалась ему такой же легко осуществимой, как, скажем, поставить новую лестничную клетку в доме или соединить две комнаты в одну. Обняв ее, он сказал:

- Я знаю. Но все это уладится, если только мы будем делать вид, что ничего не случилось. Поговорить мне с Нолли?

Грэтиана согласилась - она может сказать отцу, что Джордж согласился "осмотреть" Нолли, и тем избежать лишних разговоров. Но ей все больше казалось, что свалившуюся на них беду никак не отвести и не смягчить.

У Джорджа Лэрда было достаточно спокойного мужества - неопенимое свойство в человеке, которому часто приходится причинять боль и облегчать ее; и всетаки ему не нравилась эта "миссия", как выразился бы он сам. Он предложил Ноэль прогуляться с ним, потому что боялся сцен. Ноэль согласилась по той же причине. Кроме того, Джордж ей нравился; с бескорыстной объективностью золовки и суровой пронизательностью ранней юности она понимала его, пожалуй, даже лучше, чем его собственная жена. Во всяком случае, она твердо знала, что он не станет ни осуждать, ни жалеть ее.

Они могли, конечно, пойти в любом направлении, но почему-то избрали Сити. Такого рода решения принимаются бессознательно. Видимо, они искали какой-нибудь скучный деловой район; а возможно, что Джорджу - он был в военной форме - просто хотелось дать отдых своей руке, которая, словно заводная, непрерывно отдавала честь.

Не успел он сообразить, насколько нелепа эта прогулка с милостивой молодой золовкой по улицам, заполненным толпой суетящихся дельцов в черных сюртуках, как они уже дошли до Чипсайда. "Черт дернул нас пойти сюда, подумал он. - В конце концов мы могли с успехом поговорить и дома".

Он откашлялся и, мягко сжимая ее руку, начал:

- Грэтиана рассказала мне обо всем, Нолли. Самое главное для тебя - не падать духом и не волноваться.

- Я не думаю, чтобы ты смог вылечить меня.

Эти слова, произнесенные милым, насмешливым голоском, поразили Джорджа; он торопливо продолжал:

- Не об этом речь, Нолли, да это и невозможно. Ну, а ты-то сама что думаешь?

- Отец...

У него чуть не вырвалось: "Проклятый отец!", но он прикусил язык и продолжал:

- Бог с ним! Мы сами все обдумаем. Ты действительно хочешь утаить от него? Надо решать или так, или иначе; ведь нет смысла скрывать, если это все равно совершится.

- Да.

Он украдкой взглянул на нее. Она смотрела прямо перед собой. Как чертовски молода она и как прелестна! К горлу его подкатил комок.

- Пока я ничего не буду предпринимать, - сказал он. - Еще рано. Позднее, если ты захочешь, я расскажу ему. Но все зависит целиком, от тебя, моя дорогая; можно сделать так, что он никогда не узнает,

- Да...

Он не мог разгадать ее мыслей.

- Грэтиана осуждает Сирила, - сказала Ноэль после долгого молчания. Не позволяй ей. Я не хочу, чтобы о нем думали плохо. Во всем виновата я; мне хотелось быть уверенной в нем.

Джордж возразил решительно:

- Грэйси огорчена, конечно, но у нее это скоро пройдет. Пусть это не будет причиной раздора между вами. Только одно тебе нужно твердо запомнить: жизнь велика, и в ней можно найти свое место. Посмотри на всех этих людей! Многие из них перенесли или переносят какие-нибудь личные неприятности или горе. Может быть, такое же, как твое, или даже более тяжелое. И смотри: вот они, живые, прыгают, как блохи. В этом заключается и очарование и ирония жизни. Хорошо бы тебе побывать там, во Франции, и увидеть все в подлинном свете.

Он почувствовал, что она взяла его под руку, и продолжал с еще большим жаром:

- Жизнь - вот что будет самым важным в будущем, Нолли! Нет, не комфорт, не какая-либо монашеская добродетель или обеспеченность; нет, самый процесс жизни, ее давление на каждый квадратный дюйм.

Понятно? Все старые, закостенелые традиции, все тормозы будут пущены в переплавку. Смерть вскипятит все это, и выйдет великолепный навар для нового супа. Когда приходится отсекать, удалять лишнее, - кровь течет в жилах быстрее. Сожаления, размышления, подавление своих чувств - все это выходит из моды; у нас не будет времени или нужды в них в будущем. Нам предстоит делать жизнь да, пожалуй, это единственное, за что можно благодарить нас. Ты ведь сохранила в себе живым Сирила Морленда? И... словом, как ты знаешь, все мы одинаково появились на свет; некоторые прилично, другие "неприлично", и тут нет ни на грош различия в ценности этого товара, нет и беды в том, что он появляется на свет. Чем бодрее ты будешь сама, тем крепче будет твой ребенок, - вот о чем надо прежде всего думать. По крайней мере, в ближайшие два месяца ты вообще не должна ни о чем беспокоиться, а после этого позволь уж нам подумать, куда тебе деваться, я все это устрою.

Она посмотрела на него, и под этим юным, ясным, печальным взглядом у него возникло неприятное ощущение, что он разговаривает с ней, как шарлатан. Разве он затронул суть дела? Какая польза от всех этих общих разговоров для молодой, заботливо воспитанной девушки, приученной старомодным любящим отцом всегда говорить правду? Джордж тоже ненавидел пустословие; а обстановка его жизни в эти последние два года просто внушила ему страх перед людьми, деятельность которых заключается в разговорах. Ему хотелось сказать Ноэль: "Не обращай ни малейшего внимания на мои слова, все это чепуха; будь что будет - и дело с концом".

Но тут Ноэль спросила совершенно спокойно:

- Что же, рассказать мне папе или нет?

Ему хотелось ответить: "нет"; но он почему-то не сказал этого. В конечном счете прямой путь - вероятно, самый лучший. Можно из всего сделать тайну, но нельзя же хранить тайну всю жизнь. Рано или поздно все раскрывается. Но тут в нем заговорил врач:

- Не торопись, Нолли; успеем сделать это через два месяца. Тогда ты ему сама расскажешь или поручишь мне.

Она покачала головой.

- Нет. Я скажу сама, если надо будет. В знак согласия он снова сжал ее руку.

- А что мне делать до тех пор? - спросила она.

- Возьми отпуск на неделю, а потом будешь работать, как и прежде.

Ноэль помолчала с минуту и сказала:

- Да. Я так и сделаю.

Больше они не говорили на эту тему, и Джордж стал ей рассказывать о разных случаях из своей работы в госпитале, распространялся и об удивительном на его взгляд явлении - британском солдате. Но, когда они подходили к дому, он вдруг сказал:

- Послушай, Нолли, если ты сама не стыдишься себя, - никто не будет тебя стыдиться. Если ты вздумаешь посыпать пеплом главу, все твои близкие станут делать то же самое; таково уж их христианское милосердие.

Он снова почувствовал на себе ее ясный, задумчивый взгляд и покинул ее с мыслью: "Как одиноко это дитя!"

## ГЛАВА VII

После недельного отпуска Ноэль вернулась в госпиталь. Джордж даже не подозревал, какое огромное впечатление произвели на нее его слова: "Жизнь велика, и в ней можно найти свое место". В самом деле, какое значение имеет то, что случилось с ней? Она стала вглядываться в лица людей, с которыми встречалась, стараясь разгадать, о чем они думают, какие тайные горести или радости носят в себе? Ее собственное одиночество понуждало ее к такому наблюдению за другими - а она действительно была очень одинока. Гретиана и Джордж уехали в свои госпитали, от отца приходилось держаться подальше; встречаясь с Лилой, Ноэль тоже чувствовала себя как-то неловко: гордость ее была уязвлена тогдашним признанием, а друзей дома и всяких знакомых она боялась, как чумы. Единственным человеком, от которого ей не удалось избавиться, был Джимми Форт. Однажды вечером он явился с большим букетом фиалок. Но его Нолли не принимала всерьез: слишком недавно они знакомы и слишком разные люди. По некоторым его замечаниям она поняла, что ему известно об ее утрате и что фиалки - как бы знак соболезнования. Он был удивительно мил в тот вечер, рассказывал ей всякие "арабские сказки" и не произнес ни одного слова, которое могло бы быть неприятным отцу. Как это замечательно - объехать весь свет, побывать во всяких диковинных странах, повидать жизнь разных народов: китайцев, гаучо, буров, мексиканцев! Она слушала его с

любопытством, и ей приятно было смотреть на его насмешливое, загорелое лицо: кожа на нем была словно дубленая. Его рассказы вызывали в ней ощущение, что суть жизни в наблюдениях, что самое главное - это многое повидать и что-то сделать. Ее собственное горе начинало казаться ей маленьким и незначительным. Когда он распрощался, она крепко пожала ему руку.

- Спасибо вам за фиалки и за то, что пришли; это очень мило с вашей стороны. Мне бы так хотелось пережить хоть одно из ваших приключений!

- У вас еще будут приключения, милая сказочная принцесса! - ответил он.

Он произнес это странным голосом, очень ласково. Сказочная принцесса! Как это забавно! Но если бы он знал...

Какие приключения могли ее ожидать там, где она мыла посуду? Не видать там было и "большой жизни, в которой можно найти свое место", и вообще ничего, что могло бы отвлечь ее от мыслей о себе. И тем не менее по дороге в госпиталь и обратно с ней все чаще случались маленькие приключения. Однажды утром она заметила бедно одетую женщину с покрасневшим и распухшим лицом она неслась вдоль Риджент-стрит, будто подстреленная птица, и как-то странно кусала собственную руку. Услышав ее стон, Ноэль спросила, что с ней случилось. Женщина показала ей руку.

- О! - простионала она. - Я мыла пол, и большая иголка вонзилась мне в руку! Она сломалась, я не могу ее вытащить. О... ох!

Женщина все пыталась ухватить зубами кончик иголки, почти незаметной, но сидевшей где-то близко под кожей; и вдруг она сильно побледнела. Испуганная Ноэль обхватила ее за плечи и отвела в ближайшую аптеку. Там у прилавка несколько дам выбирали духи; они с неприязнью посмотрели на растрепанную, грязную женщину. Ноэль подошла к продавцу:

- Дайте, пожалуйста, поскорее что-нибудь этой бедной женщине. Боюсь, что она упадет в обморок. Ей попала в руку иголка, она не может ее достать.

Продавец дал ей какое-то лекарство, и она бросилась мимо покупательниц к женщине. Та все так же упорно кусала руку; и вдруг она дернула головой - в зубах у нее торчала иголка! Она взяла ее другой рукой и воткнула в отворот платья, едва слышно пробормотав:

- Ну, вот она. Я все-таки поймала ее!

Проглотив лекарство, она растерянно оплянулась вокруг.

- Большое вам спасибо, мисс, - сказала она и тут же вскочила.

Ноэль заплатила за лекарство и вышла вместе с ней, за их спинами нарядный магазин, казалось, испустил благоухающий вздох облегчения.

- Вам нельзя идти на работу, - сказала Ноэль. - Где вы живете?

- В Хорнси, мисс,

- Садитесь в автобус, поезжайте домой и сделайте сразу же примочку из слабого раствора марганцевого калия. Иначе рука распухнет. Вот пять шиллингов.

- Да, мисс; спасибо вам, мисс! Вы очень добры. Рука сильно болит.

- Если сегодня не станет лучше, пойдите к врачу, обещайте мне это!

- О, дорогая мисс, обязательно! Вот мой автобус. От всего сердца спасибо вам, мисс.

Ноэль глядела, как автобус увозил ее, как она все еще посасывала грязную опухшую руку. И она пошла дальше, полная душевного сочувствия к этой бедной женщине и ненависти к дамам, которых она видела в аптеке. Почти до самого госпиталя она ни разу не вспомнила о собственном горе.

В другой ноябрьский день, в субботу, она ушла из госпиталя пораньше и направилась в Хайд-парк. Платаны уже были готовы окончательно расстаться со своей увядающей красотой. Мало, очень мало желтых листьев висело на ветках; стройные, величественные деревья словно радовались тому, что сбросили с себя тяжелый летний наряд. Их тонкие ветки раскачивались и плясали на ветру, а омытые дождями, пятнистые, словно шкура леопарда, стволы выглядели не по-английски легкомысленными. Ноэль прошла меж рядами деревьев и села на скамью. Рядом писал картину художник. Его мольберт стоял в нескольких шагах от нее, и она могла разглядеть картину. Это был уголок Парк-Лейн с домами на фоне веселых молодых платанов. Художник был высокий человек лет сорока, по всей видимости - иностранец; худощавое, овальное, безбородое лицо, высокий лоб, большие серые глаза, глядевшие так, словно он страдал головными болями и жил какой-то скрытой внутренней жизнью. Он несколько раз

взглянул на Ноэль, а она, следуя пробудившемуся в ней интересу к "жизни", незаметно наблюдала за ним: однако она немного испугалась, когда он вдруг снял широкополую мягкую шляпу и сказал с сильным иностранным акцентом:

- Простите меня за смелость, mademoiselle! Не будете ли вы добры позволить мне сделать с вас набросок - так, как вы сидите? Я работаю очень быстро. Прошу вас, не откажите мне. Я бельгиец и, как видите, не очень хорошо воспитан... - Он улыбнулся.

- Если вам угодно, - ответила Ноэль.

- Очень вам благодарен.

Он поставил мольберт поближе к ней и принялся рисовать. Она была польщена и в то же время чувствовала себя немного смущенной. Он был такой худой и бледный, что она растрогалась.

- Вы давно в Англии? - спросила она.

- С первого месяца войны.

- Вам нравится здесь?

- Сначала я очень тосковал по родине. Но моя жизнь - в картинах. В Лондоне есть изумительные полотна.

- Почему же вам захотелось рисовать меня? Художник снова улыбнулся.

- Mademoiselle, юность так таинственна! Молодые деревца, которые я сейчас писал, говорят моему сердцу больше, чем старые большие деревья. Ваши глаза видят то, чего еще не случилось. В них - сама судьба, они запрещают нам, посторонним, видеть это. У меня на родине нет таких лиц; мы проще; наши глаза открыто выражают наши чувства. Англичане же непостижимы. Мы для них нечто вроде детей. Но и вы для нас в некотором смысле дети. Вы совершенно не такие, как другие нации. Вы, англичане, добры к нам, но вы не любите нас.

- Наверно, и вы нас тоже не любите?

Он снова улыбнулся, и она заметила, какие у него белые зубы.

- Да, не очень. Англичане многое делают из чувства долга, но сердце они оставляют для себя. А их искусство - ну, оно просто забавно.

- Я мало понимаю в искусстве, - прошептала Ноэль.

- А для меня это весь мир, - возразил художник и некоторое время молчал, с увлечением занявшись своей работой.

- Так трудно найти тему, - заговорил он отрывисто. - У меня нет денег на модель, а когда работаешь на открытом воздухе, на тебя косятся. Вот если бы у меня была такая натура, как вы! У вас... у вас горе, не правда ли?

Вопрос поразил Ноэль; взглянув на художника, она нахмурилась.

- У всех теперь горе.

Художник ухватился за подбородок; выражение его глаз внезапно стало трагическим.

- Да, - сказал он, - да, у всех. Трагедия стала повседневностью. Я потерял семью, она осталась в Бельгии. Как они живут, не знаю.

- Мне очень жаль вас; я сожалею и о том, что к вам здесь не так добры. Нам надо быть добрее.

Он пожал плечами.

- Что поделаешь! Мы разные. Это непростительно. К тому же человек искусства всегда одинок; у него более тонкая организация, чем у других людей, и он видит то, чего не дано видеть им. Люди не любят, когда ты не похож на них. Если вам когда-либо придется поступить не так, как другие, вы это поймете, mademoiselle.

Ноэль почувствовала, что краснеет. Неужели он разгадал ее тайну? В его взгляде было что-то необычное, словно он обладал вторым зрением.

- Вы, наверно, уже кончаете рисунок? - спросила она.

- Нет, mademoiselle. Я мог бы рисовать еще несколько часов. Но я не хочу задерживать вас. Вам, должно быть, холодно.

Ноэль встала.

- Можно взглянуть?

- Конечно.

Она не сразу узнала себя - да и кому дано узнавать себя? - но увидела лицо, странно взволновавшее ее: девушка на рисунке всматривалась во что-то, что уже словно было перед ней, но чего еще как будто и не существовало.

- Моя фамилия Лавенди, - сказал художник. - Мы с женой живем вот здесь. - И он протянул ей карточку.

Ноэль ничего не оставалось, как ответить:

- Меня зовут Ноэль Пирсон: я живу с отцом; вот наш адрес. - Она открыла сумочку и достала карточку. - Мой отец - священник. Не хотите ли познакомиться с ним? Он любит музыку и живопись.

- С удовольствием, а может быть, мне будет разрешено написать вас? Увы! У меня нет мастерской.

Ноэль отшатнулась.

- Боюсь, что, я не смогу. Я целый день занята в госпитале, и... и... я не хочу, чтобы меня рисовали, благодарю вас. Но папе, я уверена, будет приятно с вами познакомиться.

Художник снова поклонился; она поняла, что обидела его.

- Я, конечно, вижу, что вы очень хороший художник, - торопливо добавила она. - Только... только... я не хочу, понимаете? Может быть, вы пожелаете написать папу? У него очень интересное лицо.

Художник усмехнулся.

- Он ваш отец, mademoiselle. Можно мне задать вам вопрос? Почему вы не хотите, чтобы я писал вас?

- Потому что... потому что я не хочу. Я боюсь. - Она протянула ему руку. Художник склонился над ней.

- Au revoir, mademoiselle {До свидания, барышня (франц.)}.

- Спасибо вам, - сказала Ноэль. - Мне было очень интересно.

И она ушла. В небе над заходящим солнцем клубились тучи; ажурные сплетения ветвей платанов вырисовывались на фоне серого облака с золотистыми краями. Ее успокаивала эта красота, как и горести других людей. Ей было жаль художника; вот только глаза у него видят слишком многое. А его слова: "Если вам когда-либо придется поступить не так, как другие..." показались ей просто вещами. Правда ли, что люди не любят и осуждают тех, кто живет иначе, чем они? Если бы ее школьные подруги знали, что ей предстоит, - как бы они отнеслись к ней? В кабинете ее отца висела репродукция небольшой, находящейся в Лувре картины "Похищение Европы" неизвестного художника изящная, полная иронии вещица: светловолосая девушка на спине вздыбленного белого быка, пересекающего неглубокий поток; на берегу ее подруги, искоса, полусердито, полузавистливо смотрят на это ужасающее зрелище; одна из девушек пытается с робким безрассудством сесть верхом на лежащую рядом корову и ринуться вслед. Однажды кто-то сравнил лицо девушки, гарцующей на быке, с лицом Ноэль. Она думала теперь об этой картине и видела своих школьных подруг - группу возмущенных и изумленных девиц. "А что, если бы одна из них очутилась в ее положении? Отвернулась бы я от нее, как остальные?"

Нет, я не отвернулась бы, нет! - решила Ноэль. - Я бы ее поняла!" Но Ноэль чувствовала, что в этих ее мыслях таится какой-то фальшивый пафос. Инстинкт ей подсказывал, что художник прав. Тот, кто действует вразрез с общепринятым, пропащий человек!

Она рассказала отцу о встрече с художником и добавила:

- Я думаю, он придет к нам, папа.

Пирсон ответил мечтательно:

- Бедняга, я рад буду повидать его, если он захочет.

- И ты будешь позировать для него, да?

- Милая моя, - я?!

- Видишь ли, он одинок, и люди не очень-то ласковы к нему. Разве это не ужасно, что одни люди обижают других только потому, что те иностранцы или отличаются еще чем-либо?

Она увидела, как расширились его глаза и в них появилось выражение кроткого удивления.

- Я знаю, ты считаешь людей милосердными, папа. Но они не милосердны, нет!

- То, что ты говоришь, не слишком милосердно, Нолли.

- Ты ведь знаешь, что я права. Мне иногда кажется, что грех означает только одно: человек поступает не так, как другие. Но ведь если он причиняет этим боль только самому себе - это еще не настоящий грех. И все-таки люди считают возможным осуждать его, правда?

- Я не понимаю, что ты хочешь сказать, Нолли.

Ноэль прикусила губу и прошептала:

- Ты уверен, папа, что мы истинные христиане?

Такой вопрос, заданный собственной дочерью, настолько ошеломил Пирсона, что он попытался отделаться шуткой.

- Я возьму этот вопрос на заметку, как говорят в парламенте, Нолли.

- Значит, ты не уверен? Пирсон покраснел.

- Нам суждено ошибаться; но не забивай себе голову такими идеями, дитя мое. И без того уже много мятежных речей и писаний в наши дни.

Ноэль заложила руки за голову,

- Я думаю, - сказала она, глядя прямо перед собой и говоря как бы в пространство, - что истинно христианский дух выражается не в том,

что ты думаешь или говоришь, а в том, как поступаешь. И я не верю, что человека можно считать христианином, если он поступает так, как все остальные, то есть я хочу сказать, как те, кто осуждает людей и причиняет им боль.

Пирсон встал и зашагал по комнате.

- Ты еще не видела жизни, чтобы говорить такие вещи, - сказал он.

Но Ноэль продолжала:

- Один солдат рассказывал в госпитале Грэтиане, как поступают с теми, кто отказывается от военной службы. Это просто ужасно! Почему с ними так обращаются? Только потому, что у них другие взгляды? Капитан Форт говорит, что это страх делает людей жестокими. Но о каком страхе можно говорить, если сто человек набрасываются на одного? Форт говорит, что человек приручил животных, но не сумел приручить себе подобных. Или люди и в самом деле дикие звери? Иначе как объяснить, что мир так чудовищно жесток? А жестокость из хороших побуждений или из плохих - я здесь не вижу никакой разницы.

Пирсон смотрел на нее с растерянной улыбкой.

Было что-то фантастическое и невероятное в этих неожиданных философских рассуждениях Ноэль, которая росла на его глазах, превращаясь из крохотного создания во взрослого человека. Устами младенцев иногда... Но молодое поколение всегда было для Пирсона книгой за семью печатями; его чувствительность и робость, а еще больше его священнический сан всегда воздвигали какой-то невидимый барьер между ним и сердцами других людей, особенно молодых. Очень многое он вынужден был осуждать либо, на худой конец, делать вид, что ничего не замечает. И люди великолепно это понимали. Еще несколько месяцев назад он и не подозревал, что знает своих собственных дочерей не больше, чем какие-нибудь девственные леса Бразилии. А теперь, поняв это, он растерялся и не мог себе даже представить, как найти с ними общий язык.

Он стоял, глядя на Ноэль, глубоко озадаченный, и не подозревал, какое несчастье случилось с ней и как оно изменило ее. Его мучила смутная ревность, тревога, боль. И когда она ушла к себе, он долго еще шагал взад и вперед по комнате в тяжелой задумчивости. Как ему нужен друг, которому можно было бы довериться, у которого можно

было бы попросить совета! Но у него не было такого друга. Он отдалился от друзей, считая одних слишком прямолинейными, резкими и деловитыми; других - слишком земными и глухими к прекрасному; третьих - слишком окостенелыми и ограниченными. Среди молодых людей его профессии он встречал таких, которые нравились ему; но разве доверишь глубоко личные переживания людям, которые вдвое моложе тебя? А среди людей своего поколения или стариков он не знал никого, к кому можно было бы обратиться.

### ГЛАВА VIII

Лила самозабвенно вкушала свой новый эликсир любви. Уж если она влюблялась, то по уши; и поэтому страсть у нее обычно перегорала раньше, чем у любимого. В этом, конечно, было большое ее преимущество. Не то, чтобы Лила ожидала, что чувство ее угаснет само собой; наоборот, она каждый раз думала, что полюбила навсегда. Сейчас она верила в это больше, чем когда бы то ни было. Джимми Форт казался ей человеком, которого она искала всю жизнь. Он был не так красив, как Фэйн или Линч, но, когда она его сравнивала с ними, эти двое казались ей почти жалкими. Впрочем, они теперь и вовсе не шли в счет, их образы словно расплылись, увяли, рассыпались в прах; они исчезли, как и другие, к которым она когда-то питала преходящую слабость. Теперь для нее во всем мире существует один мужчина, и он останется единственным навеки. Она ни в коем случае не идеализировала Джимми Форта - нет, все было гораздо серьезнее; ее приводил в трепет его голос, прикосновение, она мечтала о нем, тосковала, когда его не было рядом. Она жила в постоянном беспокойстве, ибо прекрасно понимала, что он и вполнину не любит ее так, как любит его она. Это новое ощущение было непонятно даже ей самой, и все время ее не покидала душевная тревога. Возможно, что именно эта неуверенность в его чувстве заставляла ее так дорожить им. Была и другая причина - она сознавала, что время ее уходит и что это ее последняя любовь. Она следила за Фортом, как кошка следит за своим котенком, хотя и виду не показывала, что наблюдает за ним: она была достаточно опытна. У нее появилась странная ревность к Ноэль, которую она скрывала; но почему возникло это чувство, она не могла сказать. Может быть, это объяснялось ее возрастом или смутным сходством между ней и Ноэль, которая была привлекательнее, чем она сама в молодости; либо тут

сыграло роль случайное упоминание Форта об "этой маленькой сказочной принцессе". Какой-то непостижимый инстинкт порождал в ней эту ревность. До того, как погиб молодой Сирил, возлюбленный ее кузины, она чувствовала себя уверенно; она знала, что Джимми Форт никогда не станет добиваться той, которая принадлежит другому. Разве он не доказал это еще в те дни, когда сбежал от нее?

Она часто жалела, что сообщила ему о смерти Сирила Морленда. Однажды она решила рассказать ему и все остальное. Это было в зоопарке, куда они обычно ходили по воскресеньям. Они стояли у клетки мангуста- зверька, напоминавшего им прежние дни. Не поворачивая головы, она сказала, словно обращаясь к зверьку:

- А ты знаешь, что у твоей "сказочной принцессы", как ты ее прозвал, скоро появится так называемое "военное дитя"?

В его голосе звучал ужас, когда он воскликнул: "Что?!" Это словно подхлестнуло ее.

- Она мне сама все рассказала, - продолжала Лиля упрямо. - Ее мальчик убит, как ты знаешь. Какая беда, правда? - Она посмотрела на него. Вид у него был просто комичный - такое недоверие было написано на его лице.

- Эта милая девочка! Невозможно!

- Иногда невозможное оказывается возможным, Джимми!

- Я отказываюсь верить.

- Говорю тебе, это правда, - повторила она сердито.

- Какой позор!

- Она сама виновата; так мне она и сказала.

- А отец-то ее - священник! Господи!

Внезапно Лилу охватило тревожное сомнение. Она рассчитывала вызвать в нем неприязненное чувство к Ноэль, излечить от малейшего желания романтизировать ее, а теперь заметила, что вместо этого пробудила в нем опасное сострадание. Она готова была откусить себе язык. Уж если Джимми Форт преисполнится рыцарских чувств к кому-нибудь, то на него нельзя будет полагаться, - это она хорошо знала; Лиля не без горечи успела убедиться, что ее власть над ним в какой-то мере зиждется на его рыцарском отношении к ней; она чувствовала наконец, что он замечает ее постоянное опасение быть покинутой - ведь она уже немолода! Только десять минут назад он произнес целую тираду перед клеткой какой-то обезьяны, которая

показалась ему особенно несчастной. А теперь она сама вызвала в нем сочувствие к Ноэль. Как она глупа!

- Не гляди так, Джимми! Я жалею, что сказала тебе.

Он не ответил на пожатие ее руки, только пробормотал:

- Видишь ли, я тоже считаю, что это переходит всякие границы.

Но как можно ей помочь?

Лила ответила как можно мягче:

- Боюсь, что помочь нельзя. Ты любишь меня? - Она крепче сжала его руку.

- Ну конечно.

Лила подумала: "Если бы я была этим мангустом, он бы более тепло отозвался на прикосновение моей лапы". У нее внезапно защемило сердце. Она крепко сжала губы и с высоко поднятой головой перешла к следующей клетке.

В этот вечер Джимми Форт ушел из Кэймилот-Мэншенз в чрезвычайно дурном настроении. Лила вела себя так странно, что он распрощался сразу после ужина. Она отказывалась говорить о Ноэль и сердилась, когда он начинал заводить о ней разговор. Как непостижимы женщины! Неужели они думают, что мужчина может остаться невозмутимым, услышав нечто подобное о прелестном юном создании? Ужасающая новость! Ну что она теперь станет делать, бедная маленькая принцесса из волшебной сказки? Ее маленький карточный домик распался, и все, что было в ее жизни, пошло прахом! Все! Сможет ли она это перенести, с ее-то воспитанием, с таким отцом и всем окружением? А Лила, как бессердечно она отнеслась к этой жуткой истории! До чего все-таки жестоки женщины друг к другу! Будь она простой работницей, и то ее положение было бы скверным, но изящная, окруженная заботой близких, красивая девочка! Нет, это слишком жестоко, слишком горько!..

Следуя порыву, которому он не мог противостоять, он пошел по направлению к Олд-сквер. Однако, дойдя до самого дома Пирсона, он почти решил повернуть назад. Пока он стоял в нерешительности, подняв руку к звонку, из освещенного луной ноябрьского тумана, словно по волшебству, появились девушка и солдат; крепко обнявшись, они прошли мимо и снова исчезли в тумане, оставив после себя лишь гулкое эхо шагов. Форт дернул ручку звонка. Его провели в комнату, которая для человека, пришедшего из тумана,

могла показаться залитой светом и полной народа, хотя на самом деле в ней горело только две лампы и было всего пять человек. Они сидели вокруг камина и о чем-то разговаривали; когда он вошел, все замолчали. Он пожал руку Пирсону, который представил его "моей дочери Грэтиане", человеку в хаки - "мой зять Джордж Лэрд", и наконец высокому, худощавому человеку, похожему на иностранца, в черном костюме и как будто бы без воротничка; Ноэль сидела в кресле у камина, и когда Форт подошел к ней, она слегка приподнялась. "Нет, - подумал он, - мне все это приснилось или Лила солгала!" Она великолепно владела собой и была все той же прелестной девушкой, какой он помнил ее. Даже прикосновение ее руки было таким же - теплым и доверчивым. Сядясь в кресло, он сказал:

- Пожалуйста, продолжайте, позвольте и мне принять участие в беседе.

- Мы спорим о Мироздании, капитан Форт, - сказал человек в хаки. - И будем рады получить вашу поддержку. Я только что говорил о том, что наш мир не столь уж важная штука; если он будет завтра уничтожен, любой продавец газет выразит это событие так: "Страшная катастрофа, полное разрушение мира - вечерний выпуск!" Я говорил, что мир наш когда-нибудь снова превратится в туманность, из которой он возник, и путем столкновения с другими туманностями преобразуется в некую новую форму. И так будет продолжаться *ad infinitum* {До бесконечности (лат.).} - только я не могу объяснить, почему. Моя жена поставила вопрос: существует ли этот мир вообще или он только в сознании человека, - но и она не может объяснить, что такое сознание человека. Мой тесть полагает, что Мироздание есть излюбленное творение бога. Но и он не может объяснить, кто такой или что такое бог. Нолли молчит. Monsieur Лавенди еще не высказал своего мнения. Так что вы думаете обо всем этом, *monsieur*?

Человек с худощавым лицом и большими глазами потер рукой высокий, с набухшими жилами лоб, словно у него болела голова; он покраснел и начал говорить по-французски, Форт с трудом понимал его.

- Для меня Мироздание - безграничный художник, *monsieur*, художник, который искони и до настоящего дня выражает себя в самых разнообразных формах - постоянно старается создать нечто совершенное и большей частью терпит неудачу. Для меня наш мир, да

и все другие миры, как и мы сами, и цветы, и деревья - суть отдельные произведения искусства, более или менее совершенные, жизнь которых протекает своим чередом, а потом они распадаются, превращаются в прах и возвращаются к этому Созидающему Художнику, от которого проистекают все новые и новые попытки творить. Я согласен с monsieur Лэрдом, если правильно его понял; но я согласен также и с madame Лэрд, если понял ее. Видите ли, я считаю, что дух и материя - это одно и то же; или, вернее, не существует того, что было бы или духом, или материей; существует лишь рост и распад и новый рост - и так из века в век; но рост это всегда развитие сознания; это художник, выражающий себя в миллионах постоянно изменяющихся форм, а распад и смерть, как мы их называем, - это не более, чем отдых и сон, отлив на море, который всегда наступает между двумя приливами, или как ночь приходит между двумя днями. Но следующий день никогда не будет таким же, как предыдущий, как и очередная волна не похожа на свою предшественницу; так и маленькие формы мира и мы сами - эти произведения искусства, созданные Вечным Художником, никогда не возобновляются в прежнем виде, никогда не повторяются дважды; они всегда представляют нечто новое - новые миры, новые индивидуальности, новые цветы, все новое. В этом нет ничего угнетающего. Наоборот, меня угнетала бы мысль, что я буду продолжать жить после смерти либо существовать снова в иной оболочке: я и в то же время не я. Как это было бы скучно! Когда я кончаю картину, я не могу представить себе, что она когда-нибудь превратится в другую или что можно отделить изображение от его духовного содержания. Великий Художник, который есть совокупность Всего, всегда делает усилия к созданию новых вещей. Он, как фонтан, который выбрасывает все новые капли, и ни одна из них не похожа на другую; они падают обратно в воду, стекают в трубу и снова выбрасываются вверх в виде новых свежих капель. Но я не могу объяснить, откуда берется эта Вечная Энергия, постоянно выражающая себя в новых индивидуальных творениях, этот Вечный Работающий Художник; не могу объяснить, почему существует он, а не какая-то темная и бессодержательная пустота; я только утверждаю, что должно существовать либо то, либо другое; либо все, либо ничто; и на деле так и есть. Все, а не Ничто.

Он замолк, и его большие глаза, которых он не сводил с лица Форта, казалось, совершенно его не видят, а устремлены куда-то в пространство. Человек в хаки, который теперь стоял, положив руку на плечо жены, сказал:

- Bravo, monsieur, очень красиво изложено с точки зрения художника! В целом идея интересная. Но, может быть, вообще не надо идей? Существуют вещи; и надо принимать их такими, какие они есть.

Форту показалось, что перед его глазами встало что-то темное, расплывающееся; то была худая черная фигура хозяина дома, который встал и подошел к камину.

- Я не могу допустить, - сказал Пирсон, - чтобы Создатель отождествлялся с его созданиями. Бог существует вне нас. Я не могу также допустить, что нет определенных целей и свершений. Все сотворено по его великим начертаниям. Мне кажется, мы слишком предались умствованиям. Мир потерял благочестие. Я сожалею об этом, я горько об этом сожалею.

- А я радуюсь этому, - сказал человек в хаки. - Ну, капитан Форт, теперь ваша очередь брать битву в руки.

Форт, смотревший на Ноэль, встрепенулся и заговорил.

- То, что monsieur называет выражением себя, я бы назвал борьбой. Я подозреваю, что Мироздание - это просто очень длительная борьба, сумма побед и поражений. Побед, ведущих к поражениям, и поражений, ведущих к победе. Я всегда хочу победить, пока я жив, и именно поэтому мне хочется жить и после смерти. Смерть есть поражение. Я не хочу признать его. И поскольку я обладаю этим инстинктом, я не верю, что действительно умру: вот когда лишусь этого инстинкта, тогда, наверно, умру.

Форт видел, что лицо Ноэль обращено к нему, но ему казалось, что она его не слушает.

- Мне думается, - продолжал он, - то, что мы называем духом, - это и есть инстинкт борьбы; то, что мы называем материей, это стремление к покою. Существует ли бог вне нас, как утверждает мистер Пирсон, или мы сами, как выражается monsieur, являемся частицами бога - вот этого я не знаю!

- Ага! Значит, так оно и есть! - сказал человек в хаки. - Все мы рассуждаем в соответствии с нашим темпераментом, но никто из нас

не знает. Все религии мира - это не более, как поэтические выражения определенного, резко выраженного темперамента. Monsieur и сейчас остается поэтом, и, пожалуй, его темперамент - единственный, которого не вбить в плотку мира в форме религии. Но пойдите и провозгласите ваши взгляды с крыш домов, monsieur, и вы увидите, что из этого получится.

Художник покачал головой, улыбнувшись, казалось бы, веселой, но, на взгляд Форта, грустной улыбкой.

- Non, monsieur, - сказал Лавенди, - художник не желает никому навязывать свой темперамент. Различие в темпераментах - в этом вся суть его радости, его веры в жизнь. Он не мыслит жизни без этих различий. Tout casse, tout lasse {Все распадается, все наскучивает (франц.)}, но изменение продолжается вечно. Мы, художники, преклоняемся перед изменением; мы поклоняемся новизне каждого утра, каждой ночи, каждого человека, каждого проявления энергии. Для нас нет ничего конечного, мы жадны ко всему и всегда - ко всему новому. Поймите, мы влюблены даже... в смерть.

Наступило молчание; потом Форт услышал шепот Пирсона:

- Это красиво, monsieur, но, увы, как это ложно!

- А что думаешь ты, Нолли? - спросил вдруг человек в хаки.

Она сидела очень тихо в низком кресле, сложив руки на коленях и устремив глаза на огонь. Отблески ламп падали на ее пышные волосы; она подняла голову, вздрогнула и встретилась глазами с Фортом.

- Я не знаю, я не слушала.

Что-то дрогнуло в нем, где-то в глубине поднялась волна обжигающей жалости, непреодолимое желание защитить ее.

Он сказал поспешно:

- Наше время - время действия. Философия мало что значит сейчас. Надо ненавидеть тиранию и жестокость и защищать всякого, кто слаб и одинок. Это все, что нам остается, все, ради чего стоит жить в эти дни, когда волчья свора во всем мире вышла на охоту за кровью.

Теперь Ноэль слушала его, и он горячо продолжал говорить:

- Да! Даже мы, которые первыми вышли на бой с этой прусской сворой, даже мы заразились ее инстинктом - и вот по всей стране идет травля, травят самых разных людей. Это очень заразительная вещь.

- Я не считаю, что мы заражены этим, капитан Форт.

- Боюсь, что это так, мистер Пирсон. Подавляющее большинство людей всегда поддержит того, кто травит, а не того, кого травят; давление сейчас очень велико. Дух травли и убийства носится в воздухе.

Пирсон покачал головой.

- Нет, я не вижу этого, - повторил он. - Мне кажется, в нас сильнее дух братства и терпимости.

- Ах, *monsieur le cure* {Господин священник (франц.)}, - услышал Форт мягкий голос художника. - Хорошему человеку трудно увидеть окружающее зло. Есть люди, которых течение жизни оставляет как бы в стороне, и действительность щадит их. Они шествуют по жизни со своим богом, а жестокость животных кажется им фантазией. Дух травли, как сказал *monsieur*, носится в воздухе. Я вижу, как все человечество мчится, разинув пасть и высунув красный язык, тяжело дыша, с диким воем. На кого нападут в первую голову, никто не знает - ни невинный, ни виновный. Если бы вы видели, как самое дорогое вам существо погибает на ваших глазах, *monsieur le cure*, вы тоже почувствовали бы это, хотя, впрочем, не знаю.

Форт увидел, как Ноэль повернулась к отцу. Выражение ее лица в эту минуту было очень странным - вопрошающим, отчасти испуганным. Нет! Лила не солгала. Это ему не приснилось! Это правда!

Он встал, распрощался и вышел на площадь. Он ничего не замечал вокруг. Перед ним вставало ее лицо, вся ее фигура - мягкие линии, нежные краски, тонкое изящество, задумчивый взгляд больших серых глаз. Он пересек Нью-Оксфорд-стрит и уже повернул в сторону Стрэнда, как вдруг услышал позади себя голос:

- Ah, *c'est vous, monsieur!* {Ах, это вы, мосье! (франц.)} - Рядом с ним появился художник.

- Нам с вами по дороге? - спросил Форт. - Но я хожу медленно.

- Чем медленнее, тем лучше, *monsieur*. Ночной Лондон так красив! Лунные ночи - несчастье для художника. Бывают минуты, когда кажется, что действительности нет. Все видишь, будто во сне, - как лицо этой молодой девушки.

Форт посмотрел на него вопрошающим взглядом.

- А! Она произвела на вас впечатление, да?

- Да! Это очаровательное создание. Духи прошлого и будущего веют вокруг нее. А она не хочет, чтобы я ее писал. Да, возможно, только Матье Марис... Он приподнял свою широкополую шляпу и взъерошил волосы.

- Да, - сказал Форт, - с нее можно писать картину. Я, правда, не судья в искусстве, но понимаю это.

Художник улыбнулся и торопливо продолжал по-французски:

- В ней и молодость, и зрелость, все вместе. А это так редко встречается. Ее отец тоже интересный человек; я пытаюсь писать его, но он очень труден. Он живет в какой-то полной отрешенности; он - человек, душа которого обогнала его самого - в точности как его церковь, которая удирает от этого века машин, оставив позади свое тело, не правда ли? Он так добр; я думаю, он просто святой. Другие священники, которых я встречаю на улицах, совсем не похожи на него; они вечно заняты и словно застегнуты на все пуговицы, у них лица людей, которые могли бы быть школьными учителями, или адвокатами, или даже военными, - словом, лица земных людей. Знаете ли, *monsieur*, в том, что я скажу, есть какая-то доля иронии, но это правда; я думаю, хорошим священником может быть только земной человек. Я еще не встречал ни одного священника, у которого был бы такой взгляд, как у *monsieur* Пирсона, - какой-то скорбный и отсутствующий. Он наполовину художник, большой любитель музыки. Я пишу его сидящим у рояля; когда он играет, лицо его оживляется, но даже и тогда душа его витает где-то далеко. Мне он напоминает красивую, но заброшенную церковь. Он очень трогателен. *Je suis socialiste* {Я социалист (франц.)}, но мне всегда не было чуждо эстетическое восхищение старой церковью, которая удерживала свою паству с помощью одного простого чувства. Времена меняются; она не может больше взывать только к чувству; церковь стоит в тумане, и ее шпиль тянется к небу, которого больше не существует; ее колокола все еще мелодично звонят, но они уже не звучат в унисон с музыкой улиц. Все это мне и хотелось бы вложить в портрет *monsieur* Пирсона. И, *sapristi* {Черт возьми (франц.)}, это нелегко! Форт сочувственно хмыкнул. Затея художника показалась ему чересчур сложной, если он правильно понял его.

- Чтобы сделать такой портрет, - продолжал художник, - надо хорошо подготовиться: знать течения современной жизни,

чувствовать современного человека, который подчас проходит мимо тебя, не оставляя никакого впечатления. В современной жизни нет иллюзий, нет мечты. Посмотрите на эту улицу. La, la! {Вон туда! (франц.).}

По погруженному в темноту Стрэнду сплошным потоком двигались сотни людей в хаки под руку с девушками, голоса звучали грубо, весело и вульгарно. Бешено мчались такси и автобусы; продавцы газет, не умолкая, предлагали свой товар. И снова художник безнадежно махнул рукой:

- Как мне выразить в своей картине эту современную жизнь, которая бушует вокруг него и вокруг вот этой церкви, что стоит здесь, на самой середине улицы? Смотрите, как бурлят вокруг нее людские потоки и словно вот-вот ее смоют; но она стоит и не замечает опасности. Если бы я был фантастом, все было бы гораздо легче; но быть фантастом слишком просто - эти романтически настроенные художники втискивают в свои картины все, что им нравится, преследуя только собственные цели. Mais je suis realiste {Но я реалист (франц.)}. И вот, monsieur, я набрел на одну идею. Он сидит у рояля, а перед ним на стене будет изображен другой портрет - портрет одной из этих молодых проституток, в которых нет ни таинственности, ни юности; ничего, кроме дешевого опыта жизни, вызова добродетельному обществу да веселого настроения. Он смотрит на этот портрет, но не видит его. Лицо этой девушки будет воплощением жизни, а он будет глядеть на нее и не видеть ничего. Что вы скажете о моей идее?

Но Форт уже почувствовал к нему ту неприязнь, которая очень быстро возникает у человека действия к художнику, пустившемуся в длинные рассуждения.

- Это звучит неплохо, - сказал он отрывисто. - Но все равно, monsieur, мои симпатии на стороне современной жизни. Возьмите хотя бы этих девушек и солдат. При всей их бездумной вульгарности - а они чертовски вульгарны должен сказать, что это прекрасный народ; они умеют стойко переносить невзгоды; все они "вносят свою лепту" и смело противостоят этому жестокому миру. А в эстетическом отношении, надо сказать, они представляются мне жалкими. Но можете ли вы утверждать, что их философия в целом не является

шагом вперед по сравнению с тем, что мы имели до сих пор? Они ничему не поклоняются - это верно, но они хорошо знают, чего хотят.

Художник, очевидно, почувствовал, какой ушат холодной воды вылили на его идею, и пожал плечами.

- Меня это не интересует, monsieur, я пишу то, что вижу - плохо ли, хорошо ли, не знаю. Но посмотрите! - Он протянул руку вдоль темной, озаренной луной улицы. Казалось, вся она была усеяна драгоценными камнями, облита плазурью, то тут, то там играли тускло-красные и зеленовато-голубые блики, а с высоких фонарей струилось оранжевое сияние, и по этой заколдованной, словно из сновидения, улице двигались бесчисленные ряды призраков, земную реальность которых можно было разглядеть лишь на близком расстоянии. Художник шумно перевел дыхание.

- Ах, - сказал он, - какая красота! А они не видят ее - разве что один из тысячи. Жаль, не правда ли? Красота - это святыня.

Форт, в свою очередь, пожал плечами.

- У каждого человека свое зрение, - сказал он. - Однако нога начинает меня беспокоить; мне придется взять машину. Вот мой адрес. В любое время, когда вздумается, заходите. Обычно я дома около семи. Может быть, вас подвезти куда-нибудь?

- Тысяча благодарностей, monsieur, но мне в северный район. Мне очень понравились ваши слова о своре. Я часто просыпаюсь по ночам и слышу завывание всех свор мира. Люди мягкие и по натуре добрые в наши дни чувствуют себя чужеземцами в далекой стране. Спокойной ночи, monsieur!

Он снял свою смешную шляпу, низко поклонился и пересек улицу, направляясь к Стрэнду; он словно приснился Форту и теперь расплылся, как сонное видение. Форт подозвал такси и отправился домой; все время он видел перед собой лицо Ноэль. Это ее вот-вот бросят на съедение волкам! Это вокруг нее будет завывать свора всего мира, вокруг этого прелестного ребенка! И первым, самым громким из этой своры, будет голос ее собственного отца, высокого, тощего человека с кротким лицом и горящими внутренним огнем глазами. Как это жутко!

В эту ночь он видел сны, которые едва ли одобрила бы Лила.

ГЛАВА IX

Когда в семье появляется настоящая тайна, в которую не посвящен только один из членов семьи, - этот человек неизбежно становится одиноким. Но Пирсон прожил одиноким пятнадцать лет и не чувствовал этого так сильно, как почувствовали бы другие люди. В нем наряду с мечтательностью уживалась забавная самонадеянность, которую могли поколебать только очень сильные удары судьбы; он по-прежнему был погружен в свою служебную рутину, столь же незыблемую для него, как и мостовые, по которым он ходил в церковь и обратно. Однако нельзя сказать, что он вовсе не сталкивался с жизнью, как утверждал художник. В конце концов на его глазах люди рождались, сочетались браком, умирали. Он помогал им в Нужде или в случае болезни; воскресными вечерами он объяснял им и их детям библейские тексты; для тех, кто нуждался в пище, он устроил бесплатную раздачу супа. Он никогда не щадил себя и всегда готов был выслушать любую жалобу своих прихожан на тяготы жизни. И все-таки он не понимал этих людей, и они знали это; словно он или они страдали дальтонизмом. Он и его паства совершенно по-разному смотрели на жизнь. Он видел одни ее стороны, они - другие.

Одна из улиц его прихода граничила с большой магистралью; там возникло новое место сборищ проституток, которых власти прогнали с облюбованных раньше улиц в целях охраны общественного порядка; теперь они занимались своим промыслом в темноте. Это зло всегда было кошмаром для Пирсона. В его собственной жизни царил суровое воздержание; это побуждало его быть строгим и к другим, но строгость не была самой сильной чертой его характера. Поэтому под личиной суровой непримиримости в нем шла постоянная острая борьба с самим собой. Он становился на сторону тех, кто устраивал облавы, потому что боялся - нет, разумеется, не своих собственных инстинктов, ибо, будучи джентльменом и священником, был разборчив, - он боялся оказаться снисходительным к греху, к чему-то, что ненавистно господу. Он как бы принуждал себя разделять профессиональную точку зрения на это нарушение общественной нравственности. Когда ему приходилось встречать на улицах женщину легкого поведения, он невольно поджимал губы и хмурился. Темнота улиц, казалось, придавала этим женщинам какую-то нечистую власть над ночью. К тому же они представляли большую опасность для солдат, а солдаты, в свою очередь, угрожали

благополучию юных овечек из его паствы. Время от времени до него доходили сведения о семейных бедах его прихожан; случалось, что солдаты вовлекали в грех молодых девушек, и те собирались стать матерями. Пирсон жалел этих девушек, но он не прощал им их легкомыслия и того, что они вводили в соблазн юношей, которые сражаются за родину. Ореол, окружавший солдат, не был в его глазах достаточным оправданием. Узнав, что родился внебрачный ребенок, он созывал учрежденный им самим комитет из трех замужних и двух незамужних женщин. Те посещали молодую мать и, если это было необходимо, определяли ребенка в ясли; как-никак, а дети представляли ценность для страны, и - бедные создания! - конечно, не отвечали за грехи своих матерей. Пирсон редко сталкивался с молодыми матерями - он стеснялся их, а втайне даже побаивался, что не будет достаточно суров. Но однажды жизнь столкнула его лицом к лицу с одной из них.

В канун Нового года он сидел после чая в кабинете; это был час, который он всегда старался отдавать прихожанам. Ему доложили, что пришла миссис Митчет; он ее знал - это была жена мелкого книгопродавца, временами исполнявшего в церкви обязанности причетника. Она привела с собой молодую черноглазую девушку, одетую в широкое пальто мышинового цвета. Он указал им на стоявшие перед книжным шкафом два зеленых кожаных кресла, уже сильно потертые за годы этих бесед с прихожанами; слегка повернувшись на стуле у письменного стола и сцепив свои длинные пальцы музыканта, он внимательно смотрел на посетительниц. Женщина вынула носовой платок и принялась вытирать слезы; девушка сидела притаившись, как мышь, и чем-то даже была похожа на мышь в своем пальто.

- Итак, миссис Митчет? - наконец тихо спросил Пирсон.

Женщина отложила носовой платок, решительно засопела и начала:

- Это Хильда, сэр. Такого от нее ни Митчет, ни я никогда не ожидали. Это свалилось как снег на голову. Я решила, что лучше всего привести ее к вам, бедную девочку. Конечно, во всем виновата война. Я ее десять раз предупреждала; и вот - пожалуйста! Ей через месяц рожать, а солдат во Франции.

Пирсон инстинктивно отвел глаза от девушки, которая неотрывно смотрела ему в лицо, правда, без всякого интереса, словно она уже

махнула рукой на свою беду и предоставила думать об этом другим.

- Печально, - сказал он. - Очень, очень печально.

- Да, - пробормотала миссис Митчет, - я то же самое говорила Хильде.

Девушка на минуту опустила глаза, потом снова принялась равнодушно разглядывать Пирсона.

- Как зовут этого солдата, какой номер его полка? Может быть, нам удастся устроить ему отпуск, - он придет и тут же женится на Хильде?

Миссис Митчет засопела.

- Она не говорит нам, как его зовут, сэр. Ну, Хильда, скажи же мистеру Пирсону! - В ее голосе послышалась мольба. Но девушка только покачала головой. И миссис Митчет забормотала горестно: - Вот какая она, сэр! Не хочет сказать ни слова. Мы начинаем думать, что он был у нее не первый. Какой стыд!

Девушка даже не шевельнулась.

- Поговорите с ней вы, сэр! У меня просто ум за разум заходит.

- Почему вы не хотите сказать его имя? - начал Пирсон. - Я убежден, что этот человек захотел бы поступить по справедливости.

Девушка покачала головой и проговорила:

- Я не знаю его имени.

У миссис Митчет задергалось лицо.

- Ну вот! - простонала она. - Только подумайте! Нам она даже и этого не сказала.

- Не знаете его имени? - растерянно переспросил Пирсон. - Но как же... как же вы могли... - Он остановился, и лицо его потемнело. - Но вы ведь не поступили бы так, если бы не испытывали к нему привязанности? Ну же, расскажите мне!

- Я не знаю, - повторила девушка.

- Ох, уж эти прогулки в парках! - пробормотала миссис Митчет из-за носового платка. - И подумать только, что это будет наш первый внук! Хильда - трудный ребенок: такая тихая, такая тихая, но зато уж такая упрямая!..

Пирсон посмотрел на девушку, у которой, видимо, совсем пропал интерес к разговору. Ее тупое равнодушие и поистине ослиное упрямство раздражали его.

- Я не могу понять, - сказал он, - как могли вы так забытья? Это очень печально.

- Да, сэр, - подхватила миссис Митчет, - девушки нынче вбили себе в голову, что для них не останется молодых людей.

- Так и есть, - угрюмо отозвалась Хильда.

Пирсон крепче сжал губы.

- Что же я могу сделать для вас, миссис Митчет? - сказал он. - Ваша дочь ходит в церковь?

Миссис Митчет скорбно покачала головой:

- Никогда. С тех пор, как мы купили ей велосипед.

Пирсон встал с кресла. Старая история! Контроль и дисциплина подорваны - и вот они, горькие плоды!

- Ну что ж, - сказал он, - если вам понадобятся ясли, зайдите ко мне.

- А вы, - он повернулся к девушке, - разве эта ужасная история не тронула ваше сердце? Дорогое дитя, мы должны владеть собою, нашими страстями и неразумными чувствами - особенно в такое время, когда родина нуждается в нас. Мы должны быть дисциплинированными и думать не только о себе. Я полагаю, что по натуре своей вы хорошая девушка.

Черные глаза Хильды были все так же неподвижно устремлены на его лицо, и это вызвало в нем приступ нервного раздражения.

- Ваша душа в большой опасности, и вы очень несчастны, я вижу это. Обратитесь за помощью к богу, и он в милосердии своем сделает для вас все иным, совершенно иным. Ну же!

Девушка сказала с каким-то поражающим спокойствием:

- Мне не нужно ребенка!

Эти слова потрясли его, словно она совершила какое-нибудь богохульство.

- Хильда работала на военном заводе, - объяснила ее мать. - Получала около четырех фунтов в неделю. О! Боже мой! Это просто разорение!

Странная, недобрая усмешка искривила губы Пирсона.

- Божья кара! - сказал он. - Спокойной ночи, миссис Митчет. До свидания, Хильда. Если я вам понадоблюсь, когда придет срок, пошлите за мной.

Они встали; Пирсон пожал им руки. И вдруг он увидел, что дверь открыта и в ней стоит Ноэль. Он не слышал, когда она вошла, и не знал, долго ли она стояла здесь. В ее лице и позе была какая-то странная неподвижность. Она смотрела на девушку, а та, проходя мимо нее, подняла голову; черные и серые глаза встретились. Дверь захлопнулась, и Ноэль осталась наедине с отцом.

- Ты сегодня вернулась раньше, дитя мое? - спросил Пирсон. - Ты вошла так тихо.

- Да. Я все слышала.

Тон ее голоса был таким, что он слегка вздрогнул; на лице ее было то самое выражение одержимости, которого он всегда страшился.

- Что именно ты слышала? - спросил он.

- Я слышала, как ты сказал: божья кара! А мне ты скажешь то же самое? Но только мне... мне мой ребенок нужен.

Ноэль стояла, прислонившись спиной к двери, на которой висела тяжелая темная портьера, и на этом фоне лицо ее казалось юным и маленьким, а глаза необыкновенно большими. Одной рукой она теребила блузку в том месте, где билось сердце.

Пирсон глядел на нее, вцепившись в спинку кресла. Привычка всей жизни подавлять свои чувства - помогла ему и на этот раз совладать с еще не вполне осознанным ужасом. У него вырвалось одно-единственное слово:

- Нолли!

- Это правда, - сказала она, повернулась и вышла из комнаты.

У Пирсона закружилась голова; если бы он двинулся с места, он, наверное, упал бы. Нолли! Он опустил в кресло, и по какой-то жестокой и обманчивой игре нервов ему вдруг представилось, что Нолли сидит у него на коленях, как сидела когда-то маленькой девочкой, прижавшись светлыми, пушистыми волосами к его щеке. Ему казалось, он чувствует даже, как ее волосы щекочут кожу; тогда, после смерти ее матери, эти минуты были для него величайшим утешением! А теперь в какое-нибудь мгновение вся его гордость сгорела, словно цветок, поднесенный к огню; вся необъятная тайная гордость отца, который любит своих детей и восхищается ими, боготворит в этих детях память умершей жены, подарившей их ему; гордость отца, кроткого по натуре, никогда не знавшего меру своей

гордости, пока не обрушился на него этот удар; вся многолетняя гордость священнослужителя, увещания и поучения которого подняли его на такую высоту, о какой он даже и не догадывался, вся эта гордость перегорала сейчас! Что-то кричало в нем от боли, как кричит и стонет животное, когда его мучают и оно не может понять, за что. Сколько раз ему приходилось взывать к богу: "Господи! Господи! Почему ты покинул меня?"

Он вскочил, пытаясь преодолеть смятение. Все его мысли и чувства странно перемешались. Духовное и мирское... Презрение общества... Ее душа в опасности!.. Испытание, посланное богом!.. Будущее? Он не мог себе его представить. Он подошел к маленькому пианино, открыл его, закрыл снова; потом схватил шляпу и тихонько вышел из дома. Он шагал быстро, не зная, куда идет. Было очень холодно - стоял ясный вечер, дул пронизывающий ветер. Быстрое движение на морозном воздухе принесло ему какое-то облегчение. Как Ноэль убежала от него, сказав ему о своей беде, так и он сейчас бежит от нее. Все страждущие куда-то торопятся. Он скоро очутился у реки и повернул на запад вдоль набережной. Выходила луна, почти полная, ее стальной свет ложился мерцающими бликами на воду. Жестокая ночь! Он дошел до Обелиска и бессильно прислонился к нему, раздавленный тем, что произошло. Ему казалось, что лицо покойной жены осуждающе смотрит на него из прошлого. "Плохо же ты заботился о Нолли, если она дошла до этого!" Но потом лицо жены превратилось в лицо озаренного луной сфинкса, смотревшего прямо на него, - широкое темное лицо с большими ноздрями, жестоким ртом, выпуклыми глазами без зрачков; живое и бледное в серебристом свете луны - воплощение чудовищной, слепой энергии Жизни, без всякого милосердия переворачивающей и терзающей человеческие сердца. Он смотрел в эти глаза с каким-то тревожным вызовом. Огромные когтистые лапы, сила и беспощадное спокойствие этого притаившегося зверя с человеческой головой, ожившего в его воображении благодаря игре лунного света, - все казалось ему искушением, побуждало к отрицанию бога, к отрицанию человеческой добродетели.

Потом в нем вдруг проснулось чувство красоты. Он отодвинулся, чтобы посмотреть сбоку на посеребренные луной ребра и мощные мышцы; хвост сфинкса, закинутый на бедро, был свернут кольцом, и

кончик его высывался из этого кольца, как голова змеи. Это чудище, созданное руками человека, было волнующе живым, прекрасным и жестоким. Сфинкс выражал нечто, присущее человеческой душе, безжалостное, далекое от любви; или скорее ту беспощадность, с которой судьба вторгается в жизнь людей. Пирсон отошел от сфинкса и продолжал свой путь вдоль набережной, почти пустынной в этот холодный вечер. Он дошел до того места, откуда был виден вход в подземку; крохотные фигурки людей устремлялись туда, где сверкали оранжевые и красные огоньки. Зрелище захватило его своей теплотой и красочностью. Не приснилось ли ему все? Приходила ли к нему на самом деле эта женщина с дочерью? А Нолли, не была ли она только видением, а ее слова - игрой его воображения? Он еще раз отчетливо увидел ее лицо на фоне темной портьеры, ее руку, теребящую блузку, услышал свой собственный испуганный возглас: "Нолли!" Нет, это не обман чувств! Все здание его жизни лежит во прахе. Смутной, призрачной вереницей мимо него проносились человеческие лица - лица его друзей, достойных мужчин и женщин, которых он знал раньше и которые теперь были чужды ему. Вот они все столпились вокруг Ноэль, показывают на нее пальцами. Он содрогнулся от этого видения, он не в силах был перенести его. Нет, он не может признать своего несчастья! Болезненное ощущение нереальности окружающего сменилось вдруг некоторым успокоением, и он перенесся мыслью в прошлое, к летним каникулам, которые проводил с девочками в Шотландии, Ирландии, Корнуэлле, Уэльсе, в горах, у озер; сколько солнечных закатов, расцветающих деревьев, птиц, зверей, насекомых они перевидали тогда! Юная дружба его дочерей, их пылкость, доверие к нему - сколько было в этом тепла и сколько радости! Но если эти воспоминания - правда, то не может быть правдой то, что случилось! Ему вдруг захотелось бежать домой, подняться к Ноэль, сказать, что она жестока к нему, или по крайней мере убедиться, что в ту минуту она была не в своем уме. Он все больше и больше раздражался, раздражение переходило в гнев. Гнев против Ноэль, против всех, кого он знал, против самой жизни! Глубоко засунув руки в карманы легкого черного пальто, он спустился в узкий, ярко освещенный туннель, где была билетная касса метро, и выбрался снова на кишашие людьми улицы. Но когда он добрался до дома, гнев его улегся, осталась только огромная усталость. Было девять часов,

горничные в растерянности убрали посуду со стола. Ноэль уже ушла в свою комнату. У него не хватило мужества подняться к ней, и он, не поужинав, сел за рояль, и пальцы его стали искать нежные, горестные мелодии; может быть, Ноэль услышит сквозь беспокойную дремоту эти слабые, далекие звуки? Так он сидел до тех пор, пока пришло время идти к полунощной службе под Новый год.

Вернувшись домой, он закутался в плед и улегся на старом диване в своем кабинете. Когда утром горничная вошла разжечь камин, она застала его спящим. Круглолицая, с приятным румянцем девушка замерла на месте, глядя на него с благоговейным страхом. Он лежал, положив голову на руку, его темные, слегка поседевшие волосы были гладко причесаны, словно он ни разу не пошевелился во сне; другая рука прижимала плед к груди, а из-под пледа высывались ноги в ботинках. Он показался ей одиноким и заброшенным. Она с интересом рассматривала его впалые щеки, морщины на лбу, губы, обрамленные темными усами и бородой, крепко сжатые даже во сне. Оказывается, быть святым вовсе не значит быть счастливым! Больше всего ее растрогали пепельные ресницы, опущенные на щеки, слабое дыхание, едва колеблющее лицо и грудь; она наклонилась над ним с каким-то детским желанием - посчитать его ресницы. Губы ее раскрылись, готовые сказать "ах!", если он проснется. Лицо его чуть подергивалось, и это вызывало в ней особенную жалость. Он джентльмен, у него есть деньги, каждое воскресенье он читает проповеди и не так уж стар - чего еще может желать человек? И все-таки у него такой измученный вид, такие впалые щеки! Она жалела его; он казался ей беспомощным и одиноким - вот и уснул здесь, нет чтобы по-настоящему лечь в постель! Вздохнув, она на цыпочках пошла к двери.

- Это вы, Бесси?

Девушка вернулась.

- Да, сэр. Очень сожалею, что разбудила вас. Со счастливым Новым годом, сэр!

- Ах, да! Счастливого Нового года и вам, Бесси!

Она увидела его обычную улыбку; но тут же улыбка погасла и глаза застыли. Это испугало ее, и она поспешно вышла.

Пирсон вспомнил все. Несколько минут он лежал, глядя в пространство и ничего не видя, потом встал, машинально сложил

плед и посмотрел на часы. Восемь! Он поднялся по лестнице и, постучав, вошел к Ноэль.

Шторы были подняты, но она еще лежала в постели. Он стоял и смотрел на нее.

- Счастливого Нового года тебе, дитя мое, - сказал он и весь задрожал, словно его била лихорадка. Она выглядела так молодо и невинно - круглолицая и свежая после ночного сна. И у него снова вспыхнула мысль: "Наверно, это мне приснилось!" Она не двинулась, на щеках ее проступил слабый румянец. Нет, не сон!.. Не сон!.. И он сказал прерывающимся голосом:

- Я не могу поверить. Я... я надеялся, что неправильно понял тебя. Может быть, я не расслышал, Нолли? Может быть...

Она только покачала головой.

- Скажи мне все, - попросил он. - Ради бога!

Он увидел, как зашевелились ее губы, и уловил ее шепот:

- Больше не о чем говорить. Грэтиана и Джордж знают, и Лила знает. Сделанного не воротишь, папа! Быть может, я и не поступила бы так, если бы ты не запретил мне и Сирилу пожениться. А теперь я иногда чувствую себя счастливой, потому что у меня останется хоть что-нибудь от него... - Она подняла на него глаза. - В конце концов какая разница, право же! Только что нет кольца на пальце. Не стоит разговаривать со мной об этом - я тоже думаю, думаю дни и ночи. И знаю заранее, что ты можешь сказать. Я и сама себе это говорила. Теперь уже ничего не поделаешь, лишь бы все обошлось хорошо.

Она высунула горячую руку из-под одеяла и крепко сжала его пальцы. Щеки ее пылали, глаза горели.

- Ах, папа! У тебя такой усталый вид! Ты, наверное, не ложишься! Бедный папочка!

От прикосновения ее горячей руки, от этих слов "бедный папочка" у него на глазах выступили слезы. Они медленно скатились на бороду, и он закрыл лицо рукой. Она еще крепче, почти судорожно сжала его руку и вдруг поднесла ее к губам, поцеловала и отпустила.

- Не надо, - сказала она и отвернулась.

Пирсон подавил волнение и ответил почти спокойно:

- Ты хочешь остаться дома, дорогая, или поехать куда-нибудь?

Ноэль заметалась по подушке, словно ребенок в бреду, которому волосы попали в глаза рот.

- Ах, я не знаю; да и какое это имеет значение!

- А если в Кестрел? Может быть, тебе поехать туда? Твоя тетя... Я могу ей написать. - Ноэль несколько мгновений смотрела на него, охваченная, видимо, какой-то внутренней борьбой.

- Да, - сказала она наконец. - Я поеду. Но только если там не будет дяди Боба.

- Дядя может приехать сюда и пожить со мной. Она снова отвернулась к стене, голова ее судорожно заметалась по подушке.

- Мне все равно, - сказала она. - Куда угодно. Все равно.

Пирсон положил ледяную руку ей на лоб.

- Успокойся, - сказал он и опустился на колени у ее кровати. Милосердный отец, - зашептал он, - дай нам силы вынести это ужасное испытание. Возьми мое возлюбленное дитя под свою защиту и даруй ей мир; и дай мне уразуметь, что сделал я несправедного, в чем прегрешил пред тобой и ею. Очисти и укрепи мое дитя и меня.

Его мысли текли вместе с этой путаной, невнятной, отрывочной молитвой. Потом он услышал, как Ноэль сказала:

- Ты не согрешил. Почему ты говоришь о грехе? Это неправда! И не молись за меня, папа.

Пирсон встал и отошел от кровати. Ее слова ошеломили его, он боялся отвечать. Она опустила голову на подушку и лежала, уставившись глазами в потолок.

- У меня будет сын; значит, Сирил не совсем умер. И я не хочу, чтобы меня прощали.

Он смутно понимал, какой долгий и молчаливый процесс брожения мыслей и чувств происходил в ней, прежде чем она так ожесточилась; это ожесточение казалось ему чуть ли не богохульством. Но при всем смятении, царящем в его душе, он не мог не любоваться ее прекрасным лицом, округлыми линиями открытой шеи, вьющимися вокруг нее короткими кудряшками. Сколько страстной, протестующей жизненной силы чувствовалось в этой откинутой назад голове, мечущейся по горячей смятой подушке! Он продолжал молчать.

- Я хочу, чтобы ты знал, что во всем виновата я сама. Но я не могу притворяться. Конечно, я постараюсь причинять тебе как можно меньше горя. Мне так жаль тебя, бедный папа! Ах, мне так тебя жаль!

Непостижимо быстрым и мягким движением она повернулась и зарылась головой в подушку, и он видел только спутанные волосы и трясущиеся под одеялом плечи. Он попытался погладить ее по голове, но она отодвинулась, и он тихо вышел из комнаты.

К завтраку она не спустилась. А когда он сам покончил с безвкусной для него едой, привычный механизм его профессии священника уже целиком завладел им. Новый год! У него много дел. Надо держаться как можно бодрее перед паствой, напутствовать всех и каждому сказать ласковое слово; надо вселять в людей мужество и надежду.

## ГЛАВА X

Узнав почерк шурина, Тэрза Пирсон сказала, не повышая голоса:

- Письмо от Тэда.

Боб Пирсон, у которого рот был набит колбасой, так же спокойно промычал:

- Что он пишет?

Она начала читать письмо и сразу поняла, что ответить на этот вопрос самая трудная задача из всех, которые когда-либо вставали перед ней. Письмо глубоко взволновало и обеспокоило ее. Ведь беда разразилась под ее крылышком! Именно здесь произошло это прискорбное событие, чреватое такими неурядицами и ложью. Перед ней встало лицо Ноэль, страстное и какое-то отсутствующее, - такой она увидела ее возле двери ее комнаты в ту ночь, когда Сирил Морленд уезжал - нет, инстинкт не обманул ее тогда!

- Эдвард хочет, чтобы ты приехал и пожил с ним, Боб.

- А почему не мы оба?

- Он хочет, чтобы Ноэлли приехала сюда ко мне; она не совсем здорова.

- Нездорова? А в чем дело?

Рассказать ему - значило бы совершить предательство по отношению к своему полу; не рассказать - обмануть доверие собственного мужа. Простой учет фактов, а не принципов помог ей принять решение. Что бы она ни придумала, Боб тут же скажет: "Ну, это тыхватила через край!" И ей все равно придется рассказать. Она начала спокойно:

- Ты помнишь ту ночь, когда Сирил Морленд уезжал, а Ноэль вела себя несколько странно? Так вот, мой милый, у нее будет ребенок

в начале апреля. Несчастный юноша убит, Боб, - он погиб за родину...

Она увидела, как он побагровел.

- Что?!

- Бедный Эдвард страшно расстроен. Мы должны сделать все, что можем. Во всем я виню себя. - Последние слова она произнесла почти машинально.

- Винишь себя? Дудки! Этот молодой... - Он осекся.

Тэрза все так же спокойно продолжала:

- Нет, Боб! Из них двоих виновата Ноэль; она в тот день совсем потеряла голову. Разве ты не помнишь ее лицо? Ах, эта война! Она весь мир перевернула вверх дном. И в этом единственное оправдание. Что сейчас нормально?

Боб Пирсон в большей мере, чем другие, владел секретом быть счастливым, ибо всегда жил минутой, полностью растворяясь в том, что делал: ел ли он яйцо, рубил ли дерево, заседал ли в суде, или приводил в порядок счета, сажал картошку, смотрел на луну, или ехал верхом на лошади, или читал в церкви библию, - он решительно не способен был посмотреть на себя со стороны и спросить себя, почему он делает это так, а не делает лучше. Он был крепок, как дуб, и вел себя как сильный, добродушный пес. Его горести, гнев, радость были, как у ребенка, и таким же был его беспокойный, шумный сон. Они с Тэрзой очень подходили друг другу, потому что и она владела тем же секретом чувствовать себя счастливой; хотя она жила так же, как и он, минутой, но, подобно всякой женщине, всегда помнила о близких; более того, именно они и были для нее главным в жизни. Кто-нибудь мог бы сказать, что ни у него, ни у нее нет никакой собственной философии; но это была самая философическая супружеская пара, какую только можно встретить на нашей планете, населенной простаками. Оба сохранили вкус к простой обыденной жизни. Не было ничего более естественного для них, как раствориться в жизни, в этой бесконечной, удивительной смене времени и явлений, которые ощущаешь или создаешь сам, о которых говоришь и которые изменяешь; они поддерживали связи с бесконечным множеством других людей, но никогда не размышляли о том, растворились ли они в жизни или нет, есть ли у них какое-либо определенное отношение к Жизни и Смерти; это, конечно, было великое благо в эпоху, в которой они жили.

Боб Пирсон шагал по комнате, настолько озабоченный этой бедой, что был почти счастлив.

- Черт побери, - рассуждал он, - вот ужас-то! И надо же, чтобы так случилось! И именно с Нолли! Я просто убит, Тэрза. Просто не нахожу себе места! - Но с каждым словом голос его становился все бодрее, и Тэрза почувствовала, что самое худшее позади.

- Кофе стынет, - сказала она.

- Что же ты советуешь? Ехать мне туда, а?

- Я думаю, что ты будешь просто находкой для бедного Тэда; ты поддержишь его дух. Ева не приедет в отпуск до пасхи, и я останусь здесь одна и присмотрю за Нолли. Прислугу можно отпустить на отдых; а мы с нянькой будем вести хозяйство. Мне это даже нравится.

- Ты хорошая женщина, Тэрза. - Взяв руку жены, он поднес ее к губам. Другой такой женщины не сыщешь во всем белом свете.

Глаза Тэрзы смеялись.

- Дай-ка мне чашку, я налью тебе горячего кофе.

Было решено осуществить этот план в середине месяца. Тэрза пустила в ход все уловки, чтобы вдолбить мужу мысль, что одним ребенком больше или меньше - не так уж важно для планеты, где живет миллиард двести миллионов человек. Обладая более острым чувством семейной чести, свойственным мужчинам, Боб никак не мог уразуметь, что этот ребенок будет таким же, как и все другие.

- Проклятие! - восклицал он. - Я просто не могу привыкнуть к этому. В нашей семье! А Тэд к тому же священник. И на какого черта нужен нам этот ребенок?

- Если Нолли позволит, почему бы нам не усыновить его? Это поможет мне не думать все время о наших мальчиках.

- Идея! Но Тэд забавный парень. Он теперь придумает какую-нибудь догму искупления или другую несуразицу!

- Да не волнуйся, пожалуйста! - решительно прервала его Тэрза.

Мысль о том, что ему придется пожить некоторое время в столице, не была неприятной для Боба Пирсона. Работа в суде закончилась, ранний картофель посажен, и он уже мечтал о том, как будет трудиться на благо родины, как его выберут специальным констеблем, как он будет обедать в своем клубе. И чем ближе он передвинется к фронту и чем чаще ему доведется рассуждать о войне, тем более важные услуги, как ему представлялось, он окажет родине.

Он обязательно потребует работы, в которой смогут пригодиться его мозги! Он очень сожалел, что Тэрзы не будет с ним. Долгая разлука казалась ему слишком большим испытанием. И он вздыхал и теребил бакенбарды. Но ради Нолли и родины придется примириться с этим.

Когда наконец Тэрза просталась с ним в вагоне поезда, у обоих в глазах стояли слезы - они ведь были искренне привязаны друг к другу и хорошо знали, что раз уж взяли это дело в свои руки, оно будет доведено до конца, а это значит по меньшей мере трехмесячная разлука.

- Я буду писать каждый день.

- Я тоже, Боб.

- Не станешь нервничать, старушка?

- Нет, если ты не станешь нервничать.

- Я буду на месте в пять минут шестого, а она приедет сюда без десяти пять. Давай еще раз поцелуемся - черт бы побрал этих носильщиков! Благослови тебя бог! Я надеюсь, Нолли не будет недовольна, если я изредка стану наезжать сюда.

- Боюсь, что будет. Это... это... - ну, словом, ты сам понимаешь.

- Да, да, понимаю! - И он действительно понимал; в душе он был человеком деликатным.

Ее последние слова: "Ты очень милый, Боб!" - звучали в его ушах вплоть до станции Сэверн.

Тэрза вернулась домой, и дом показался ей пустым без мужа, дочери, мальчиков и даже прислуги. Только собаки были на месте да старая нянька, которая издавна была ее доверенным лицом. Даже в укрытой лесистой долине этой зимой было очень холодно. Птицы попрятались, ни один цветок не цвел, а бурая река вздулась и с ревом несла свои воды. Весь день в морозном воздухе гулко отдавались удары топора в лесу и шум падающих деревьев - их валили для креплений в окопах. Она решила сама приготовить обед и до самого полудня возилась на кухне, варила и пекла всякие вкусные вещи и при этом размышляла: как бы она себя чувствовала на месте Ноэль, а Ноэль на ее - и решила устранить все, что могло бы причинить боль девушке. К вечеру она отправилась на станцию в деревенском автобусе, том самом, который в июльскую ночь увез Сирила Морленда; их кучер был в армии, а лошадей угнали на подножный корм.

Ноэль выглядела усталой и бледной, но спокойной, слишком спокойной. Тэрзе показалось, что лицо ее стало тоньше, а задумчивые глаза придавали ей еще больше очарования. В автобусе она взяла Ноэль за руку и крепко сжала ее; они ни разу не упомянули о случившемся, только Ноэль, как и полагается, промолвила:

- Очень вам благодарна, тетушка, за ваше приглашение; это так любезно с вашей стороны и со стороны дяди Боба.

- В доме нет никого, моя милая, кроме старой няни. Тебе будет очень скучно, но я решила научить тебя готовить; это всегда пригодится.

Улыбка, скользнувшая по губам Ноэль, испугала Тэрзу.

Она отвела девушке комнату и постаралась сделать ее как можно уютнее и веселее - в камине пылали дрова, на столе стояла ваза с хризантемами и блестящие медные подсвечники, на кровати лежали грелки.

Когда настало время ложиться спать, Тэрза поднялась наверх вместе с Ноэль и, став у камина, сказала:

- Знаешь, Нолли, я решительно отказываюсь рас сматривать все это как трагедию. Подарить миру новую жизнь в наши дни - неважно каким путем - это же счастье для человека. Я бы и сама согласилась на это, - по крайней мере я чувствовала бы, что приношу пользу. Спокойной ночи, дорогая! Если тебе что-либо понадобится, постучи в стену. Моя комната рядом. Да хранит тебя бог!

Она увидела, что девушка очень тронута - этого не могла скрыть даже бледная маска ее лица; и Тэрза вышла, пораженная самообладанием племянницы.

Тэрза плохо спала эту ночь. Ей все представлялось, как Ноэль мечется на большой кровати и широко открытыми серыми глазами вглядывается в темноту.

Встреча братьев Пирсонов произошла в обеденный час и отличалась истинно английской сдержанностью. Они были такими разными людьми, и с самых ранних лет, проведенных в старом доме в Букингэмшире, так мало жили вместе, что по сути дела были почти чужими, и единственное, что связывало их, - это общие воспоминания о том далеком прошлом. Об этом они и беседовали, да еще о войне. По этому вопросу они были согласны друг с другом в основе, но расходились в частности. Так, оба считали, что знают Германию и

другие страны, хотя ни у одного не было настоящего представления ни о какой стране, кроме собственной; правда, они оба порядком попутешествовали по чужим краям в то или иное время, но не увидели там ничего, кроме земли, по которой они ходили, церковей да солнечных закатов. Далее, оба полагали, что являются демократами, но ни один не знал подлинного значения этого слова и не считал, что рабочему можно по-настоящему доверять; оба чтити церковь и короля. Обоим не нравилась воинская повинность, но они признавали ее необходимость. Оба высказывались в пользу предоставления самоуправления Ирландии, но ни один не считал, что это можно осуществить. Оба мечтали, чтобы война кончилась, но были за то, чтобы она продолжалась до победы, хотя ни тот, ни другой не знали, что это означает. Так обстояло дело с основными проблемами. Что же до частных, - таких, как стратегия или личности руководителей страны, то тут они были противниками. Эдвард был западником, Роберт - восточником, что было естественно, так как он провел четверть века на Цейлоне. Эдварду нравилось правительство, которое пало, Роберту - то, которое пришло к власти. Ни один не мог привести никаких причин, объясняющих такое пристрастие, если не считать того, что вычитал в газетах. Впрочем, могли ли быть какие-либо другие причины? Эдварду не нравилась пресса Хармсворта; а Роберт считал, что она приносит пользу. Роберт был вспыльчив, но довольно расплывчат в суждениях; Эдвард был мечтателен, но несколько дидактичен. Роберту казалось, что бедный Тэд похож на призрак, а Эдварду казалось, что бедный Боб похож на красное заходящее солнце. Их лица и в самом деле были до смешного непохожими, как и глаза и голоса - бледный, худой, удлиненный лик Эдварда с короткой остренькой бородкой - и красное, широкое, полное, обрамленное бакенбардами лицо Роберта! Они расстались на ночь, обменявшись теплым рукопожатием.

Так началось это курьезное содружество; по мере того, как проходили дни, оно свелось к получасу совместного завтрака - причем каждый читал свою газету - и к совместным обедам примерно три раза в неделю. Каждый считал, что его брат странный человек, но оба продолжали быть самого высокого мнения друг о друге. И вместе с тем глубокое родственное чувство говорило им, что они оба попали в беду. Впрочем, об этой беде они никогда не разговаривали, хотя

несколько раз Роберт опускал газету и поверх очков, торчащих на его породистом носу, созерцал своего брата, и маленькая морщинка сочувствия пересекала его лоб между кустистыми бровями. Но иногда Роберт ловил на себе взгляд Эдварда, который отрывался от газеты, чтобы увидеть не столько брата, сколько... их совместную семейную тайну; и тогда Роберт поспешно поправлял очки, проклинал нечеткую газетную печать и тут же извинялся перед Эдвардом за грубость. "Бедный Тэд, - думал он, - ему бы выпить портвейна, как-нибудь развлечься, забыть обо всем. Какая жалость, что он священник!"

В письмах к Тэрзе он оплакивал аскетизм Эдварда. "Он ничего не ест, ничего не пьет и редко когда выкуривает одну несчастную сигарету. Он одинок, как сыч. Тысячу раз приходится жалеть, что он потерял жену. Все же, я надеюсь, что крылья его в один прекрасный день расправятся; но, черт побери, я не уверен, что у него хватит мяса, на котором можно укрепить эти крылья. Пришли-ка ему сливок, а я уж постараюсь, чтобы он их съел". Когда сливки были получены, Боб заставил Эдварда съесть немного за завтраком, но когда подали чай, вдруг убедился, что съел почти все сам. "Мы никогда не говорим о Нолли, - писал он. - Я все собираюсь потолковать с ним начистоту и сказать, что ему надо приободриться; но когда доходит до дела, я не нахожу слов, потому что в конце концов все это и у меня стоит поперек горла. Мы, Пирсоны, уже довольно стары и всегда были людьми порядочными, начиная со святого Варфоломея, когда этот гугенотский парень явился сюда и основал нас. Единственная черная овца, о которой я слыхал, - это кузина Лила. Кстати, я на днях ее видел - она заглянула к Тэду. Помнится, я как-то собирался остановиться у нее в Симле, когда она жила там с мужем, молодым Фэйном; я возвращался тогда домой как раз перед нашей женитьбой. Фью! Это была забавная пара; все молодые парни увивались вокруг нее, а молодой Фэйн относился к этому, как истый циник. Даже теперь она не может удержаться, чтобы не заигрывать с Тэдом, а ему это и невдомек; он думает, что она набожное существо, что она окончательно исправилась в этом своем госпитале и тому подобное. Бедный старина Тэд! Он самый мечтательный парень из всех, кого я знал".

"В конце недели приезжала Гретиана с мужем, - писал Боб в следующем письме. - Я ее люблю не так, как Нолли; слишком она

серьезная и прямолинейная, намой взгляд. Ее муж, видимо, тоже рассудительный парень; но он до черта свободомыслящий. Они с беднягой Тэдом, как кошка с собакой. В субботу к обеду была снова приглашена Лида и приходил еще какой-то человек по фамилии Форт. Лида влюблена в него - я видел это уголком глаза, но милейший Тэд, разумеется, ничего не замечает. Доктор и Тэд спорили до полного изнеможения. Доктор сказал одну вещь, которая меня поразила: "Что отличает нас от зверей? Сила воли - больше ничего. В самом деле, что такое эта война, как не карнавал смерти, который должен доказать, что человеческая воля непобедима?" Я записал эти слова, чтобы передать их тебе в письме, когда пойду писать его к себе наверх. Он умный человек. Я верю в бога, как ты знаешь, но должен сказать, что как только дело доходит до спора, бедняга Тэд кажется слабоватым с этими вечными "нам сказано то" или "нам указано это". Никто не упоминал о Нолли. Постараюсь обязательно поговорить о ней с Тэдом; нам надо знать, как действовать, когда все кончится".

Но только в середине марта, после того, как оба брата просидели друг против друга за обеденным столом, около двух месяцев, эта тема была, наконец, задета, да и то не Робертом. Однажды Эдвард стоял после обеда у камина в своей обычной позе, поставив ногу на решетку, а рукой опираясь на каминную доску и устремив глаза на огонь. Он сказал:

- Я ни разу не попросил у тебя прощения, Боб.

Роберт, засидевшийся за столом со стаканом портвейна, вздрогнул, обернулся к Эдварду, успевшему уже надеть свое одеяние священника, и ответил:

- Да что ты, старина!

- Мне очень тяжело говорить об этом.

- Разумеется, разумеется! - И снова наступила тишина. Роберт обводил глазами стены, словно ища вдохновения. Но глаза его встречали только написанные маслом портреты покойных Пирсонов и снова возвращались к обеденному столу. Эдвард продолжал, как бы обращаясь к огню:

- Это до сих пор кажется мне невероятным. День и ночь я спрашиваю себя: что повелевает мне долг?

- Ничего! - вырвалось у Роберта. - Оставьте ребенка у Тэрзы; мы будем заботиться о нем. А когда Нолли поправится, пусть возобновит

работу в госпитале. Она скоро забудет обо всем!

Увидев, что брат покачал головой, он подумал: "Ну, конечно, сейчас пойдут всякие чертовы осложнения с точки зрения совести".

- Это очень мило с вашей стороны, - повернулся к нему Эдвард, - но было бы ошибкой и трусостью, если бы я это разрешил.

Роберт почувствовал возмущение, которое всегда появляется у отца, когда он видит, как другой отец бесцеремонно распоряжается жизнью своих детей.

- Брось, дорогой Тэд; слово тут за Нолли. Она теперь женщина, помни об этом.

На помрачневшем лице его брата застыла улыбка.

- Женщина? Маленькая Нолли! Боб, право же, я окончательно запутался со своими дочерьми. - Он приложил пальцы к губам и снова отвернулся к огню. Роберт почувствовал, как комок подкатил к его горлу.

- Черт возьми, старина, я с тобой не согласен. А что еще ты мог сделать? Ты слишком много берешь на себя. В конце концов они прекрасные дочери. Я убежден, что Нолли - прелесть. Тут все - в современных взглядах и в войне. Выше голову! Все еще устроится!

Он подошел к брату и положил ему руку на плечо. Эдвард, казалось, окаменел от этого прикосновения.

- Ничто не устраивается само собой, - сказал он, - если не добиваться этого. Ты хорошо знаешь это, Боб.

Стоило посмотреть в эту минуту на Роберта. Он виновато понурился и стал похож на пса, на которого накричал хозяин; густо покраснев, он начал позвякивать монетами в кармане.

- В этом есть доля смысла, конечно, - сказал он резко. - Но все равно, решение за Нолли. Посмотрим, что скажет Тэрза. Во всяком случае, нечего спешить. Я тысячу раз сожалею, что ты священник; хватит у тебя бед и кроме этой.

Эдвард покачал головой.

- Обо мне нечего говорить. Я думаю о своем ребенке, ребенке моей жены. Все дело в гордости, и только. И я не могу подавить эту гордость, не могу победить ее. Прости меня бог, но я возроптал!

Роберт подумал: "Черт возьми, как близко он принимает это к сердцу. Впрочем, и со мной было бы то же самое. Да, да, если бы так

пришлось!" Он вытащил трубку и стал ее набивать, все плотнее уминая табак.

- Я не мирской человек, - услышал он голос брата. - Многое остается вне меня. Просто невыносимо чувствовать, что я вместе с мирянами осуждаю собственную дочь - может быть, мною движут не те причины, что ими, не знаю; надеюсь, что нет. И все-таки я противнее.

Роберт разжег трубку.

- Спокойнее, старина, - сказал он. - Произошло несчастье. Но будь я на твоём месте, я бы вот что подумал: "Да, она совершила дикий, глупый поступок; но, черт возьми, если кто-нибудь скажет против нее хоть одно слово, я сверну ему шею!". Более того, ты и сам почувствуешь то же, когда дойдет до дела.

Он выпустил мощный клуб дыма, которым заволокло лицо брата; кровь оглушительно стучала в его висках, голос Эдварда доносился откуда-то издалека.

- Я не знаю; я пытался это понять. Я молился, чтобы мне было указано, в чем состоит долг мой и ее. Мне кажется, не знать ей покоя, пока она не искупит греха прямым страданием; я чувствую, что суд людской - это ее крест, и она должна нести его. Особенно в эти дни, когда все люди так мужественно идут навстречу страданиям. И вдруг мне становится так тяжело, так горько. Моя маленькая бедная Нолли!

Снова наступила тишина, прерываемая только хрипением трубки Роберта. Наконец он заговорил отрывисто:

- Я не понимаю тебя, Тэд, нет, не понимаю. Мне кажется, что человек должен защищать своих детей как только может. Выскажи ей все, если хочешь, но не давай говорить это другим. Черт побери, общество - это сборище гнусных болтунов. Я называю себя человеком общества, но когда доходит до моих личных дел - извините, тут я подвожу черту. По-моему... по-моему, это бесчеловечно! Что думает об этом Джордж Лэрд? Он ведь парень толковый. Я полагаю, что вы... надеюсь, что вы не...

Он замолчал, потому что на лице Эдварда появилась странная улыбка.

- Нет, - сказал он, - вряд ли я стану спрашивать мнение Джорджа Лэрда.

И Роберт вдруг понял, сколько упрямого одиночества сосредоточено в этой черной фигуре, в этих пальцах, играющих золотым крестиком. "Эх! - подумал он. - Старый Тэд похож на одного из тех восточных типов, которые удаляются отшельниками в пустыню. Он в плену у каких-то призраков, ему видится то, чего и на свете нет. Он живет вне времени и пространства, просто никак не поймешь его. Я бы не удивился, если бы узнал, что он слышит голоса, подобно этим.., как их там звали? Эх! Какая жалость!.. Тэд совершенно непостижим. Он очень мягок и прочее - он джентльмен, разумеется; это и служит ему маской. А внутренне - что он такое? Самый настоящий аскет, факир!"

Чувство растерянности от того, что он имеет дело с чем-то необъяснимым, все больше охватывало Боба Пирсона. Он вернулся к столу и снова взялся за стакан с портвейном.

- По-моему, - сказал он довольно резко, - цыплят по осени считают.

Он тут же раскаялся в своей резкости и осушил стакан. Почувствовав вкус вина, он подумал: "Бедный старина Тэд! Он даже не пьет - вообще никаких удовольствий в жизни, насколько я вижу. Только и знает, что выполняет свой долг, а сам не очень ясно понимает, в чем он состоит. Но таких, как он, к счастью, немного. И все-таки я люблю его - трогательный он парень!"

А "трогательный парень" все стоял и не отрываясь глядел на огонь.

В тот самый час, когда шел разговор между братьями, - ибо мысли и чувства таинственным образом передаются через пространство по невидимым проводам, - Ноэль родила, немного раньше срока, сына Сирила Морленда.

\* ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ \*

## ГЛАВА I

На берегу реки Уай, среди цветущих слив, Ноэль сидела возле своего ребенка, спящего в гамаке, и читала письмо.

"Моя любимая Нолли,

Теперь, когда ты снова восстановила силы, я чувствую, как необходимо мне изложить перед тобой свои мысли по поводу того, что повелевает тебе долг в этот критический момент твоей жизни. Тетя и дядя сделали мне самое сердечное и великодушное

предложение - усыновить твоего маленького мальчика. Я знал, что эта мысль была у них уже давно, и сам размышлял об этом день и ночь, целыми неделями. В общежитейском смысле это было бы самое лучшее, я не сомневаюсь. Но это вопрос духовный: будущее наших душ зависит от того, как мы сами относимся к последствиям нашего поведения. И как бы горестны, может быть, даже страшны, ни были эти последствия, я чувствую, что ты сможешь обрести подлинный покой, если встретишь их с мужественным смирением. Я хотел бы, чтобы ты подумала и еще раз подумала, пока не примешь решение, которое удовлетворило бы твою совесть. Если ты решишь - а я надеюсь, что так и будет - вернуться ко мне со своим мальчиком, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива, и мы вместе пойдем навстречу будущему. Если ты поступишь так, как желают по своей доброте твои тетя и дядя, то боюсь, это кончится тем, что ты потеряешь внутреннюю силу и счастье, которыми бог наделяет только тех, кто выполняет свой долг и пытается мужественно исправить свои ошибки. Я верю в тебя, мое дорогое дитя.

Твой любящий отец  
Эдвард Пирсон".

Она еще раз прочла письмо и посмотрела на ребенка. Папа, должно быть, думает, что она согласится расстаться с этим прелестным созданием! Солнечный свет проникал сквозь ветви цветущей сливы и прихотливым узором падал на лежавший в гамаке маленький сверток, щекотал нос и ротик младенца, и тот забавно чихнул. Ноэль рассмеялась и прикоснулась губами к лицу малютки. "Отказаться от тебя! - подумала она. - Ну, нет! Я тоже хочу быть счастливой, и никто мне не сможет помешать".

В ответ на письмо она просто сообщила, что возвращается домой. И через неделю отправилась в Лондон, к неудовольствию тетки и дяди Боба. Она взяла с собой старую няню. Ноэль не приходилось думать о своем положении, пока она не вернулась домой - Тэрза обо всем заботилась и от всего оберегала племянницу.

Грэтиана перевелась в лондонский госпиталь и жила теперь дома. К приезду сестры она наняла новую прислугу; и хотя Ноэль радовалась, что нет старых слуг, - ей все же было не очень приятно замечать тупое любопытство со стороны новых. Утром, перед отъездом из Кестрела, тетка пришла к ней в комнату, когда она

одевалась. Тэрза взяла ее левую руку и надела на третий палец тоненькое золотое кольцо.

- Пожалуйста, уважь меня, Нолли; теперь ты уезжаешь, и это будет для дураков, которые ничего не знают о тебе.

Ноэль позволила ей надеть кольцо, но подумала: "Как это все глупо!"

И вот теперь, когда новая горничная наливала ей горячую воду, Ноэль вдруг заметила, что девушка, вытаращив голубые глаза, то и дело поглядывает на ее руку. Оказывается, этот маленький золотой обруч обладает чудодейственной силой! Ей вдруг стало отвратительно все это. Жизнь показалась переполненной условностями и притворством. Значит, теперь все станут поглядывать на это колечко, а она будет трусливо избегать этих взглядов! Когда горничная ушла, она сняла кольцо и положила его на умывальник, в полосу солнечного света. Только этот маленький кусочек желтого металла, только это сверкающее кольцо защищает ее от вражды и презрения! Губы ее задрожали, она схватила кольцо и подбежала к открытому окну, намереваясь выбросить его. Но не выбросила - она уже отчасти извела жестокость жизни и теперь чувствовала себя растерянной и подавленной. Постучали в дверь, и она вернулась к умывальнику. В комнату вошла Грэтиана.

- Я видела его, - сказала она тихо. - Он похож на тебя, Нолли; вот разве только нос не твой.

- Да у него и носа-то почти нет. А правда у него умные глаза? Помоему они удивительные. - Она показала сестре кольцо. - Что мне делать с ним, Грэтиана?

Грэтиана покраснела.

- Носи его. Думаю, что посторонним незачем знать. Мне кажется, ты должна его надеть ради отца. Ведь у него приход.

Ноэль надела кольцо на палец.

- А ты носила бы?

- Не знаю. Думаю, что да.

Ноэль внезапно рассмеялась.

- Скоро я стану циничной, я уже предчувствую это. Как выпадит папа?

- Очень похудел. Мистер Лодер опять приехал ненадолго и выполняет какую-то долю обязанностей по церкви.

- Отец, наверно, страдает из-за меня?

- Он очень доволен, что ты вернулась. Он так нежно заботится о тебе, как только умеет.

- Да, - пробормотала Ноэль, - вот это-то и страшно! Я рада, что его не было дома, когда я приехала. Он рассказал... об этом кому-нибудь?

Грэтиана покачала головой.

- Не думаю, чтобы кто-либо знал; разве что капитан Форт. Он приходил однажды вечером, и как-то...

Ноэль покраснела.

- Лила! - сказала она загадочно. - Ты видела ее?

- Я заходила к ней на прошлой неделе с отцом. Он считает, что она славная женщина.

- Знаешь, ее настоящее имя Далила. Она нравится всем мужчинам. А капитан Форт - ее любовник.

Грэтиана ахнула. Иногда Ноэль говорила такие вещи, что она чувствовала себя ее младшей сестрой.

- Да, да, так и есть, - продолжала Ноэль жестко. - У нее нет друзей среди мужчин; женщины ее сорта никогда их не имеют, только любовников. А откуда ты знаешь, что ему все известно обо мне?

- Когда он спрашивал о тебе, у него был такой вид...

- Да, я заметила, у него всегда такой вид, когда ему жалко кого-нибудь. Но мне все равно. А monsieur Лавенди заходил?

- Да, он выглядит очень несчастным,

- Его жена - наркоманка.

- О, Нолли, откуда ты знаешь?!

- Я видела ее однажды. Я уверена в этом; почувствовала по запаху. И потом у нее блуждающий взгляд, остекленевшие зрачки. Теперь пусть он пишет мой портрет, если захочет. Раньше я ему не позволяла. А он-то знает?

- Конечно, нет!

- Он понимает, что со мной что-то случилось. У него второе зрение, так мне кажется. Но пусть лучше знает он, чем кто-либо другой. А портрет отца хорош?

- Великолепен. Но он как-то оскорбляет.

- Пойдем вниз, я хочу посмотреть.

Портрет висел в гостиной; он был написан в весьма современной манере и казался особенно странным в старомодной комнате. Черная фигура, длинные бледные пальцы на белых клавишах рояля были пугающе живы. Голова, написанная в три четверти, была чуть приподнята, как бы в порыве вдохновения, а глаза, мечтательные и невидящие, устремлены на портрет девушки, выделявшийся на фоне стены.

Некоторое время они молча смотрели на картину.

- У этой девушки такое лицо... - сказала Грэтиана.

- Не в том суть, - возразила Ноэль. - Главное - это его взгляд.

- Но почему он выбрал такую ужасную, вульгарную девушку? А она ведь страшно живая, правда? Словно вот-вот крикнет: "Веселей, старина!"

- Да, именно так... просто потрясающе. Бедный папа!

- Это пасквиль, - упрямо сказала Грэтиана.

- Нет. Меня оскорбляет другое: он не весь, не весь на этом портрете!.. Скоро он придет?

Грэтиана крепко сжала ей руку.

- Как ты думаешь, остаться мне к обеду или нет? Я ведь легко могу исчезнуть.

Ноэль покачала головой.

- Какой смысл уклоняться? Он хотел, чтобы я приехала, и вот я здесь. Ах, зачем ему это понадобилось? Он будет ужасно все переживать!

Грэтиана вздохнула.

- Я пыталась уговорить его, но он все время твердит: "Я так много думал, что больше думать уже не в силах. Я чувствую, что действовать открыто - самое лучшее. Если проявить мужество и покорность, тогда будет и милосердие и всепрощение".

- Ничего этого не будет, - сказала Ноэль. - Папа святой, он не понимает.

- Да, он святой. Но ведь человек должен думать сам за себя - просто должен думать. Я не могу верить так, как верует он, не могу больше. А ты, Нолли?

- Не знаю. Когда я проходила через все это, я молилась; но не могу сказать, верила ли я по-настоящему. И для меня не так уж важно, надо верить или нет.

- А для меня это очень важно, - сказала Грэтиана. - Я хочу знать правду.

- Да ведь я не знаю, чего хочу, - медленно сказала Ноэль. - Но иногда мне хочется одного - жить. Ужасно хочется.

И обе сестры замолчали, удивленно глядя друг на друга.

В этот вечер Ноэль вздумалось надеть ярко-синее платье, а на шею усыпанный старинными камнями бретонский крест, принадлежавший ее матери. Кончив одеваться, она пошла в детскую и остановилась у колыбели ребенка. Нянька поднялась и сказала:

- Он крепко спит, наш ягненочек. Я пойду вниз, возьму чашку чая и к гонгу вернусь обратно, мэм.

Как и все люди, которым не положено иметь своего мнения, а положено только следовать тому, что им внушают другие, она уверила себя, что Ноэль и в самом деле вдова военного. Впрочем, она прекрасно знала правду, потому что наблюдала этот мгновенно возникший маленький роман в Кестреле; но по своему добросердечию и после туманных размышлений она легко вообразила себе свадебную церемонию, которая могла состояться, и страстно желала, чтобы и другие люди это вообразили. На ее взгляд, так было бы куда правильнее и естественнее, и к тому же "ее" ребенок получил бы законное право на существование. Спускаясь за чаем, она думала: "Прямо картинка они оба, вот что! Благослови, господь, его маленькое сердечко! А его красивая маленькая мать - тоже еще ребенок, вот и все, что тут можно сказать".

Поглощенная созерцанием спящего младенца, Ноэль постояла еще несколько минут в детской, куда уже заглядывали сумерки; подняв глаза, она вдруг увидела в зеркале отражение темной фигуры отца, стоящего в дверях. Она слышала его тяжелое дыхание, словно подняться по лестнице оказалось ему не под силу; подойдя к кровати, она положила на изголовье руку и повернулась к отцу. Он вошел и стал рядом с ней, молча глядя на ребенка. Она увидела, как отец осенил его крестным знаменем и начал шептать молитву. Любовь к отцу и возмущение этим непрошеным заступничеством за ее ребенка так яростно боролись в сердце Ноэль, что она чуть не задохнулась и рада была, что в сумерках отец не видит выражения ее лица. Он взял ее руку и приложил к губам, все еще не произнося ни слова; а она, если бы даже шла речь о спасении ее жизни, все равно не

могла бы заговорить. Потом он так же молча поцеловал ее в лоб; и вдруг Ноэль охватило страстное желание показать ему, как любит она ребенка и как гордится им. Она протянула палец и коснулась им ручки младенца. Малюсенькие кулачки вдруг разжались и, словно какая-то крохотная морская анемона, цепко охватили ее палец. Она услышала глубокий вздох отца и увидела, как он, быстро повернувшись, молча вышел из комнаты. А она стояла, едва дыша, не отнимая у ребенка пальца, который тот сжимал.

## ГЛАВА II

Эдвард Пирсон испугался охватившего его чувства и, выйдя из утопающей в сумерках детской, тихо проскользнул в свою комнату и опустился на колени возле кровати, еще весь во власти того видения, которое только что предстало перед ним. Фигура юной мадонны в синем одеянии, нимб ее светлых волос; спящее дитя в мягкой полутьме; тишина, обожание, которыми, казалось, была наполнена белая комната! К нему пришло и другое видение из прошлого: его дитя - Ноэль - спит, на руках матери, а он стоит рядом, потрясенный, возносящий хвалу богу. Все прошло, стало потусторонним - все торжественно-прекрасное, что составляет красоту жизни, прошло и уступило место мучительной действительности. Ах! Жить только внутренним созерцанием и только восхищением божественной красотой, какое он только что испытал!

Пока он стоял на коленях в своей узкой, похожей на монашескую келью комнате, будильник отстукивал минуты и вечерние сумерки сменялись темнотой. Но он все еще не поднимался с колен, как бы страшась вернуться к мирской повседневности, встретиться с ней лицом к лицу, услышать мирские толки, соприкоснуться со всем грубым, вульгарным, непристойным. Как защитить от этого свое дитя? Как охранить от всего этого ее жизнь, ее душу, которая вот-вот должна погрузиться в холодные, жестокие житейские волны?.. Но вот прозвучал гонг, и он спустился вниз.

Эта семейная встреча, которой страшились все, была облегчена, как это часто случается в тяжелые минуты жизни, неожиданным появлением бельгийского художника. Получив приглашение заходить запросто, он воспользовался этим и часто бывал у них; но сегодня он был молчалив, его безбородое, худое лицо, на котором, казалось, остались только лоб и глаза, было таким скорбным, что все трое

почувствовали себя свидетелями горя, быть может, более глубокого, чем их семейная беда. Во время обеда Лавенди молча смотрел на Ноэль. Он только сказал:

- Теперь, я надеюсь, вы позволите мне написать вас?

Она кивнула в знак согласия, и его лицо просветлело. Но и с приходом художника разговор не вязался: стоило ему и Пирсону углубиться в какой-нибудь спор, хотя бы даже об искусстве, как сразу начинало сказываться различие их взглядов. Пирсон никогда не мог преодолеть то смутное, необъяснимое раздражение, какое вызывал в нем этот человек, с несомненно высокими духовными запросами, которых он, однако, не мог понять. После обеда он извинился и ушел к себе. Вероятно, *monsieur* Лавенди будет приятнее общество его дочерей! Но Гретиана тоже поднялась наверх. Она вспомнила слова Ноэль: "Уж лучше ему рассказать, чем другим". Для Ноэли это был еще один случай сломать лед.

- Мы так давно не встречались, *mademoiselle*, - сказал художник, когда они остались вдвоем.

Ноэль сидела перед погасшим камином, протягивая к нему руки, словно там горел огонь.

- Я уезжала. Ну как, будете вы писать мой портрет?

- Хотелось бы, чтобы вы были в этом платье, *mademoiselle*, - вот так, как вы сейчас сидите и греетесь у огня жизни.

- Но тут нет огня.

- Да, огни быстро гаснут, *mademoiselle*. Не хотите ли зайти к нам и повидаться с моей женой? Она больна.

- Сейчас? - удивленно спросила Ноэль.

- Да, сейчас. Она серьезно больна. У меня никого здесь нет. Я пришел просить об этом вашу сестру; но вы приехали, и это даже лучше. Вы ей нравитесь.

Ноэль встала.

- Подождите одну минуту, - сказала она и поднялась наверх. Ребенок спал, рядом клевала носом старая нянька. Надев шубу и шапочку из серого кроличьего меха, она сбежала вниз в прихожую, где ждал ее художник; они вышли вместе.

- Не знаю, виноват ли я, - сказал Лавенди, - но моя жена перестала быть мне настоящей женой с того времени, когда узнала, что у меня есть любовница и что я ей не настоящий муж.

Ноэль в изумлении уставилась на его лицо, освещенное непонятной улыбкой.

Да, - продолжал он, - отсюда вся ее трагедия! Но она ведь знала все, прежде чем я женился на ней. Я ничего не скрывал. *Von Dieu!* {Боже правый! (франц.).} Она должна была знать. Почему женщины не могут принимать вещи такими, какие они есть? Моя любовница, *mademoiselle*, - это не существо из плоти и крови. Это мое искусство. Оно всегда было для меня главным в жизни. А жена никогда не мирилась с этим и не может примириться и сейчас. Я очень жалею ее. Но что поделаешь? Глупо было жениться на ней. Милая *mademoiselle!* Любое горе - ничто по сравнению с этим; оно дает себя знать днем и ночью, за обедом и за ужином, год за годом - горе двух людей, которым не надо было вступать в брак, потому что один из них любит слишком сильно и требует всего, а другой совсем не любит - нет, совсем теперь не любит и может дать очень мало... Любовь давно умерла.

- А разве вы не можете расстаться? - удивленно спросила Ноэль.

- Трудно расстаться с человеком, который до безумия любит тебя - не меньше, чем свои наркотики - да, она сейчас наркоманка. Невозможно оставить такого человека, если в душе есть хоть какая-то доля сострадания к нему. Да и что бы она делала? Мы перебиваемся с хлеба на воду в чужой стране, у нее нет здесь друзей, никого. Как же я могу оставить ее сейчас, когда идет война? Это все равно, как если бы два человека расстались друг с другом на необитаемом острове. Она убивает себя наркотиками, и я не могу спасти ее.

- Бедная *madame!* - пробормотала Ноэль. - Бедный *monsieur!*

Художник провел рукой по глазам.

- Я не могу переломить себя, - сказал он приглушенным голосом.

- И точно так же не может и она. Так мы и живем. Но когда-нибудь эта жизнь прекратится, для меня или для нее. В конце концов ей хуже, чем мне. Войдите, *mademoiselle*. Не говорите ей, что я собираюсь написать вас; вы ей потому и нравитесь, что отказались мне позировать.

Ноэль поднималась по лестнице с каким-то страхом; она уже была здесь однажды и помнила этот тошнотворный запах наркотиков. На четвертом этаже они вошли в маленькую гостиную, стены ее были увешаны картинами и рисунками, а в одном углу высилась пирамида

полотен. Мебели было мало - только старый красный диван, на котором сейчас сидел плотный человек в форме бельгийского солдата. Он сидел, поставив локти на колени и подперев кулаками щеки, поросшие щетиной. Рядом с ним на диване, баюкая куклу, устроилась маленькая девочка; она подняла голову и уставилась на Ноэль. У нее было странно привлекательное, бледное личико с острым подбородком и большими глазами она теперь не отрывала их от этой неожиданно появившейся волшебницы, укутанной в серый кроличий мех.

- А, Барра! Ты здесь! - воскликнул художник. - Mademoiselle, это monsieur Барра, мой друг по фронту. А это дочурка нашей хозяйки. Тоже маленькая беженка. Правда, Чика?

Девочка неожиданно ответила ему сияющей улыбкой и тут же с прежней серьезностью принялась изучать гостью. Солдат, тяжело поднявшись с дивана, протянул Ноэль пухлую руку и печально, как бы с натугой, усмехнулся.

- Садитесь, mademoiselle, - сказал Лавенди, пододвигая Ноэль стул. Сейчас я приведу жену. - И он вышел через боковую дверь.

Ноэль села, солдат принял прежнюю позу, а девочка снова принялась нянчить куклу, но ее большие глаза все еще были прикованы к гостье. Смущенная непривычной обстановкой, Ноэль не пыталась завязать разговор. Но тут вошли художник и его жена. Это была худая женщина в красном халате, со впалыми щеками, выступающими скулами и голодными глазами. Ее темные волосы были не убраны, она все время беспокойно теребила отворот халата. Женщина протянула руку Ноэль; ее выпуклые глаза влились в лицо гостьи, но она тут же отвела их, и веки ее затрепетали.

- Здравствуйте, - сказала она по-английски. - Значит, Пьер опять привел вас ко мне. Я очень хорошо вас помню. Вы не хотите, чтобы он вас писал. Ah, que c'est drôle! {Ах, как это смешно! (франц.).} Вы такая красивая, даже слишком. Hein, monsieur Барра {Что, мосье Барра (франц.).}, ведь верно mademoiselle красива?

Солдат снова невесело усмехнулся и продолжал разглядывать пол.

- Генриетта, - сказал Лавенди, - сядь рядом с Никой, зачем ты стоишь? Садитесь, mademoiselle, прошу вас.

- Я очень сожалею, что вы нездоровы, - сказала Ноэль и снова опустилась на стул.

Художник стоял, прислонившись к стене, а жена смотрела на его высокую худую фигуру глазами, в которых были гнев и какое-то лукавство.

- Мой муж великий художник, не правда ли? - сказала она, обращаясь к Ноэль. - Вы даже не можете себе представить, что способен сделать этот человек. И как он пишет - весь день! И всю ночь это не выходит у него из головы. Значит, вы не позволите ему писать себя?

- *Voyons, Henriette*, - нетерпеливо сказал художник. - *Causez d'autre chose* {Послушай, Генриетта, поговори о другом (франц.)}.

Его жена нервно затеребила складку на красном халате и посмотрела на него так, как смотрит на хозяина собака, которую только что оттрепали за уши.

- Я здесь как пленница, *mademoiselle*. Я никогда не выхожу из дома. Так и живу день за днем - мой муж ведь все время пишет. Да и как я могу ходить одна под этим вашим серым небом, окруженная всей этой ненавистью, которую война запечатлела на каждом лице? Я предпочитаю сидеть в своей комнате. Мой муж уходит рисовать, его интересует каждое лицо, которое он видит, но только не то, что он видит каждый день. Да, я пленница. *Monsieur Барра* первый гость у нас за долгое время.

Солдат поднял голову.

- *Prisonniere, madame?* {Пленница, сударыня? (франц.)} А что сказали бы вы, если бы побывали там? - Он снова тяжело усмехнулся. - Мы пленники, вот кто! Что бы вы сказали, если бы побывали в другом плену - в окопах, где кругом рвутся снаряды, день и ночь ни минуты отдыха! Бум! Бум! Бум! О, эти окопы! Нет, там не так свободно, как вы думаете.

- Всякий из нас в каком-то плену, - сказал с горечью Лавенди. - Даже *mademoiselle*, и маленькая Чика, и даже ее кукла. У всякого своя тюрьма, *Барра*. *Monsieur Барра* - тоже художник, *mademoiselle*.

- *Moi?* {Я? (франц.)} - сказал *Барра*, подымая тяжелую волосатую руку. Я рисую грязь, осветительные ракеты, остовы лошадей... Я рисую ямы, воронки и воронки, проволоку, проволоку и проволоку, и воду - бесконечную мутную отвратительную воду. Я

рисую осколки и обнаженные людские души, и мертвые людские тела, и кошмары, кошмары - целые дни и целые ночи я рисую их мысленно, в голове! - Он вдруг замолчал и снова устался на ковер, подперев щетинистые щеки кулаками. - У них души белы как снег, у les camarades {Товарищей (франц.)}, - добавил он вдруг очень громко. - Миллионы бельгийцев, англичан, французов, даже немцев - у всех белые души. Я рисую эти души!

Ноэль бросило в дрожь, и она умоляюще посмотрела на Лавенди.

- Барра - большой художник, - сказал он так, словно солдата здесь и не было", - но он был на фронте, и это подействовало ему на голову. То, что он говорит, - правда. Там нет ненависти. Ненависть - здесь, и все мы в плену у нее, mademoiselle; остерегайтесь ненавистников - это яд!

Его жена протянула руку и коснулась плеча девочки.

- А почему бы нам не ненавидеть? - спросила она. - Кто убил отца Чики? Кто разнес ее дом в куски? Кто выгнал ее в эту страшную Англию? Pardon, mademoiselle {Извините, барышня (франц.)}, но она действительно страшна. Ah, les Boches! {Ах, эти немцы! (франц.)} Если бы моя ненависть могла их уничтожить, их не осталось бы ни одного. Даже муж не сходил так с ума по своей живописи, когда мы жили дома. А здесь... - Она снова метнула взгляд на мужа, потом испуганно отвела глаза. Ноэль видела, что губы художника дрогнули. Больная женщина затрепетала.

- Это мания, твоя живопись! - Она посмотрела на Ноэль с улыбкой. - Не хотите ли чаю, mademoiselle? Monsieur Барра, чашку чая?

Солдат сказал хрипло:

- Нет, madame; в траншеях у нас достаточно чая. Это нас утешает. Но когда мы выбираемся из траншей - давайте нам вина! Le bon vin, le bon petit vin! {Хорошего вина, хорошего доброго вина! (франц.)}

- Принеси нам вина, Пьер.

Ноэль видела по лицу художника, что вина нет, и скорее всего, нет и денег, чтобы купить его; но он быстро вышел. Она поднялась и сказала:

- Мне пора уходить, madame.

Мадам Лавенди подалась вперед и обняла ее за талию.

- Погодите немного, mademoiselle. Мы выпьем вина, а потом Пьер вас проводит. Вам ведь нельзя идти одной - вы такая красивая. Правда, она красивая, monsieur Барра?

- Что бы вы сказали, - заговорил солдат, подняв голову, - что бы вы сказали о бутылках вина, которые взрываются в воздухе? Взрываются красным и белым, весь день, всю ночь? Огромные стальные бутылки величиной с Чику; и осколки этих бутылок сносят людям головы? Бзум! Трах-тарарах! - и нет дома, и человек разлетелся на мелкие кусочки; и эти кусочки, такие мелкие, такие крохотные, взлетают в воздух и рассеиваются по земле. Там большие души, madame! Но я открою вам тайну, - он снова с натугой усмехнулся. - Там все немножко спятили! Самую малость, чуть-чуть, но спятили. Как часы, знаете ли, у которых лопнула пружина, и вы можете заводить их без конца. Вот это и есть открытие, которое принесла война, mademoiselle, - сказал он, впервые обращаясь к Ноэль. - Нельзя быть человеком большой души, пока малость не спятишь. - Он вдруг опустил свои маленькие серые свиные глазки и принял прежнюю позу.

- Вот это безумие я когда-нибудь и нарисую! - объявил он, обращаясь к ковру. - Нарисую, как оно прокрадывается в каждый крохотный уголок души каждого из этих миллионов людей; это безумие ползет отовсюду и отовсюду проглядывает, такое неожиданное, такое маленькое - когда вам кажется, что его давно уложили спать; а оно снова тут, именно тогда, когда вы меньше всего о нем думаете. Бегает взад и вперед как мышь с горящими глазами. Миллионы людей с белыми душами - все чуточку сумасшедшие. Великая тема, мне кажется, - веско добавил он.

Ноэль невольно приложила руку к сердцу, оно учащенно билось. Она чувствовала себя совсем больной.

- Долго ли вы пробыли на фронте, monsieur?

- Два года, mademoiselle. Пора возвращаться домой, писать картины, не правда ли? Но искусство... - Он пожал могучими плечами и содрогнулся всем своим медвежьим телом. - Все немножко спятили, - пробормотал он еще раз. - Я расскажу вам одну историю. Однажды зимой, после двухнедельного отпуска, я вернулся в траншеи ночью, и мне понадобилось немного земли, чтобы засыпать яму в том месте, где я спал. После того, как человек поспит в кровати, ему везде

неудобно. Так вот я стал снимать лопатой землю с бруствера окопа и нашел там довольно забавную вещь. Я чиркнул зажигалку и увидел: это была голова боша, совершенно замерзшая, землистая и мертвая, бело-зеленая при свете зажигалки.

- О, не может быть!

- Увы, да, mademoiselle; это правда, как то, что я сижу здесь. Это весьма полезно - мертвый бош в бруствере. Когда-то он был такой же человек, как я сам. Но когда наступило утро, я не мог на него смотреть; мы его вырыли и похоронили, а яму забросали всяким мусором. До этого я стоял ночью на посту, и его лицо было совсем близко от меня, - вот так! - Он протянул пухлую руку. - Мы разговаривали о наших семьях; у него была душа, у этого человека. Il me disait des choses {Он мне рассказывал (франц.).} о том, как он страдал; и я тоже рассказывал ему о своих страданиях... Господи боже, мы все узнали! Мы больше никогда не узнаем ничего сверх того, что узнали там, потому что мы сошли с ума - самую малость. Все мы чуточку сумасшедшие. Когда вы встречаете нас на улицах, mademoiselle, помните об этом. - И он снова опустил голову и подпер щеки кулаками.

В комнате воцарилась тишина - какая-то странная, всепоглощающая. Маленькая девочка баюкала куклу, солдат смотрел в пол, у жены художника судорожно подергивался рот, а Ноэль думала только о том, как бы уйти отсюда: "Разве я не могу встать и сбежать по лестнице?" Но она продолжала сидеть, загипнотизированная этой тишиной, пока не появился Лавенди с бутылкой и четырьмя стаканами.

- Выпьем за наше здоровье и пожелаем себе счастья, mademoiselle, сказал он.

Ноэль подняла стакан, который он ей подал.

- Я всем вам желаю счастья.

- И вам, mademoiselle, - пробормотали мужчины. Она отпила немного и встала с места.

- А теперь, mademoiselle, - сказал Лавенди, - если вам надо идти, я провожу вас до дому.

Ноэль протянула руку мадам Лавенди; рука была холодная и не ответила на ее пожатие; как и в прошлый раз, у женщины были остекленевшие глаза. Солдат поставил пустой стакан на пол и

разглядывал его, забыв о Ноэль. Она поспешно направилась к двери; последнее, что она увидела, была девочка, баюкавшая куклу.

На улице художник сразу же торопливо заговорил по-французски:

- Мне не следовало приглашать вас, mademoiselle, я не знал, что наш друг Барра у нас в гостях. Кроме того, моя жена не умеет принимать леди; vous voyez, qu'il y a de la manie dans cette pauvre tete {Вы понимаете, что в ее бедной голове не все в порядке (франц.)}. Не надо было вас звать; но я так несчастен.

- О! - прошептала Ноэль. - Я понимаю.

- На родине у нее были свои интересы, а в этом огромном городе она только тем и занята, что настраивает себя против меня. Ах, эта война! Мне кажется, что все мы как будто в желудке огромного удава. Мы лежим там и нас переваривают. Даже в окопах чувствуешь себя лучше в каком-то отношении; там люди выше ненависти: они достигли высоты, до которой нам далеко. Просто удивительно, как они все еще стоят за то, чтобы война продолжалась до полной победы над бошами; это забавно, и это очень значительно. Говорил вам Барра, что, когда они вернутся домой - все эти вояки, они возьмут власть в свои руки и устроят по-другому будущее мира? Только этого не будет. Они растворятся в жизни, их разъединят, распылят, и в конце концов ими будут править те, кто и не видел войны. Язык и перо будут управлять ими.

- О! - воскликнула Ноэль. - Но ведь они тогда будут самыми храбрыми и самыми сильными!

Художник улыбнулся.

- В войну люди становятся проще, - сказал он, - элементарнее; а мирная жизнь не проста, не элементарна, она тонка, полна сложных перемен, и человек должен к ней приспособливаться; хитрец, ловкач, умеющий приспособиться, вот кто всегда будет править в мирное время. Вера этих храбрых солдат в то, что будущее за ними, конечно, очень трогательна.

- Он сказал странную вещь, - пробормотала Ноэль. - Он сказал, что все они немного сумасшедшие.

- Барра - человек гениальный, но странный; вы бы видели его ранние картины. Сумасшедшие - это не совсем то слово, но что-то действительно сломалось в них и что-то действительно как бы

тарахтит; они потеряли ощущение соразмерности вещей, их все время толкают в одном направлении. Я говорю вам, mademoiselle, эта война - гигантский дом принудительных работ; каждое живое растение заставляют расти слишком быстро, каждое качество, каждую страсть - ненависть и любовь, нетерпимость и похоть, скупость, храбрость и энергию, да, конечно, и самопожертвование - все ускоряют, и это ускорение выходит за пределы человеческих сил, за пределы естественного течения соков, ускоряют до того, что вырастает роскошный дикий плод, а потом - трах! Presto! {Быстро! (итал.).} Наступает перемена, и эти растения вянут, гниют и издают зловоние. Те, кто видит жизнь в формах искусства, единственные, кто понимает это; а нас так мало. Утеряны естественные очертания вещей, кровавый туман стоит перед глазами каждого. Люди боятся быть справедливыми. Посмотрите, как мы ненавидим не только наших врагов, но и любого, кто отличается чем-нибудь от нас! Посмотрите на эти улицы, видите, как стремятся куда-то мужчины и женщины, как Венера царит в этом доме принудительных работ. Так разве не естественно, что молодежь жаждет наслаждения, любви, брака перед тем, как пойти на смерть?

Ноэль уставилась на него. "Верно, - подумала она, - ведь и я... тоже".

- Да, - сказала она, - я знаю, это правда, потому что и сама тоже поторопилась. Мне хочется, чтобы вы это знали. Мы не могли пожениться: у нас не было времени. А его убили. Но сын его жив. Вот почему я и уезжала отсюда надолго. Я хочу, чтобы это знали все. - Она говорила очень спокойно, но щеки ее горели.

Художник как-то странно вскинул руки, словно в них ударил электрический ток, но потом сдержанно сказал:

- Я глубоко уважаю вас, mademoiselle, и весьма вам сочувствую. А как отнесся к этому ваш отец?

- Для него это ужасный удар.

- Ах, mademoiselle, - мягко сказал художник, - я в этом не уверен. Возможно, ваш отец не так уж страдает. Может быть, ваша беда не так уж и огорчает его. Он живет в каком-то особом мире. В этом, я думаю, и заключается его подлинная трагедия: он живет, но не так, чтобы по-настоящему чувствовать жизнь. Вы знаете, что говорил Анатоль Франс об одной старой женщине: "Elle vivait, mais si peu" {"Она жила,

но так мало" (франц.).}. Разве это не подходит к церкви нашего времени: "Elle vivait, mais si peu"? Мистер Пирсон такой, каким вы видите красивый темный шпиль в ночном небе, но не видите, как и чем этот шпиль связан с землей. Он не знает и никогда не захочет знать Жизнь.

Ноэль смотрела на него во все глаза.

- А что вы понимаете под Жизнью, monsieur? Я много читаю о Жизни, и люди говорят, что они знают Жизнь, а что она такое? Где она? Я никогда не видела ничего, что можно назвать Жизнью.

Художник усмехнулся.

- "Знают Жизнь"! - сказал он. - О, "знать жизнь" это совсем не то; наслаждаться жизнью - вот о чем идет речь! Мой собственный опыт учит меня: когда люди говорят, что "знают жизнь", они ей не рады. Понимаете, вот так бывает с человеком, у которого большая жажда, - он пьет и пьет и все равно не может утолить жажду. Есть места, где люди могут "узнать жизнь", как они это называют; но пользоваться радостями жизни могут в таких местах лишь болтуны, вроде меня, когда они собираются побеседовать за чашкой кофе. Возможно, в вашем возрасте это бывает иначе.

Ноэль сжала руки, и глаза ее, казалось, сияли в ночном мраке.

- Я хочу музыки, хочу танцев и света, красивых вещей и красивых лиц! Но ничего этого у меня никогда не было.

- Но этого нет в Лондоне да и в любом другом городе - нет вообще такого места, которое давало бы вам все это. Фокстроты и регтаймы, румяна и пудра, яркие огни, развязные полупьяные юноши, женщины с накрашенными губами этого вдоволь. Но подлинного ритма, красоты и очарования нет нигде! Когда я был моложе, в Брюсселе, я повидал эту так называемую "жизнь"; все прекрасное, что только есть, было испорчено. От всего пахло тленом. Вы, конечно, можете улыбаться. Но я знаю, о чем говорю, mademoiselle. Счастье никогда не приходит, когда его ищут. Красота - в природе и в подлинном искусстве, а не в этом фальшивом глупом притворстве... Но вот мы дошли с вами до того дома, где собираемся мы, бельгийцы; может быть, вы хотите убедиться в том, что я сказал вам правду?

- О, да!

- Tres bien! {Отлично! (франц.).} Тогда войдем?

Они прошли через вращающуюся дверь с маленькими стеклянными секторами, и она вытолкнула их в ярко освещенный коридор. Пройдя его, художник взглянул на Ноэль и как будто заколебался. Потом повернул назад от зала, в который хотел было войти, и подошел к другому, справа. Зал был небольшой, всюду позолота и бархат, мраморные столики, за которыми сидели пары: молодые люди в хаки и пожилые мужчины в штатском с молодыми женщинами. Ноэль разглядывала этих женщин, одну за другой, пока они с художником пробирались к свободному столику. Она заметила, что некоторые были красивы, а некоторые только старались казаться красивыми; все были густо напудрены, с подведенными глазами и накрашенными губами; ей даже почудилось, что ее собственное лицо какое-то голое. Наверху, на галерее играл маленький оркестр; звучала мелодия незатейливой песенки; гул разговоров и взрывы смеха просто оглушали.

- Что вам предложить, mademoiselle? - спросил художник. - Сейчас как раз девять часов, надо поскорее заказать.

- Можно мне вон тот зеленый напиток?

- Два коктейля-крем с мятой, - сказал Лавенди официанту. Ноэль слишком была погружена в себя, чтобы заметить горькую усмешку, пробежавшую по его лицу. Она все еще внимательно изучала лица женщин, взгляды которых, уклончивые, холодные, любопытствующие, были прикованы к ней; она смотрела и на лица мужчин - у них глаза бегали, были воспалены и словно от чего-то прятались.

- Интересно, бывал ли папа когда-либо в таких местах? - проговорила Ноэль, поднося бокал с зеленой жидкостью к губам. - Это вкусно? Пахнет мятой.

- Красивый цвет. За ваше счастье, mademoiselle! - И он чокнулся с ней.

Ноэль выпила немного, оставила бокал, потом еще выпила.

- Очень вкусное, но страшно липкое. У вас нет сигареты?

- Des cigarettes! - сказал Лавенди официанту. - Et deux cafes noirs {Сигареты! И два черных кофе (франц.)}. Так вот, mademoiselle, - продолжал он, когда принесли кофе. - Представим себе, что мы выпили каждый по бутылке вина - и вот мы уже на подступах к тому, что именуется Пороком. Забавно, не правда ли? - Он пожал плечами.

Его лицо поразило Ноэль: внезапно оно стало тусклым и угрюмым.

- Не сердитесь, *monsieur*, это все так ново для меня, понимаете?

Художник улыбнулся своей ясной, рассеянной улыбкой.

- Простите, я забылся. Но мне больно видеть красоту в подобном месте. Она ведь не вяжется и с этой музыкой, и с голосами, и с лицами. Развлекайтесь, *mademoiselle*, вливайте все это. Взгляните, как эти люди смотрят друг на друга; сколько любви сияет в их глазах! Жалко, что мы не можем слышать, о чем они говорят. Поверьте мне, их речи невероятно утончены и *tres spirituels!* {Возвышенны! (франц.).} Эти молодые женщины "вносят свою лепту", как принято говорить; они доставляют *le plaisir* {Удовольствие (франц.).} тем, кто служит родине. Есть, пить, любить, ибо завтра мы умрем! Кому дело до того, как прост и прекрасен мир! Храм духа пуст.

Он украдкой посмотрел на нее, словно хотел заглянуть в ее душу. Ноэль встала.

- Мне пора идти, *monsieur*.

Он помог ей надеть шубку, расплатился, и они снова, медленно пробираясь среди маленьких столиков, пошли к выходу, оставляя позади гул голосов, смех и табачный дым; оркестр заиграл еще какую-то пустую и звонкую мелодию.

- А вон там, - проговорил художник, показывая на дверь другого зала, они танцуют. Так оно и идет. Лондон военного времени! Впрочем, в любом большом городе вы увидите то же самое. Вы довольны, что повидали "жизнь", *mademoiselle*?

- Я думаю, что надо танцевать, быть счастливой... Это сюда ходят ваши друзья?

- О, нет! Они собираются в более простом зале, играют в домино, пьют кофе и беседуют. Они не могут сорить деньгами.

- А почему вы мне их не показали?

- *Mademoiselle*, в том зале вы, возможно, увидели бы кого-нибудь, с кем вам пришлось бы встретиться снова; а там, где мы побывали, вы были в безопасности, по крайней мере я надеюсь, что так.

Ноэль пожала плечами. - Я думаю, теперь уж все равно, что я делаю.

И вдруг на нее нахлынула волна воспоминаний: лунная ночь, темное старое Аббатство, лес, река, - и у нее перехватило дыхание.

Две слезинки скатились по ее щекам.

- Я вспомнила кое о чем, - сказала она глухо. - Это ничего.

- Дорогая mademoiselle! - пробормотал Лавенди.

Всю дорогу до ее дома он был молчалив и печален.

Пожимая ему руку у двери, она прошептала:

- Простите, что я вела себя глупо; и спасибо вам большое, monsieur. Спокойной ночи.

- Спокойной ночи, самых лучших снов. Скоро наступит хорошее время время Мира и Счастья. Оно снова придет на землю. Не вечно же будет существовать этот дом принудительных работ! Спокойной ночи, дорогая mademoiselle!

Ноэль поднялась наверх и осторожно заглянула в детскую. Горел ночник, нянька и ребенок крепко спали. Она на цыпочках прошла в свою комнату. Только теперь она поняла, как устала - так устала, что едва смогла раздеться. И в то же время она чувствовала себя какой-то необычно отдохнувшей, может быть, от такого неожиданного наплыва переживаний; Сирил и все прошлое навсегда уходили из ее жизни.

### ГЛАВА III

Первая встреча Ноэль с Общественным Мнением произошла на следующий день. Ребенка только что принесли с прогулки. Он спокойно спал, и Ноэль стала спускаться по лестнице. Вдруг чей-то голос донесся из передней.

- Как поживаете?

Она увидела одетого в хаки Адриана Лодера, помощника ее отца. Поколебавшись только секунду, она спустилась вниз и пожала ему руку. Это был довольно грузный молодой человек лет тридцати, с бледным лицом; ему не шла его форма цвета хаки с большим круглым белым воротником, застегнутым сзади; но одухотворенный взгляд смягчал впечатление от всей его фигуры: глаза его говорили о самых лучших в мире намерениях и о том, что он способен восхищаться красотой.

- Я не видал вас целую вечность, - сказал он, как-то неуверенно, следуя за ней в кабинет ее отца.

- Да, - ответила Ноэль. - А как там, на фронте?

- Ах, - сказал он. - Солдаты наши просто великолепны. - Глаза его засияли. - Но как приятно видеть вас снова!

- Разве?

Он, казалось, был озадачен этим вопросом; запинаясь, он проговорил:

- А я и не знал, что у вашей сестры родился ребенок. Прелестное дитя.

- У нее нет ребенка.

Лодер разинул рот. "Какой у него глупый вид!" - подумала она.

- О! - сказал он. - Значит, это приемыш - бельгиец или какой-либо другой?

- Нет, это мой, мой собственный. - Отвернувшись, она сняла кольцо с пальца.

Когда она взглянула на него снова, он все еще выглядел до крайности растерянным. Он смотрел на нее взглядом человека, в жизни которого подобные вещи не могут случиться.

- Что вы так на меня уставились? - сказала Ноэль. - Разве вы не понимаете? Это мой ребенок, мой. - Она вытянула левую руку. - Смотрите, кольца нет.

Он, заикаясь, выговорил:

- Послушайте... вы ведь не... вы ведь не можете...

- Что... не могу?

- Шутить... таким образом... Ведь правда же?

- Какие там шутки, если у тебя ребенок и ты не замужем!

Лодер вдруг весь съежился, словно рядом разорвался снаряд. Но затем, как и полагается в таких случаях, он сделал над собой усилие, выпрямился и сказал странным тоном - одновременно высокомерным и мягким:

- Я не пойму... Ведь не может же быть... Это ведь не...

- Это так и есть, - сказала Ноэль. - Если не верите мне, спросите у папы.

Он поднес руку к своему круглому воротнику; Ноэль пришла дикая мысль, что он собирается сорвать его, - она крикнула:

- Не надо!

- Вы? - пробормотал он. - Вы! Но...

Ноэль отвернулась от него и стала смотреть в окно, ничего не видя.

- Я не хочу этого скрывать, - сказала она, не оборачиваясь. - Я хочу, чтобы все знали. Это так глупо, так глупо! - Она топнула ногой. - Разве вы не видите, как это глупо, - каждый разевает рот от удивления!

Он вздохнул, и в этом вздохе было страдание. И вдруг она почувствовала настоящую боль раскаяния. Он ухватился за спинку стула; лицо его утратило торжественное выражение и слегка покраснело. У Ноэль было такое ощущение, словно ее уличили в предательстве. В его молчании, странном взгляде и каком-то безличном огорчении, которого не выразишь словами, было нечто более глубокое, чем просто неодобрение, - что-то, находившее отклик в ней самой. Она быстро прошла мимо него, поднялась к себе наверх и бросилась на кровать. Лодер ничего не значил для нее, суть была не в нем. Вся суть в ней самой, в этом впервые возникшем, остром и горьком ощущении, что она предала свою касту, утратила право считаться порядочной женщиной, изменила свойственной ей сдержанности и утонченности, заплатила черной неблагодарностью за всю любовь, которая была вложена в ее воспитание, вела себя как простая, выросшая без присмотра девчонка. Раньше она этого не понимала - даже тогда, когда Гретиана впервые узнала обо всем, и они, стоя по обе стороны камина, не могли говорить друг с другом. Тогда она еще вся была во власти глубокой скорби о погибшем, но это прошло, словно ничего никогда и не было. Она теперь беззащитна, ничто не ограждает ее от этого обрушившегося на нее унижения и горя. Да, она тогда сошла с ума! Наверное, сошла с ума! Этот бельгиец Барра прав: "Все немного сумасшедшие!" Все живут в "доме принудительных работ", созданном войной! Она так глубоко уткнулась лицом в подушку, что чуть было не задохнулась; голова, щеки, уши горели, как в огне. Если бы этот Лодер просто проявил отвращение, сказал бы что-нибудь, что могло вызвать в ней гнев, справедливое негодование, ощущение, что судьба была слишком жестока к ней; но он просто стоял - весь воплощение растерянности, как будто расставался с самыми заветными иллюзиями. Это было ужасно! Она не может больше жить здесь, должна куда-то уйти, бежать, спасаться от этого ощущения собственного предательства и измены. Ноэль вскочила. Внизу все было тихо, она прокралась по лестнице и вышла на улицу. Она быстро шагала вперед, не думая о том, куда идет. Инстинктивно она пошла по дороге, по которой ежедневно ходила в госпиталь.

Был конец апреля, деревья и кусты, одетые молодой листвой, уже стояли в цвету и благоухали; весело пробегали собаки; в ярком

солнечном свете лица людей казались счастливыми. "Если бы я могла уйти от самой себя, мне все стало бы безразличным", - подумала она. Легко уйти от людей, от Лондона, даже уехать из Англии; а от себя самой - невозможно! Она прошла мимо госпиталя, посмотрела затуманенным взглядом на флаг с красным крестом, поднятый над оштукатуренной стеной, на солдата в синем комбинезоне с красным галстуком, вышедшего из дверей. Много горьких часов провела она здесь, но не было у нее часа более горького, чем этот! Она миновала церковь и очутилась напротив того дома, где жила Лиля; тут она вдруг столкнулась с высоким человеком, заворачивавшим за угол. Это был Форт. Она опустила голову и попыталась было незаметно улизнуть. Но он уже протянул руку, и ей ничего не оставалось, как поздороваться с ним. Холодно глядя на него, она спросила:

- Вы все знаете обо мне, да?

Его лицо, обычно такое открытое, вдруг замкнулось, как будто он вот-вот должен был взять барьер на лошади. "Сейчас он солжет!" - с горечью подумала она. Но он не солгал.

- Да, Лила говорила мне.

"Сейчас он постарается притвориться, - снова мелькнула у нее мысль, что не находит в этом ничего непристойного".

- Я восхищаюсь вашим мужеством! - сказал он.

- У меня нет никакого мужества.

- Мы ведь никогда не знаем сами себя, не так ли? Может быть, вы пройдетесь со мной немного? Я иду в том же направлении.

- А я не знаю, в каком направлении иду. - И я тоже.

Они молча пошли рядом.

- Я молю бога только о том, чтобы снова очутиться во Франции, отрывисто сказал Форт. - Здесь не чувствуешь себя чистым человеком.

Сердце Ноэль взыграло.

"О да! Уехать, уйти от самой себя!" Но тут же она подумала о ребенке и снова упала духом.

- А как ваша нога, совсем безнадежна? - спросила она.

- Совсем.

- Это, наверно, ужасно.

- Сотни тысяч людей считают, что это большая удача; и верно: хоть калека, да жив! Так и я думаю, несмотря на всю скуку жизни.

- Как чувствует себя кузина Лила?

- Очень хорошо. Она так старается в своем госпитале, просто удивительно. - Говоря это, Форт не смотрел на нее; молчание длилось, пока он не остановился у Лордс-Крикет-граунд.

- Я не хочу вас заставлять тащиться со мной.

- О, это ничего!

- Я хочу только сказать, что если могу служить вам когда-либо и в какой-либо форме, пожалуйста, приказывайте.

Он снял шляпу и пожал ей руку. Ноэль пошла дальше. Этот короткий разговор с недомолвками только обострил ее беспокойство; и все-таки в каком-то смысле он смягчил боль в ее сердце. Как бы то ни было, но капитан Форт не презирает ее; у него тоже неприятности, как и у нее самой. Она чувствовала это и по выражению его лица и по тону, когда он говорил о Лиле. Она ускорила шаг. Вдруг ей вспомнились слова Джорджа: "Если тебе самой не стыдно за себя, то другие не будут тебя стыдиться". Легко сказать! Потом она вспомнила давние времена, школу, танцы для подростков, на которые она ходила, - все тогда казалось счастьем. Прошло! Все прошло!

Но встречи Ноэль с Общественным Мнением еще не кончились в этот день; дойдя наконец до своего дома, измученная трехчасовым скитанием, она встретила пожилую даму, которую она и Грэтиана знали еще в детстве. Это была красивая женщина, вдова одного чиновника; она проводила дни в полезной деятельности и не обнаруживала ни малейшего признака старения. С ней была ее дочь, жена убитого на Марне офицера, и обе встретили Ноэль целым градом сердечных расспросов. Значит, она вернулась из деревни и теперь совсем здорова? Она работает в госпитале? А как себя чувствует ее дорогой отец? Он так похудел и устал. Но теперь ведь и Грэтиана с ним. Как ужасно, что война разделяет мужей и жен! А чей это милый маленький ребеночек, который сейчас у них в доме?

- Мой, - сказала Ноэль и прошла мимо них, высоко подняв голову. Она почувствовала, как обижены, удивлены, озадачены эти очень доброжелательные дамы, которых она оставила на мостовой. Она представляла себе, как они возьмут друг друга под руку, потом пойдут дальше, может быть, молча, и, только завернув за угол, начнут удивляться: "Что такое с Ноэль? Что она сказала?"

Она вынула из кармана золотое колечко и изо всей силы швырнула его за ограду Сквер-Гарден. Это спасло ее от нервного

припадка, и в дом она вошла спокойная. Завтракать давно кончили, но отец еще не уходил - он встретил ее в прихожей и повел в столовую.

- Тебе надо поесть, дитя мое, - сказал он.

И пока она поспешно ела то, что он велел оставить для нее, он стоял у камина в своей излюбленной позе: нога на решетке, рука на каминной доске.

- Я исполнила твое желание, отец, - сказала она глухо. - Теперь все знают. Я сказала мистеру Лодеру, и художнику, и Диннафордам.

Она увидела, как он разжал пальцы, а затем снова вцепился в каминную доску.

- Я рад, - сказал он.

- Тетя Тэрза дала мне кольцо, но я его выбросила.

- Мое дорогое дитя, - начал он, но не мог продолжать - так у него дрожали губы.

- Я хочу еще раз сказать, папа, что я страшно жалею тебя. И я действительно себя стыжусь; раньше мне казалось, что не стыжусь, а теперь да; но я думаю, что все это жестоко, и я ни в чем не каюсь перед богом; и ни к чему заставлять меня каяться.

Пирсон повернулся и поглядел на нее. Еще долгое время этот взгляд не мог изгладиться из ее памяти.

После того, как Джимми Форт распрощался с Ноэль, он почувствовал себя совсем несчастным. С того дня, как Лила рассказала ему о беде этой девушки, он все больше убеждался, что в его отношениях с Лилой нет достойной основы, что их связь держится только на жалости. Однажды, чувствуя угрызения совести, он предложил Лиле выйти за него замуж. Она отказала. Это вызвало в нем еще большее уважение к ней; голос ее так дрожал, и выражение глаз было такое, что он понял: она отказала ему не потому, что мало его любит, а потому, что сомневается в его чувстве к ней. Да, у этой женщины был большой жизненный опыт!

Сегодня он собирался в обеденный перерыв принести ей цветы и оставить записку, что не сможет прийти вечером. Отперев дверь своим ключом, он принес воды из спальни и заботливо поставил японские азалии в вазу марки "Семейство Роз". Потом сел на диван и подпер голову руками.

Он много скитался по свету, но мало сталкивался с женщинами. В нем ничего не было от француза, который берет то, что ему

преподносит жизнь, пользуется этим в полное свое удовольствие, а затем легко примиряется с тем, что подобные любовные приключения кончаются весьма быстро. Связь с Лилой еще доставляла ему удовольствие, но уже переставала быть удовольствием; однако это не означало конца и не освобождало его. Какой-то смутный, но глубокий инстинкт подсказывал ему, что надо притворяться влюбленным до тех пор, пока он не надоеет ей. Он сидел и старался припомнить хоть какой-нибудь, пусть самый маленький признак того, что она охладела к нему, - и не мог. Наоборот, он с горечью подумал, что если бы он действительно ее любил, то она, вероятно, сейчас уже охладела бы к нему, ибо для нее он все еще оставался незавоеванным, несмотря на самые честные старания казаться завоеванным. Он совершил роковую ошибку в тот вечер, после концерта в Куин-Холле, когда поддался смешанному чувству желания и жалости.

Распрощавшись с Ноэль, он еще острее почувствовал, какую совершил глупость. Ну разве это не глупость - пойти к Лиле в тот самый вечер, когда там была эта девочка? А может быть, смутное, едва уловимое сходство между ними толкнуло его переступить через эту грань? "Я был ослом, - подумал он. Страшным ослом". Он отдал бы любой час, проведенный с Лилой, за одну только улыбку этой девушки.

Неожиданная встреча с Ноэль после многих месяцев, когда он честно старался забыть о ее существовании, но не преуспел в этом, заставила его почувствовать особенно ясно, что он полюбил ее; полюбил так сильно, что сама мысль о Лиле становилась неприятной. И все-таки чувство джентльмена запрещало ему выдать эту свою тайну любой из них. Проклятое положение! Он взял такси, потому что опаздывал; всю дорогу в военное министерство он видел перед собой девушку, ее лицо, короткие кудряшки. Страшное искушение одолевало его. Разве она недостойна рыцарского поклонения, сочувствия? Разве у него нет права посвятить себя ее защите, когда она попала в такое ужасное положение? Лиля прожила свою жизнь; а жизнь этого ребенка, несомненно исковерканная, все-таки впереди. Внезапно он почувствовал глубокое отвращение к самому себе и насмешливо улыбнулся. Все это иезуитство! Нет, не рыцарское сочувствие движет им сейчас, а любовь! Любовь! Любовь к недостижимому!

С тяжелым сердцем он вошел в огромное здание, где в маленькой комнате с телефоном, окруженный грудями бумаги, исписанной цифрами, он коротал свои дни. Война все превратила в какую-то безнадежную пустыню. Удивительно ли, что он хватался за любое развлечение, которое только может встретиться, хватался, пока его не захватило и не унесло самого!

#### ГЛАВА IV

Узнать худшее о своих ближних - это лишь вопрос времени. Но если "худшее", как в данном случае, связано с уважаемой семьей, обладающей таким же авторитетом и репутацией, как сама церковь, то обнаружить это худшее можно, только преодолев многие препоны: невероятность самого факта; искреннее уважение к этой семье; инстинкт самозащиты тех, кто тесно связан с церковью и для кого умаление авторитета церкви означало бы умаление их собственного авторитета; слишком уж явный скандал, чтобы в него можно было сразу поверить; да и мало ли какие еще препоны должны быть преодолены! Для Диннофордов то, что сказала Ноэль, было слишком уж сенсационно, и это могло бы их заставить молчать просто из самосохранения; но все-таки чудовищность этой новости привела их к мысли, что здесь может быть какая-то ошибка, что девушкой вдруг овладело дикое желание подтрунить над ними, как сказал бы их дорогой Чарли. И в надежде на то, что эта точка зрения будет подтверждена, они подстерегли старую няньку, когда та выносила ребенка, и тут же получили от нее очень краткий ответ:

- О да! Ребенок - мисс Ноэль. Ее муж убит, бедный мальчик!

И тут они были вознаграждены. Ведь они так и думали, что вышла какая-то ошибка! Каким облегчением было для них услышать это слово "муж"! Разумеется, это один из тех поспешных военных браков, которых, правда, не одобряет наш дорогой викарий, но потому-то и держат все в секрете. Вполне понятно, но очень печально! Однако оставалось еще много неясного, и они не торопились выразить сочувствие дорогому викарию, но в то же время не считали возможным опровергать всякие слухи, которые уже доносились до их ушей. Кроме того, их друг мистер Кэртис однажды заявил совершенно определенно: "Она ведь не носит обручального кольца. Я могу поклясться в этом, потому что очень внимательно смотрел на ее руку!" Наконец они решились спросить мистера Лодера.

Он-то должен знать, просто обязан; и он не станет придумывать никаких историй. Они спросили Лодера, и тут же стало ясно, что он знает. Они даже пожалели, что задали этот вопрос, - бедный молодой человек сразу же покраснел, как помидор.

- Я предпочитаю не отвечать, - сказал он.

После этого краткого интервью все почувствовали себя крайне неловко. Впрочем, некоторая неловкость начала ощущаться среди постоянных прихожан церкви Пирсона еще за несколько недель до возвращения Нолли в Лондон. Было, например, замечено, что ни одна из сестер не посещает богослужений. Прихожане, которые надеялись увидеть в церкви Ноэль, были разочарованы: она так и не появлялась. Теперь это объясняли тем, что ей совестно показаться на глаза людям. А что касается Гретианы, то ей, разумеется, тоже стыдно. Отмечалось также, что викарий очень мрачен и сильно похудел, - это очень заметно. Когда слухи превратились в уверенность, отношение прихожан к Пирсону стало меняться: к сочувствию все больше примешивалось осуждение. Во всем этом случае было нечто, вызывающее у англичан особую неприязнь. Само появление Пирсона на кафедре по воскресеньям вызывало осуждение - словно он выставлял напоказ всю греховность и недостойность поведения дочери, - это было вопиющим свидетельством того, что церковь не способна надлежащим образом руководить своей паствой! Если человек не смог наставить на путь истинный собственную дочь, то как же он может наставлять других! Убрать его! И хотя слово еще не было сказано, об этом уже начинали подумывать. Он ведь так долго был с ними и так много потратил своих средств на церковь и на приход; его кротость и мечтательная задумчивость были приятны всем. Он был джентльменом, помогал многим прихожанам; и хотя его пристрастие к музыке и пышным облачениям вызывало у некоторых досаду, однако все это придавало больше благолепия их храму. Во всяком случае женщины всегда радовались тому, что церковь, в которую они ходят, способна переманить женщин из других церквей. Кроме того, шла война, и упадок нравственности, который и в мирное время был весьма ощутим, сейчас не так уж осуждался; людям было не до того: их больше беспокоил недостаток продовольствия и воздушные налеты. Конечно, так дальше не может продолжаться в приходе; но пока все оставалось по-прежнему.

Человек, о котором идут какие-то слухи, всегда узнает о них последним; до Пирсона не доходило ничего такого, что могло бы задеть его. Он делал свое обычное дело, и порядок его жизни не менялся. Но какая-то перемена в нем самом все же произошла, тайная и едва уловимая. Сам раненный почти смертельно, он чувствовал себя так, будто окружен тяжелоранеными. Но прошло еще несколько недель, прежде чем случилось нечто, вызвавшее в нем гнев и желание дать отпор. Однажды довольно незначительное проявление людской жестокости потрясло его до глубины души. Он возвращался домой после длительного обхода прихожан; повернув в сторону Олд-сквер, он услышал, как кто-то позади него крикнул:

- Сколько стоит ублюдок?

Словно от мучительной боли у него перехватило дыхание. Он обернулся и увидел двух нескладных подростков, удиравших со всех ног; в приступе гнева, он бросился вслед за ними, схватил каждого за плечи и резко повернул к себе лицом; мальчишки даже рты разинули от страха. Тряся их изо всей силы, он спрашивал:

- Как вы посмели? Как вы посмели сказать... это слово?

Его лицо и голос, должно быть, были страшны; видя ужас на их лицах, он внезапно понял, что сам совершает насилие, и отпустил их. В две секунды мальчишки очутились возле угла. На мгновение они остановились; один из них крикнул: "Дедушка!" - и оба тут же исчезли. У него тряслись губы и руки; он почувствовал слабость и полную опустошенность - чего с ним в жизни не случалось, - это было состояние человека, только что поддавшегося жажде убийства! Он перешел улицу и прислонился к решетке. "Боже, прости меня! думал он. - Я ведь мог убить их... Я ведь мог убить их!" Это бес вселился в него! Если бы ему попалось что-нибудь под руку, он был бы сейчас убийцей. Как это прискорбно! Ведь крикнул только один мальчишка, а он мог убить обоих! Кроме того, это была правда, это слово на устах у всех - на устах этих невежественных, простых людей, его повторяют изо дня в день. И сказано оно о ребенке его собственной дочери. Мысль эта ужаснула его, поразила в самое сердце, и он, скорчившись, как от боли, ухватился за решетку, словно хотел согнуть ее.

С того дня он стал понимать, что люди начинают отвергать его, и эта мысль уже всецело завладела им. Он все острее и реальнее чувствовал, что его отождествляют с Ноэль и ее малышом; желание

защитить их становилось все более страстным. Ему казалось, что вокруг него и Ноэль люди все время перешептываются, что на них уставились указующие персты, что недоброжелательство прихожан все возрастает; это было невыносимо. Он стал понимать и другую, более глубоко скрытую истину. Дыхание злословия легко разрушает авторитет и репутацию человека, который обладает ими благодаря своему сану. Как это бессмысленно - чувствовать себя безупречным и в то же время знать, что другие считают тебя запятнанным!

Он старался как можно чаще бывать вместе с Ноэль. Иногда по вечерам они выходили прогуляться, но никогда не заговаривали о том, что лежало у них на душе. Между шестью и восемью Ноэль позировала Лавенди в гостиной; время от времени Пирсон приходил туда, чтобы поиграть им. Теперь он был буквально одержим мыслью, что для Ноэль общество любого мужчины опасно. Раза три заходил после обеда Джимми Форт. Он почти не разговаривал, и было непонятно, зачем он появлялся. Это новое чувство - опасение за дочь - заставляло Пирсона быть наблюдательнее, и он заметил, что Форт не спускает глаз с Ноэль. "Он восхищен ею", - размышлял он, все упорнее пытаясь понять характер этого человека, который прожил всю жизнь бродягой. "А такой ли он... тот ли он человек, которому я доверил бы Нолли? - иногда думалось ему. - Мне хотелось бы надеяться, что какой-нибудь хороший человек женится на ней, на моей маленькой Нолли, которая еще так недавно была ребенком!" В это печальное и трудное время гостиная Лилы была для него прибежищем. Он часто заходил к ней на полчаса, когда она возвращалась из госпиталя. Эта маленькая комната с черными стенами, с японскими гравюрами и цветами успокаивала его. Успокоительно действовала на него и сама Лила - в своем святом неведении он и не подозревал о ее последнем увлечении, хотя чувствовал, что она не очень счастлива. Наблюдать, как она расставляет цветы, слушать ее французские песенки, видеть ее рядом с собой, разговаривать с ней было его единственной отрадой в эти дни. А Лила глядела на него и думала: "Бедный Эдвард! Он никогда не жил, а теперь уже и не будет!" Временами у нее мелькала мысль: "А может быть, ему можно позавидовать? Он по крайней мере не переживает того, что переживаю я. И зачем только я снова

полюбила?" Как правило, они не говорили о Ноэль; но однажды Лила высказалась откровенно:

- Большая ошибка, что ты заставил Ноэль вернуться в Лондон, Эдвард. Это - донкихотство. Будет еще счастьем, если ей не придется серьезно страдать. У нее неустойчивый характер; в один прекрасный день она со свойственной ей опрометчивостью может что-нибудь натворить. И, уверяю тебя, она скорее натворит бед, когда увидит, что люди плохо относятся именно к тебе, а не к ней. Я бы отправила ее обратно в Кестрель, пока не случилось худшее.

- Я не могу поступить так, Лила. Мы должны переживать все это вместе.

- Ты ошибаешься, Эдвард. Надо принимать вещи такими, какие они есть.

Пирсон ответил с тяжелым вздохом;

- Мне хотелось бы знать ее будущее. Ноэль так привлекательна и так беззащитна. Она потеряла веру, веру во все, что приличествует хорошей женщине. В тот день, когда она вернулась домой, она сама сказала мне, что стыдится своего поступка. Но с тех пор я больше ничего от нее не слышал. Она слишком горда - моя бедная маленькая Нолли. Я вижу, как мужчины восхищаются ею. Наш бельгийский друг пишет ее портрет. Он хороший человек; но он любит ее, и это не удивительно. А также твой друг капитан Форт. Говорят, что отцы слепы. Но иногда они видят довольно ясно.

Лила встала и опустила шторы.

- Солнце! - объяснила она. - А часто у вас бывает Джимми Форт?

- О, нет, очень редко. Но все-таки я вижу это. "Слеп, как филин, да еще болтун!" - подумала Лила о Пирсоне. - ...Вижу! Ты не видишь даже того, что происходит у тебя под носом!"

- Я думаю, он жалеет ее, - сказала она дрогнувшим голосом.

- Почему ему жалеть ее? Он ведь ничего не знает.

- Нет, знает! Я рассказала ему.

- Ты рассказала?!

- Да, - упрямо подтвердила она. - И поэтому он жалеет ее.

Но и теперь "этот монах", сидящий рядом с ней, ничего не понимал и продолжал нести свое.

- Нет, нет! Тут не только жалость. Я вижу, как он смотрит на нее, и знаю, что не ошибаюсь. Я хочу спросить тебя: что думаешь об этом

ты, Лила? Ведь он слишком стар для нее; но, кажется, он благородный и добрый человек?

- О, самый благородный, самый добрый! - Она зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться горьким смехом.

Этот человек, который ничего не видит, смог заметить, какими глазами Форт смотрит на Ноэль, и даже увериться в том, что он влюблен в нее! Как же ясно должны были говорить эти глаза! Лила перестала владеть собою.

- Все это очень интересно, - заговорила она, подчеркивая слова, как это делала Ноэль. - Особенно, если принять во внимание, что Форт мне больше чем друг, Эдвард.

Она почувствовала некое удовлетворение, когда увидела, как он вздрогнул. "Ох, уж эти слепые филины!" - подумала она, страшно уязвленная тем, что Пирсон так легко сбрасывал ее со счетов. Но потом ей стало его жалко: его лицо словно окаменело и стало печальным. Отвернувшись, она продолжала:

- О! Мое сердце не будет разбито; я умею проигрывать, не поморщившись. Но я умею и бороться - и, может, не проиграю эту партию!

Сорвав ветку герани, она прижала ее к губам.

- Прости меня, - медленно проговорил Пирсон, - Я не знал. Я глуп. Я думал, что твоя любовь к этим бедным солдатам поглотила все другие чувства.

Лила резко засмеялась.

- А разве одно мешает другому? Ты никогда не слышал, что такое страсть, Эдвард? О! Не смотри на меня так. Ты думаешь, женщина в моем возрасте не может испытывать страсть? Так же, как всегда! Больше, чем всегда - потому что все ускользает от нее!

Она опустила руку с веткой, лепесток герани остался на губе, как пятнышко крови.

Что такое была твоя жизнь за эти годы? - продолжала она горячо. Подавление страсти, ничего больше! Вы, монахи, уродуете природу вашими святыми словами и пытаетесь за ними укрыть то, что видит любой простак. Ну что ж, я не подавляла своих страстей, Эдвард. Вот и все!

- Но была ли ты счастлива?

- Была; и, может быть, еще буду. Легкая улыбка искривила губы Пирсона.

- Еще будешь? - повторил он. - Надеюсь. Но на вещи можно смотреть по-разному, Лила.

- Ах, Эдвард! Не будь же таким добрым! Ты ведь, наверное, думаешь, что такая женщина, как я, не способна на настоящую любовь?

Он стоял перед нею, опустив голову; и она вдруг почувствовала, что хотя он и наивен и слеп, в нем есть то, чего ей не дано постигнуть. И она воскликнула:

- Я была груба с тобой, прости меня, Эдвард. Я так несчастна! - Один грек говорил: "Бог - это помощь людей друг другу". Это неверно, но красиво. До свидания, дорогая Лила, и не печалься!

Она пожала ему руку и отвернулась к окну.

Лила наблюдала за ним: вот он, в черном одеянии, облитый солнцем, пересек дорогу и завернул за угол у ограды церкви. Он шагал быстро и держался очень прямо; и все же в нем было что-то незрячее, это чувствовалось, даже когда плядишь ему вслед; а может быть, он и в самом деле видит какой-то другой мир?

Она никогда не отступала от того, что было внушено ей религиозным воспитанием еще в юности, и, несмотря на всю свою нетерпимость к взглядам Пирсона, считала его святым. Когда он исчез за углом, она пошла в спальню. То, что он сказал, не было для нее открытием. Она знала! Да! Она знала это! "Почему я не приняла предложение Джимми? Почему не вышла за него? А не слишком ли поздно? - думала она. - Могу ли я? Захочет ли он - даже сейчас?" Но она отбросила эту мысль. Выйти за него замуж! Зная, что сердце его принадлежит этой девушке!

Она долго разглядывала свое лицо в зеркало, с тревожным интересом изучая маленькие жесткие линии и морщинки, которые скрывались под легким слоем пудры. Она рассматривала искусно подкрашенные на висках волосы. Достаточно ли искусно, может ли это обмануть? Ей вдруг показалось, что все это бросается в глаза. Она пощупала и разгладила слегка обвисшую кожу на полной шее под подбородком. Потом выпрямилась и провела руками по всей фигуре, - нет ли уже дряблости или излишней полноты? И у нее возникла горькая мысль: "Я выхожу в тираж. Но делаю все, что могу, лишь бы

удержаться!" Строчки коротенького стихотворения, которые показывал ей Форт, зазвучали в ее голове:

Время, старый цыган!  
Пока не пришел твой срок,  
Пусть останется твой караван  
Хоть еще на один денек!

Ну что еще может она сделать? Джимми не любит, когда она красит губы. Она замечала, что он недоволен и всегда вытирает рот после поцелуя, когда ему кажется, что она не видит этого. "Незачем было красить губы, - подумала она. - Ведь у Ноэль губы не краснее моих. Но что же в ней лучше? Молодость вот что! Роса на траве!" Молодость не вечно длится; но достаточно долго, чтобы "прикончить" ее, Лилу, как выражаются солдаты. И вдруг она взбунтовалась против себя самой, против Форта, против этой холодной и туманной страны; ее охватила тоска по африканскому солнцу, по африканским цветам, по счастливой и беспечной жизни - когда живешь только одним днем, как в те пять лет, перед войной; тоска по Верхней Констанции в пору уборки винограда! Как много лет прошло с тех пор - десять, одиннадцать! Ах, если бы эти десять лет были еще впереди - и... вместе с ним! Десять лет на солнце. Он любил бы ее тогда и продолжал бы любить и сейчас. И она тоже не охладела бы к нему, как охладевала к другим. "Через полчаса, - подумала она, - он будет здесь; сядет напротив меня, и я увижу, как он борется с собой, стараясь быть нежным. Это слишком унижительно! Но все равно - я хочу его!"

Она стала рыться в шкафу, разыскивая какое-нибудь яркое платье или украшение, что-нибудь новое, что могло бы ей помочь. Но она уже испробовала все - все эти мелкие ухищрения, и все равно стоит перед крахом! И такое бессилие, такая невыносимая тоска овладели ею, что она даже не стала переодеваться. Не снимая формы сестры милосердия, она легла на диван и, пока девушка накрывала на стол для ужина, притворялась, будто дремлет. Она лежала неподвижно, угнетенная, угрюмая, - стараясь как-то собраться с силами, чувствуя, что если она хоть чем-нибудь обнаружит, что терпит поражение, то обязательно будет побеждена; она уже твердо знала, что его удерживает только жалость. Когда она услышала его шаги на лестнице, она быстро провела руками по щекам, словно для того, чтобы кровь отлила от них, и продолжала лежать так же тихо. Ей

хотелось казаться бледной - она и действительно была бледна, под глазами лежали темные круги, - так много она выстрадала за этот час. Сквозь опущенные ресницы она увидела, что он остановился и недоуменно посмотрел на нее. Спит или больна? Она не двигалась. Ей хотелось понаблюдать за ним. Он на цыпочках прошел по комнате и наклонился над ней, нахмутив брови. "Ах, милый друг, - подумала она, - как было бы тебе кстати, если бы я умерла!" Он еще ниже наклонился к ней; и вдруг она подумала: "А грациозна ли моя поза?" -и пожалела, что не переменяла платье. Она увидела, как он с озадаченным видом чуть-чуть пожал плечами. Он так и не заметил, что она притворяется спящей. Каким милым было его лицо - ничего низменного, ничего скрытого, грубого! Она открыла глаза - помимо ее воли, они выражали владевшее ею отчаяние. Он опустился на колени, поднес ее руку к губам и не отпускал ее.

- Джимми, - проговорила она мягко. - Тебе страшно скучно со мной? Бедный Джимми! Нет, не притворяйся. Я знаю, что говорю.

"О боже! Что это я сказала? - испугалась она. - Это рок, рок! Мне не следовало бы..."

Она обняла Форта и прижала его голову к груди. Инстинктивно почувствовав, что в эту минуту она победила, Лиля поднялась, поцеловала его в лоб, потянулась и засмеялась.

- Я спала. Мне что-то снилось. Снилось, что ты любишь меня. Забавно, правда? Пойдем ужинать, тут есть устрицы - последние в этом сезоне.

Весь вечер они словно стояли над пропастью, и оба были очень осторожны; боясь задеть чувства друг друга, они старались избегать всего, что могло бы привести к сцене. Лиля, не умолкая, говорила об Африке.

- Разве ты не тоскуешь по солнцу, Джимми? Разве мы... разве ты не мог бы поехать туда? Ах, когда будет конец этой несчастной войне? Все, что есть у нас здесь - все наше достояние, комфорт, традиции, искусство, музыку, все это я бы отдала за яркое солнце Африки. А ты?

Форт сказал, что он тоже отдал бы, хотя хорошо знал, что здесь у него есть нечто, чего он никогда не отдаст. И она тоже хорошо это знала.

Оба уже давно не были так веселы; но когда он ушел, она снова бросилась на диван и, зарыв голову в подушку, горько разрыдалась.

## ГЛАВА V

Пирсон возвращался домой не то что разочарованный, - тут было нечто другое. Возможно, он и сам не очень верил в перерождение Лилы. И теперь он только острее чувствовал все возрастающее беспокойство и свое одиночество. Он лишился уютного прибежища; какое-то тепло и очарование ушли из его жизни. Ему даже не пришло в голову, что его долг - постараться спасти Лилу, убедить ее выйти замуж за Форта. Он был слишком чувствительным человеком, слишком, так сказать, джентльменом по сравнению с более грубыми представителями протестантизма. Эта деликатность всегда была для него камнем преткновения в его профессии. Все те восемь лет, пока его жена была с ним, он чувствовал себя уверенным, более прямым и простым - и в этом помогали ее сочувствие, рассудительность, дружба. После ее смерти словно туман окутал его душу. Теперь не с кем поговорить откровенно и просто. Кто же станет разговаривать откровенно и просто со священником? Никто не убеждал его жениться снова и не доказывал, что оставаться вдовцом плохо для него и в физическом и в духовном смысле, что это будет тусклая, исковерканная жизнь. Но, живя в одиночестве, он не проявлял нетерпимости, не ожесточился, а скорее пребывал в какой-то полусонной мечтательности, в постоянном смутном и печальном томлении. Все эти годы воздержания он видел радость только в музыке, в путешествиях по сельским местам, в физических упражнениях, в самозабвенном упоении красотой природы; с тех пор как началась война, он только однажды уезжал из Лондона чтобы провести те три дня в Кестреле.

Он шел домой, беспокойно перебирая в уме всевозможные признаки того, что Форт влюблен в Ноэль. Сколько раз приходил он к ним, когда она вернулась? Только три раза - три вечерних визита. И он не оставался с ней наедине ни одной минуты! Пока на его дочь не свалилось это несчастье, Пирсон не замечал ничего предосудительного в поведении Форта; но теперь с обостренной настороженностью он замечал, как тот с обожанием смотрит на нее, улавливал особую мягкость в его голосе, когда он обращается к ней, а однажды перехватил его взгляд, полный страдания; он видел также, как Форт мрачнел, когда Ноэль уходила из комнаты. А сама она? Два раза он поймал ее на том, что она задумчиво и с интересом смотрела

на Форта, когда тот отворачивался. Пирсон вспомнил, как она, еще маленькой девочкой, вот так же присматривалась к кому-нибудь из взрослых, а затем крепко и надолго привязывалась к этому человеку. Да, он должен предостеречь ее, пока она не попала в ловушку. Целомудренный до крайности, Пирсон вдруг резко изменил свое отношение к Форту. Раньше он считал его просто свободомыслящим человеком; теперь же он казался ему воплощением той "свободы", которая граничит с беспутством. Бедная маленькая Нолли! Снова над нею висит угроза. Каждый мужчина, словно волк, готов вцепиться в нее!

Войдя в столовую, он застал там Лавенди и Ноэль, они стояли перед портретом, который художник уже заканчивал. Пирсон долго смотрел на полотно и затем отвернулся.

- Ты думаешь, я не похожа, папа?

- Похожа. Но портрет меня огорчает. Не могу сказать, почему.

Он увидел, как Лавенди улыбнулся, это была улыбка художника, чья картина подвергается критике.

- Может быть, вас не удовлетворяет колорит, *monsieur*?

- Нет, нет; это глубже.

Выражение лица! Чего она ждет?

Оборонительная улыбка угасла на лице Лавенди.

- Такой я ее вижу, *monsieur le cure!* {Господин священник! (франц.)}

Пирсон снова повернулся к портрету и вдруг прикрыл рукой глаза.

- Она похожа на фею, - сказал он и вышел из комнаты.

Лавенди и Ноэль смотрели во все глаза на портрет.

- Фея? Что это означает, *mademoiselle*?

- Одержимая. Или что-то в этом роде.

Они снова посмотрели на портрет, и Лавенди сказал:

- Мне кажется, что на этом ухе все еще слишком много света.

В тот же вечер, когда пришло время ложиться спать, Пирсон позвал к себе Ноэль.

- Нолли, я хотел бы сказать тебе кое-что. Капитан Форт, по существу, женат, хотя и не официально.

Он увидел, как она зарделась, и почувствовал, что краснеет и сам.

- Я знаю, - сказала она спокойно. - На Лиле.

- Значит, она тебе рассказала?

Ноэль покачала головой.

- Тогда каким же образом...

- Я догадалась. Папа, перестань считать меня ребенком! Какой теперь в этом смысл?

Он опустил в кресло перед камином и закрыл лицо руками. Плечи его и руки дрожали - она поняла, что он всячески борется с волнением и, может быть, даже плачет; сев к нему на колени, она прижала к себе его голову и прошептала:

- О папа, родной! О папа, родной!

Он обнял ее, и они долго молча сидели, прижавшись друг к другу.

## ГЛАВА VI

Следующим днем после этого молчаливого взрыва чувств было воскресенье. Повинуясь пробудившемуся накануне желанию быть с отцом как можно ласковее, Ноэль спросила:

- Хочешь, чтобы я пошла в церковь?

- Разумеется, Ноэлли!

Мог ли он ответить иначе? Для него церковь была прибежищем утешения и всепрощения; сюда люди идут со своими грехами и печалью, здесь спасение для грешников, источник милосердия и любви. Не верить этому после стольких лет значило бы полностью отрицать свою полезность в жизни, бросить тень на дом божий.

И Ноэль пошла с ним - Гретиана уехала на два дня к Джорджу. Она проскользнула в боковой придел на привычное место перед кафедрой. Там она сидела, не сводя глаз с алтаря и едва ли подозревая, какую сумятицу в умах вызвало ее появление в церкви на эти полтора часа. Позади нее струились ручейки удивления, неодобрения, негодования. Постепенно глаза всех приковались к ней, и все мысленно осуждали ее. Шло богослужение. Голос священника монотонно гудел, и каждый прихожанин, сидя, стоя или преклонив колена, бросал недобрые взгляды на набожно склонившуюся головку, которая, право же, излучала благочестие. Она смущала набожно настроенных прихожан эта девушка, которая предала отца, веру, свой класс. Конечно, она должна покаяться, и, конечно, здесь, в церкви. Но было что-то вызывающее в этом ее покаянии на глазах у всех; она была уж слишком заметным пятном на кристальной чистоте церкви и на одеянии их священнослужителя. На ней, как в фокусе,

сосредоточились тревожное любопытство и недоумение, которые владели всеми в эти последние недели. Матери трепетали при мысли, что их дочери могут увидеть ее, а жены опасались, что ее увидят их мужья. Мужчины смотрели на нее по-разному - кто с осуждением, а кто с вожделением. Молодежь пялила на нее глаза и готова была похихикать. Старые девы отворачивались. Среди прихожан были мужчины и женщины, много испытавшие в жизни, - они просто жалели Ноэль. Чувства тех, кто знал ее лично, сейчас подвергались испытанию: как вести себя, если они столкнутся с нею при выходе из церкви? И хотя рядом с нею могло оказаться лишь несколько человек, всем казалось, что это выпадет на их долю; а многие считали это даже своим долгом, ибо хотели раз навсегда определить свое отношение к ней. Это было действительно весьма суровое испытание человеческой природы и тех чувств, которые призвана пробуждать церковь. Неподвижность этого юного создания, невозможность разглядеть лицо девушки и судить о состоянии ее духа, наконец неясное чувство стыда за то, что они так заинтригованы и смущены чем-то, имеющим отношение к сексуальному, да еще в храме божьем, - все это вызывало стадное чувство самозащиты, которое очень быстро приобретает наступательный характер. Ноэль как будто не замечала этого, спокойно вставала, садилась, становилась на колени.

Один или два раза она почувствовала, что отец смотрит на нее. Ее снова охватили жалость к нему и угрызения совести, которые она уже испытала прошлой ночью; и теперь она с каким-то обожанием глядела на его исхудавшее, серьезное лицо. Но собственное ее лицо выражало скорее то, что Лавенди перенес на свое полотно, - ожидание решающего перелома в жизни, каких-то непреходящих волнений, которые жизнь всегда держит в запасе для человеческого сердца. Это был взгляд, углубленный в себя, не тоскливый и не радостный, но мечтательный и ожидающий, готовый в любой момент загореться страстью и снова стать углубленным, мечтательным.

Когда затихли последние звуки органа, она не пошевелилась и не обернулась. Второй службы не было, и прихожане уходили из церкви, рассеиваясь по улицам и площадям, а она все еще оставалась на месте. Потом, поколебавшись с минуту - войти ли ей в ризницу, ведущую в алтарь, или уходить совсем, - она повернулась и пошла домой одна.

Она явно избегала каких бы то ни было встреч, и это, вероятно, обострило положение. Когда долго сдерживаемое негодование не находит выхода, это чревато опасностью. Прихожане почувствовали себя обманутыми. Если бы Ноэль вышла вместе с теми, чье благочестие было нарушено ее присутствием в церкви; или если бы ее уход в одиночестве свидетельствовал бы о ее подчинении намечающемуся бойкоту, - воинствующее общественное мнение могло бы еще быть умиротворено, и все просто решили бы держаться подальше от греха - мы ведь привыкаем ко всему. Кроме того, война была на первом месте во всех умах и оттесняла на второй план даже заботу о нравственности. Но ничего этого не случилось; предвидя, что каждое воскресенье будет повторяться этот маленький вызов им всем, более десятка прихожан, не сговариваясь, написали вечером письма, подписав или не подписав их, и направили в соответствующую инстанцию. Лондон - мало подходящее место для заговоров в масштабе прихода; и событие, которое в масштабе страны вызвало бы в лучшем случае какое-нибудь публичное собрание или, возможно, резолюцию, в данном случае не могло решиться таким способом. Кроме того, у некоторых людей просто бывает необъяснимый зуд - писать анонимные письма; подобные послания служат удовлетворению смутного чувства справедливости либо необузданного желания рассчитаться с теми, кто оскорбил или доставил неприятности автору письма, и не дать обидчику возможности повторить это снова.

А отправленные письма, как известно, приходят по назначению.

В среду утром, когда Пирсон сидел в кабинете в час, отведенный для приема прихожан, горничная доложила:

- Каноник Рашбурн, сэр.

Перед Пирсоном предстал старый товарищ по колледжу, с которым он последние годы встречался очень редко. Гость был невысокий, седой человек, довольно грузный, с круглым, добродушным, розовощеким лицом и светло-голубыми, спокойными глазами, излучавшими доброту. Он схватил руку Пирсона и заговорил - в его голосе естественная звучность сочеталась с некоторой профессиональной елейностью.

- Мой дорогой Эдвард, сколько лет мы не видались! Ты помнишь милого старого Блэкуэя? Я встретил его только вчера. Он все такой же.

Я в восторге, что вижу тебя снова! - И он рассмеялся мягким, немного нервным смехом. Несколько минут он говорил о войне, о прежних днях в колледже, а Пирсон глядел на него и думал: "Зачем он приехал?"

- У тебя, наверно, есть что-нибудь ко мне, Алек? - сказал он наконец.

Каноник Рашбурн слегка подался вперед в кресле и ответил с видимым усилием:

- Да. Мне хотелось немного потолковать с тобой, Эдвард. Надеюсь, ты не будешь возражать. Очень надеюсь на это.

- А почему бы мне возражать?

Глаза каноника Рашбурна засияли еще больше, по лицу разлилась дружественная улыбка.

- Я знаю, что ты вправе сказать мне: не суйся в чужие дела. Но я все-таки решил прийти к тебе, как друг, надеясь спасти тебя от... э...

Он осекся и начал снова:

- Надеюсь, ты понимаешь, какие чувства испытывает твоя паства от... э... оттого, что ты попал в очень щекотливое положение. Это не секрет, что к нам поступают письма; ты, наверно, представляешь, о чем я говорю? Поверь мне, мой дорогой друг, что мною движет лишь старая дружба; ничего больше, уверяю тебя.

В наступившей тишине слышно было только тяжелое дыхание гостя, похожее на дыхание астматика; он, не переставая, поглаживал толстые колени, а в лице его все так же излучавшем добродушие, чувствовалась некоторая настороженность. Яркое солнце озаряло эти две черные фигуры, такие разные, и обнажало все изъяны в их поношенных одеяниях, порыжелых от времени, как это свойственно одежде священников.

Помолчав, Пирсон сказал:

- Спасибо тебе, Алек. Я понимаю.

Каноник гулко вздохнул.

- Ты даже не представляешь, с какой легкостью люди превратно истолковывают даже тот факт, что она продолжает жить у тебя; им это кажется чем-то... чем-то вроде вызова. Они вынуждены... я думаю, они чувствуют, что... И я опасаюсь, что в конце концов... - Он остановился, потому что Пирсон закрыл глаза.

- Ты думаешь, мне придется выбирать между дочерью и приходом?

Каноник, спотыкаясь на каждом слове, попытался смягчить остроту вопроса.

- Мое посещение носит неофициальный характер, мой дорогой друг; но я бы не сказал, что и абсолютно неофициальный. Здесь, очевидно, многие так настроены, это я и хотел тебе сообщить. Ты не совсем разобрался в том, что...

Пирсон поднял руку.

- Я не могу говорить об этом.

Каноник встал.

- Поверь мне, Эдвард, я глубоко тебе сочувствую. Но мне казалось, что я должен предупредить тебя. - Он протянул руку. - До свидания, дорогой друг, и прости меня.

Он вышел. В прихожей с ним случилось такое неожиданное и так смутившее его приключение, что он смог рассказать об этом только одной миссис Рашбурн, и то ночью.

- Когда я вышел из комнаты моего бедного друга, - рассказывал он, - я налетел на детскую коляску и на эту молодую мать, которую помню еще вот такой крошкой, - он показал рукой, какой именно. - Она собирала ребенка на прогулку. Я вздрогнул и с перепугу спросил как-то по-глупому: "Мальчик?" Бедная молодая женщина пристально посмотрела на меня. У нее очень большие глаза, очень красивые и какие-то странные. "Вы говорили с папой обо мне?" "Моя дорогая, молодая леди, - ответил я. - Я ведь его старый друг, вы знаете. И вы должны простить меня". Тогда она сказала: "Что же, ему предложат подать прошение об уходе?" " Это зависит от вас", - сказал я. Почему я все это говорил, Шарлотта? Мне лучше бы придержать язык. Бедная женщина! Такая молодая! А этот крохотный ребенок!

- Она сама во всем виновата, Алек, - ответила миссис Рашбурн.

## ГЛАВА VII

Когда каноник исчез за дверью, Пирсон принялся расхаживать по кабинету, и в сердце его поднимался гнев. Дочь или приход? Старая поговорка гласит: "Дом англичанина - его крепость!"; и вот на его дом началась атака. Ведь это же его долг - дать приют своей дочери и помочь ей искупить грех и снова обрести мир и душевные силы. Разве не поступил он как истинный христианин, избрав для себя и для нее

более трудный путь? Либо отказаться от этого решения и дать погибнуть душе дочери, либо отказаться от прихода! Разве это не жестоко - ставить его перед таким выбором? Ведь эта церковь - вся его жизнь; единственное место, где такой одинокий человек, как он, может почувствовать хотя бы какое-то подобие домашнего очага; тысячи нитей связывают его с его церковью, с прихожанами, с этим домом; уйти из церкви, но продолжать жить здесь? Об этом не может быть и речи. И все-таки главными чувствами, которые обуревали его, были гнев и растерянность; он поступил так, как повелевал ему долг, и за это его осуждают его же прихожане!

Его охватило нетерпеливое желание - узнать, что же на самом деле думают и чувствуют они, его прихожане, к которым он относился так дружески и которым отдавал так много сил. Этот вопрос не давал ему покоя, и он вышел из дому. Но он понял всю нелепость своего намерения еще до того, как пересек площадь. Нельзя же подойти к человеку и сказать: "Стой, выкладывай свои сокровенные мысли". И вдруг ему стало ясно, что он и в самом деле очень далек от них. Разве его проповеди помогли ему проникнуть в их сердца? И теперь, когда он стоит перед жестокой необходимостью узнать их подлинные мысли, у него нет никаких путей для этого. Он наудачу зашел в писчебумажную лавку, хозяин которой пел в его хоре. На протяжении последних семи лет они встречались каждое воскресенье. Но когда он, мучимый жаждой узнать тайные мысли этого человека, увидел его за прилавком, ему показалось, что он видит его впервые. В его голове промелькнула русская пословица: "Чужая душа потемки". Он спросил:

- Ну, Хотсон, какие новости от вашего сына?

- Пока ничего нет, мистер Пирсон. Благодарю вас, сэр. Пока еще ничего.

Пирсон смотрел на его лицо, обрамленное короткой седеющей бородкой, подстриженной точь-в-точь как его собственная. Он, должно быть, думает: "Ладно, сэр! А вот какие новости насчет вашей дочери?" Нет, ни один из них не выскажет ему прямо то, что у него на душе. Он купил два карандаша и вышел.

На другой стороне улицы была лавка, где торговали птицами. Владельца ее призвали в армию, и в лавке хозяйничала его жена. Она никогда не проявляла дружеских чувств к Пирсону, потому что он не

раз пенял ее мужу за то, что тот торговал жаворонками и другими вольными пташками. Но он намеренно пересек улицу и остановился у витрины с горькой надеждой, что именно от этой недружелюбной женщины услышит правду. Она была в лавке и подошла к двери.

- Есть какие-нибудь вести от мужа, миссис Черри?

- Нет, мистер Пирсон. На этой неделе не было.

- Его еще не отправили на передовую?

- Нет, мистер Пирсон. Пока нет.

Лицо ее оставалось равнодушным. У Пирсона вдруг возникло дикое желание крикнуть: "Ради бога, женщины, откройте свою душу; скажите, что вы думаете обо мне и о моей дочери! Пусть вас не смущает одеяние священника!" Но он не мог спросить ее, так же, как женщина не могла ничего сказать ему. И, пробормотав: "До свидания", - он пошел дальше.

Никто, ни мужчина, ни женщина, ничего ему не скажут, разве что в нетрезвом состоянии. Он подошел к кабачку и на мгновение заколебался; но мысль о том, что здесь могут оскорбительно отозваться о Ноэль, остановила его, и он прошел мимо. Только теперь он почувствовал подлинную правду: он вышел из дому с намерением узнать, что думают о нем люди, а на самом деле он вовсе и не хочет ничего узнавать, ибо не сможет этого перенести. Слишком давно не слышал он о себе осуждающего слова, слишком долго находился в положении человека, призванного говорить другим то, что он о них думает! Он стоял посреди людной улицы - и вдруг почувствовал страшную тоску по деревне; так бывало с ним всегда в тяжелые моменты жизни. Он заглянул в записную книжку. Какая редкая удача! У него почти свободный день. Рядом остановка автобуса, он увезет его за город. Он взобрался в автобус и доехал до Хендона. Там он слез и дальше отправился пешком. Стоял яркий теплый день, кругом расцветал и благоухал май. Он быстро шел по очень прямой дороге, пока не добрался до Элстри Хилл. Там он постоял несколько минут, глядя на школьную часовню, площадку для крикета, на широкие деревенские просторы. Было очень тихо, наступил час завтрака. Неподалеку паслась на привязи лошадь; мимо пробежала кошка; напуганная несуразно высокой черной фигурой, она вдруг замерла на месте, потом, проскользнув под калитку, выгнула спину и стала тереться о его ногу. Пирсон наклонился и погладил ее; слабо мяукнув,

кошка грациозно перебежала через дорогу. Он пошел дальше, миновал деревню, перелез через изгородь и по тропинке спустился вниз. На краю поля молодого клевера, у изгороди из боярышника, он лег на спину, положив рядом шляпу, и скрестил руки на груди - словно изваяние какого-нибудь крестоносца на древней гробнице. Хотя он лежал не менее спокойно, чем древний рыцарь, глаза его были открыты и взор устремлен в синеву, где звенел жаворонок. Песня жаворонка освежила его душу; ее восторженная легкость снова разбудила в нем чувство красоты и в то же время вызвала протест против жестокого и немилосердного мира. О, если бы он мог улететь вместе с этой песней в страну ясных умов, где нет ничего уродливого, грубого, беспощадного, где кроткое лицо Спасителя излучает вечную любовь! Аромат майских цветов, озаренных солнцем, смягчил его душу; он закрыл глаза, и тут же его мысль, словно негодуя на эту недолгую передышку, еще более напряженно заработала, и он возобновил спор с самим собой. Дело дошло до крайностей, приобрело страшную и тайную многозначительность. Если поступать так, как повелевает ему совесть, тогда надо признать, что он оказался неспособным вести свою паству. Все было построено на песке, не имело настоящей глубокой основы и держалось только на условностях. Милосердие, искупление грехов, что стало со всем этим? Либо ошибается он, избрав для Ноэль путь исповеди и раскаяния, либо ошибаются они, заставляя его отказаться от этого решения. Соединить эти две крайности невозможно. Но если ошибку совершил он, избрав самый тяжкий путь, что ему теперь остается? Идеалы церкви рушились в его сознании. Ему казалось, что его вышвырнули за пределы мира и он висит в воздухе, уткнувшись головой в облако, которое застлало ему глаза. "Я не мог ошибиться, - думал он. - Любое другое решение было бы намного легче. Я пожертвовал своей собственной гордостью и гордостью моей бедной дочери; я бы предпочел, конечно, чтобы она скрылась. Если за это в нас бросают камнями и изгоняют нас, то какова же жизненная сила религии, которую я так чтил? К чему тогда все это? Разве я сотворил что-либо постыдное? Я не могу и не хочу поверить в это. Что-то со мной происходит неладное, да, неладное - но что и в чем?"

Он повернулся, приник лицом к земле и начал молиться. Он молил бога наставить его, избавить от приступов гнева, которые так

часто овладевали им в последнее время; а главное - избавиться от чувства личной обиды и ощущения несправедливости того, что происходит с ним. Он старался остаться верным тому, что считал справедливым, ради этого он пожертвовал своей чувствительностью, тайной гордостью, которая жила в его дочери и в нем самом. И за это его изгоняют!

Была ли тому причиной молитва или пряный запах клевера, но внезапно к нему пришло умиротворение. Вдалеке виднелся шпиль церкви. Церковь!.. Нет! Она не ошибается и никогда не ошибется. Ошибка кроется в нем самом. "Я совершенно непрактичный человек, - подумал он. - Это так, я знаю. Об этом не раз говорила Агнесса, так думают Боб и Тэрза. Они считают меня не от мира сего, мечтателем. Но разве это грех, хотел бы я знать?"

Рядом на поле паслись ягнята; он стал следить за их прыжками, и у него отлегло от сердца; стряхнув клеверную пыльцу со своего черного одеяния, он пошел обратно тем же путем. На площадке мальчишки играли в крикет, и он несколько минут стоял и глядел на них. Он не видел этой игры с самого начала войны, и теперь она представлялась ему чем-то нереальным, призрачным - удары бит, звонкие молодые голоса, гудение "воздушных ос" {Тип военного самолета в войну 1914-1918 гг.}, пронесившихся над Хендоном. Один из мальчиков сильным ударом послал биту. "Хорошо сыграно!" - крикнул Пирсон. Но, вспомнив о том, какой несуразной должна казаться его фигура на этой зеленой лужайке, повернулся и зашагал по дороге в Лондон. Подать в отставку... Выждать... Услать куда-нибудь Ноэль... Из этих трех возможностей только последняя казалась ему невыносимой. "Неужели я и впрямь так далек от них, - думал он, что они могут потребовать моего ухода? Если так, то мне лучше уйти. Ну что ж, еще одна жизненная неудача. Но пока я не могу поверить этому не могу".

Жара все усиливалась, и он очень устал, прежде чем добрался до автобуса и уселся, подставив разгоряченное лицо под охлаждающий ветерок. Домой он вернулся только к шести часам. С утра у него во рту не было ни крошки. Собираясь в ожидании обеда принять ванну и прилечь, он поднялся наверх.

Там царил необычайная тишина. Он постучал в дверь детской - она была пуста. Прошел в комнату Ноэль, но и здесь никого не было,

Шкаф стоял открытым, словно из него торопливо доставали вещи, ничего не было и на туалетном столике. В тревоге он подошел к звонку и резко дернул кольцо. Старомодный звонок прозвенел где-то далеко внизу. Вошла горничная.

- Где мисс Ноэль и нянька, Сьюзен?

- Я не знала, что вы пришли, сэр. Мисс Ноэль просила передать вам это письмо. Она.. Я..

Пирсон остановил ее движением руки.

- Спасибо, Сьюзен, принесите мне чаю, пожалуйста.

Не распечатывая письма, он подождал, пока она уйдет. Голова у него кружилась, и он присел на кровать Ноэль. Потом стал читать.

"Дорогой папа!

Тот человек, который приходил утром, сказал мне о том, что должно случиться. Я просто не хочу, чтобы это произошло. Няньку и ребенка я отправляю в Кестрель, а сама переночую у Лилы, потом решу, что делать дальше. Я знаю, что совершила ошибку, вернувшись к тебе. Мне безразлично, что случится со мной, но я не хочу, чтобы было плохо тебе. Я считаю, что мучить и преследовать тебя за мою ошибку - отвратительно. Мне пришлось занять у Сьюзен шесть фунтов. Прости меня, дорогой папа.

Любящая тебя

Нолли".

Он прочел письмо с невыразимым облегчением; по крайней мере он знает, где она - бедная, своевольная, порывистая девочка с любящим сердцем! Он знает, где она, и может пойти к ней. Он примет ванну, выпьет чаю, а потом пойдет к Лиле и приведет Ноэль домой. Бедная маленькая Нолли, ей кажется, что, уйдя от него, она сразу развяжет этот запутанный узел! Он был слишком измучен и поэтому не спешил; около восьми он вышел, оставив записку Грэтиане - она, как правило, не приходила из госпиталя раньше девяти.

Дневная жара еще не спала, но уже наступила прохлада, и он всеми своими освеженными чувствами впитывал красоту вечера. "Бог так сотворил мир, размышлял он, - что, несмотря на нашу борьбу и страдания, жить всегда радостно - и тогда, когда сверкает солнце, и тогда, когда сияет луна или приходит звездная ночь. Даже мы не в состоянии испортить этого!" В Риджент-парке сирень и ракитник были еще в цвету, хотя близился июнь, и он смотрел на них, как

смотрит любовник на свою возлюбленную. И вдруг словно что-то кольнуло его. Он вспомнил миссис Митчет и ее черноглазую дочь, которую она привела к нему в канун Нового года, в тот самый вечер, когда он узнал о трагедии своей дочери! Подумал ли он хоть раз о них с того времени? Что теперь с этой бедной девушкой? Ее упорство вывело его тогда из терпения. Что знает он о сердцах ближних, если свое собственное для него - тайна; если он не в силах подавлять свой гнев и возмущение; если он не сумел привести в тихую гавань даже собственную дочь? А Лила? Разве он не осуждал ее в мыслях? Как силен, как странен этот инстинкт пола, который тяготеет над жизнью людей, уносит их, словно шквал, и выбрасывает, измученных и беззащитных! Прогромыхало несколько фургонов с оружием, выкрашенных в глухой серый цвет, ими правили загорелые юноши в куртках цвета хаки. Сила жизни, сила смерти все это, по сути, одно и то же: некая непознаваемая сила, от которой только одно спасение - в лоне небесного Отца.

На память пришли строки Блэйка {Блэйк, Уильям (1757-1827) - английский поэт и художник.}:

Нам на земле достался малый уголок,  
Чтоб здесь познать нам жар лучей любви,  
И черные тела, медь загорелых лиц  
Лишь облако одно над сенью тихих рощ.  
Когда научимся мы этот жар терпеть,  
Растает облако, и мы услышим глас:  
Придите: вам - моя забота и любовь,  
Ликуйте, агнцы, вокруг моего шатра.

"Научимся мы этот жар терпеть"! Те ягнята, которых он видел сегодня в поле, их неожиданные прыжки, их забавные, дрожащие хвостики, принюхивающиеся черные мордочки - какие это прелестные, беспечные создания, как радуются они жизни среди полевых цветов! Ягнята, и цветы, и солнечный свет! Голод, и похоть, и эти огромные серые пушки! Лабиринт, пустыня! И если бы не вера какой исход, какой путь избрать человеку, как не блуждать ему безнадежно в беспросветном мраке? "Сохрани, боже, нашу веру в любовь, в милосердие и в потустороннюю жизнь", - подумал он. Слепой человек с собакой, к ошейнику которой была привязана глубокая тарелочка для денег, вертел шарманку. Пирсон бросил в

тарелочку шиллинг. Слепец перестал играть и поднял на него белесые глаза.

- Спасибо, сэ, теперь я пойду домой. Вперед, Дик!

Он пошел, выстукивая дорогу палкой, и свернул за угол; собака бежала перед ним. Невидимый в кусте цветущей акации дрозд завел вечернюю песню, и еще один большой серый фургон прогремыхал через ворота парка.

Часы на церкви пробили девять, когда Пирсон дошел до квартиры Лилы. Он поднялся и постучал. Звуки пианино умолкли, дверь открыла Ноэль. Она отшатнулась, увидев его. Потом сказала:

- Зачем ты пришел, папа? Лучше бы тебе не приходить.

- Ты здесь одна?

- Да. Лила дала мне ключ. Она работает в госпитале до десяти.

- Ты должна вернуться домой, моя родная.

Ноэль закрыла пианино и села на диван. На лице ее было то самое выражение, как и в тот раз, когда он запретил ей выходить замуж за Сирила Морленда.

- Ну же, Нолли! - сказал он. - Не будь безрассудной. Мы должны пережить все это вместе.

- Нет.

- Моя дорогая, это - ребячество! Будешь ли ты жить в моем доме или не будешь, - это не повлияет на мое решение поступить так, как велит мне долг.

- Но дело именно в том, что я живу у тебя. Эти люди безразличны ко всему, но только до тех пор пока не разразится открытый скандал.

- Нолли!

- Но это же так, папа! Именно так, ты сам знаешь. А если я уйду, они станут тебя жалеть за то, что у тебя плохая дочь. И пусть. Я и есть плохая дочь.

- Ты говоришь совсем так, как в те дни, когда была малышкой, улыбнулся Пирсон.

- Я бы хотела снова стать маленькой или же лет на десять старше, чем теперь. О, этот возраст!.. Но я не вернусь домой, папа. Это ни к чему.

Пирсон сел рядом с ней. - Я думал об этом весь день, - сказал он, стараясь быть спокойным. - Может быть, в гордыне своей я и совершил ошибку, когда впервые узнал о твоей беде. Может быть, уже

тогда мне надо было примириться с моей неудачей, оставить церковь и увезти тебя куда-нибудь. В конце концов, если человек не годится на то, чтобы заботиться о душах ближних, он должен по крайней мере сообразоваться с этим.

- Но ты годишься! - крикнула страстно Ноэль. - Папа, ты годишься!

- Боюсь, что нет. Чего-то во мне не хватает; не знаю только - чего. Но чего-то очень не хватает.

- Нет, это не так! Просто ты слишком хороший, вот в чем дело!

- Не надо, Нолли, - покачал головой Пирсон.

- Нет, я должна сказать, - продолжала Ноэль. - Ты слишком мягок и слишком добр. Ты милосерден и прост, и ты веришь в бога и загробную жизнь вот в чем дело. А эти люди, которые хотят выгнать нас, ты думаешь - они верят? Они даже не начинали верить, что бы они ни говорили и ни думали. Я ненавижу их, а иногда ненавижу церковь; она либо жестока и тупа, либо вся погрязла в мирских делах.

Она остановилась, заметив, как изменилось его лицо; на нем были написаны ужас и боль, словно кто-то извлек на свет божий и выставил перед ним его собственную, молчаливую измену самому себе.

- Ты говоришь дикие вещи! - сказал он, но губы его тряслись. - Ты не смеешь этого говорить; это - богохульство и злоба!

Ноэль сидела, прикусив губу, настороженная и тихая, прислонившись к большой голубой подушке. Но вскоре она взорвалась снова:

- Ты словно раб служил этим людям долгие годы! Ты лишал себя удовольствия, ты лишал себя любви; для них ничего не значило бы, если бы твое сердце разорвалось. Им все равно до тех пор, пока соблюдены приличия. Папа, если ты позволишь им причинить тебе боль, я не прощу тебе!

- А если ты причиняешь мне боль сейчас, Нолли?

Ноэль прижала его руку к своей горячей щеке.

- Ах, нет! Нет! Я не причиню... Я не причиню тебе боли. Никогда больше! Один раз я уже сделала это.

- Очень хорошо, моя родная! Тогда пойдем со мной домой, а потом решим, как нам лучше поступить. Убежать - это не решение вопроса.

Ноэль выпустила его руку.

- Нет, дважды я делала, как хотел ты, и дважды это оказалось ошибкой. Если бы я не ходила в воскресенье в церковь, чтобы доставить тебе удовольствие, может быть, до этого и не дошло бы. Ты не видишь, что происходит вокруг тебя, отец. Я могу тебе рассказать, хотя сидела в церкви в первом ряду. Я знаю, какие у людей были лица и о чем они думали.

- Надо поступать правильно, Нолли, и ни на кого не обращать внимания.

- Да. Но что такое правильно? Для меня неправильно причинять тебе боль, и я не стану делать этого.

Пирсон вдруг понял, что бесполезно пытаться ее переубедить.

- Что же ты тогда думаешь делать?

- Завтра я поеду в Кестрель. Тетушка будет мне рада, я знаю; до этого я хочу повидаться с Лилой.

- Что бы ты ни предприняла, обещаю поставить меня в известность.

Ноэль кивнула.

- Папочка, ты выглядишь страшно усталым. Я сейчас дам тебе лекарство. Она подошла к маленькому треугольному шкафчику и наклонилась, собираясь что-то достать. Лекарство! Оно нужно не для его тела, а для души. Единственное лекарство, которое могло бы исцелить его, - это знать, в чем состоит его долг!

Он очнулся, услышав звук хлопнувшей пробки,

- Что ты там делаешь, Нолли?

Ноэль выпрямилась; в одной руке она держала стакан с шампанским, в другой - бисквит.

- Тебе надо выпить вина; и я тоже немного выпью.

- Милая моя, - сказал ошеломленный Пирсон. - Это ведь не твое вино!

- Выпей, папа! Разве ты не знаешь - Лила никогда не простит мне, если я отпущу тебя домой в таком состоянии. А кроме того, она сама велела мне поесть. Выпей. Потом пошлешь ей какой-нибудь приятный подарок. Выпей же!

Она топнула ногой.

Пирсон взял стакан, сел и принялся пить вино маленькими глотками, закусывая бисквитом. Очень приятно! Он даже не

представлял себе, как необходимо ему было сейчас подкрепиться. Ноэль отошла от шкафчика, держа в руках стакан и кусочек бисквита.

- Ну вот, теперь ты выглядишь лучше. А сейчас поезжай домой, возьми такси, если сумеешь найти; и скажи Грэтиане, чтобы она тебя кормила как следует, иначе от тебя скоро останется один дух; а с духом, но без тела ты не сможешь выполнять свой долг, вот что!

Пирсон улыбнулся и допил шампанское. Ноэль взяла у него стакан.

- Сегодня ты мой ребенок, и я отправляю тебя спать. Не тревожься, папа; все будет хорошо! - И, взяв его за руку, она спустилась с ним по лестнице и, стоя в дверях, послала ему вслед воздушный поцелуй.

Он шел как во сне. Дневной свет еще не угас, но луна уже всходила, она была на ущербе; прожекторы начали свои ночные прогулки по небу. То было небо, заселенное призраками и тенями; и оно как нельзя лучше соответствовало мыслям, которые владели Пирсоном. А, может быть, все это - перст Провидения? Почему бы ему не уехать во Францию? В самом деле - почему нет? Его место займет кто-нибудь другой, кто лучше его понимает человеческое сердце, знает жизнь; а он пойдет туда, где смерть делает все простым и ясным, - уж там-то он не потерпит неудач. Он шагал все быстрее и быстрее, полный какого-то пьянящего облегчения. Тэрза и Грэтиана позаботятся о Нолли лучше, чем он. Нет, право же, так предначертано свыше! Город был весь в лунном свете; все вокруг стало какого-то сине-стального цвета, даже воздух; это был сказочный город - город мечты, и он шел этим городом, весь охваченный волнением и восторгом. Скоро он будет там, где сложили свою голову этот бедный мальчик и миллионы других; там, где грязь и разрывы снарядов, где обожженная, серая земля, разбитые деревья, где каждый день повторяются муки Христовы, где ему самому так часто хотелось очутиться в эти последние три года. Да, так предуказано свыше!

Навстречу ему шли две женщины; увидев его, они переглянулись, и готовые сорваться слова "Проклятый ворон" замерли у них на губах.

### ГЛАВА VIII

У Ноэль стало легче на душе, словно она одержала важную победу. Она нашла немного консервированного мяса, положила его на кусок бисквита, жадно съела и допила остаток шампанского. Потом

стала искать сигареты и наконец села за пианино. Она играла старые песенки: "Есть таверна в городе", "Полюбил я красавицу", "Мы косим ячмень", "Клементина", "Долина Шотландии" и напевала, вспоминая слова. Она чувствовала, как быстро течет кровь в ее жилах, и один раз вскочила и немного покружилась в танце. Потом, став коленями на подоконник, выпянула на улицу и тут же услышала, как открылась дверь. Не оборачиваясь, она крикнула:

- Ну разве не великолепная ночь! Папа был здесь. Я угостила его твоим шампанским, а остальное допила сама...

Но тут она увидела в дверях фигуру, слишком высокую для Лилы. Мужской голос сказал:

- Простите. Это я, Джимми Форт.

Ноэль вскочила на ноги.

- Лилы нет дома, она скоро будет; уже начало одиннадцатого.

Он стоял неподвижно посреди комнаты.

- Может быть, присядете? Не хотите ли сигарету?

- Спасибо.

При свете зажигалки она ясно разглядела выражение лица Форты. Это наполнило ее каким-то веселым злорадством.

- Я ухожу, - сказала она. - Передайте, пожалуйста, Лиле, что я решила не оставаться.

Она подошла к дивану и взяла шляпу. Надев ее, она увидела, что Форт подошел к ней вплотную.

- Ноэль... Вы не возражаете, что я вас так называю?

- Нисколько.

- Не уходите; я сам уйду.

- О нет! Ни за что на свете! - Она пыталась проскользнуть мимо него, но он схватил ее за руку.

- Пожалуйста! Оставайтесь хоть на одну минуту!

Ноэль стояла, не двигаясь, и смотрела на него; он все еще держал ее за руку. Потом спросил тихо:

- Вы не можете сказать мне, почему вы пришли сюда?

- О, просто повидать Лилу!

- Значит, дома стало совсем невозможно, не правда ли?

Ноэль пожала плечами.

- Вы сбежали, да?

- От кого?

- Не сердитесь; вы не хотели доставлять неприятности отцу?

Она кивнула.

- Я знал, что дойдет до этого. Что же вы собираетесь делать?

- Жить в свое удовольствие. - Она чувствовала, что это звучит легкомысленно, но ей именно этого и хотелось.

- Это нелепо. Не сердитесь! Вы совершенно правы. Только надо поступать разумно, да? Сядьте!

Ноэль попыталась освободить свою руку.

- Нет, сядьте, пожалуйста.

Ноэль села. Но когда он отпустил ее, она рассмеялась. "На этом самом месте он сидел с Лилой, и здесь же они будут сидеть, когда я уйду", подумала она.

- Все это страшно забавно, - сказала она.

- Забавно? - пробормотал он со злостью. - Много забавного в этом забавном мире.

Она услышала, как неподалеку остановилось такси, и подобрала ноги, готовясь твердо опереться ими о пол, когда вскочит. Успеет она, прежде чем он схватит ее за руку, проскользнуть мимо него и добежать до такси?

- Если я сейчас уйду, вы обещаете мне оставаться здесь до прихода Лилы? - спросил Форт.

- Нет.

- Это глупо. Ну же, обещайте!

Ноэль покачала головой. Его озабоченность доставляла ей какое-то недоброе удовлетворение.

- Лиле везет, правда? Ни детей, ни мужа, ни отца, никого. Чудесно!

Она увидела, как он поднял руку, словно обороняясь от удара.

- Бедная Лила! - сказал он.

- Почему вы ее жалеете? У нее свобода! И у нее вы!

Она знала, что ее слова больно ранят его, но ей и хотелось сделать ему больно.

- Не вам ей завидовать.

Едва он сказал это, как Ноэль заметила, что кто-то стоит в дверях.

Она вскочила и выпалила одним духом.

- О! Это ты, Лила? Приходил папа, и мы выпили твое шампанское.

- Отлично! А вы так и сидите в темноте?

Ноэль почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. Вспыхнул свет, и Лила шагнула вперед. В своем платье сестры милосердия она выглядела особенно бледной, спокойной и сдержанной, полные губы ее были крепко сжаты. Но Ноэль заметила, как вздымается ее грудь. Стыд, уязвленная гордость поднялись в девушке. Почему она не убежала? Зачем позволила поймать себя в ловушку? Лила подумает, что она кружит ему голову! Это ужасно! Отвратительно! Почему он ничего не говорит? Почему все молчат?

- Я не ждала вас, Джимми, - промолвила Лила. - Я рада, что вам не было скучно. Ноэль останется здесь на ночь. Дайте мне сигарету. Садитесь оба. Я страшно устала!

Она опустилась в кресло, откинулась назад и положила ногу на ногу; Ноэль глядела на нее с восхищением. Форт подал ей огня; рука его дрожала, он казался жалким и обиженным.

- Дайте и Ноэль сигарету и задерните шторы, Джимми. Поскорее. Собственно, это все равно, но на улице светло как днем. Садись, дорогая.

Но Ноэль не села.

- О чем же вы разговаривали? О любви, о китайских фонариках или только обо мне?

При этих словах Форт, который задергивал штору, обернулся; его высокая фигура неуклюже вырисовывалась на фоне стены. Ему была чужда какая-либо дипломатия, и он выглядел так, словно его отхлестали. Если бы на его лице появились рубцы, Ноэль не была бы удивлена.

Он сказал, мучительно подыскивая слова:

- Я и сам не знаю, о чем мы говорили; мы только начали беседовать.

- Весь вечер еще впереди, - сказала Лила. - Продолжайте, а я пока переоденусь.

Она встала и с сигаретой во рту отправилась в другую комнату. Проходя, она бросила взгляд на Ноэль. Что крылось за этим взглядом, девушка не могла себе уяснить. Так могло смотреть, пожалуй, подстреленное животное - здесь был и какой-то затаенный вопрос, и

упрек, и гнев, и в то же время гордость, и трепет угасания. Когда дверь закрылась, Форт начал шагать по комнате.

- Идите к ней! - крикнула Ноэль. - Вы ей нужны. Разве вы не понимаете, как вы ей нужны?

И прежде чем он успел двинуться, она была у двери, сбежала по лестнице и вышла на лунный свет. Чуть подальше отъезжало такси; она подбежала и крикнула:

- Куда-нибудь! На Пикадилли! - И, вскочив в машину, забилась в угол, откинувшись на спинку сиденья.

Несколько минут она не могла прийти в себя, потом почувствовала, что больше не может сидеть в машине, остановила ее и вышла. Где она? Бонд-стрит! Она бесцельно побрела по этой узкой улице, такой оживленной днем и такой пустынной ночью. Ах, как скверно! Ничего не было сказано - ничего, но все словно проступило наружу в поведении Лилы и ее самой. Ноэль казалось, что она потеряла и гордость и достоинство, словно ее уличили в воровстве. Веселое возбуждение испарилось, осталось только горестное беспокойство. Что бы она ни делала, все кончается плохо - почему так всегда получается? Свет луны падал меж высоких домов, и в голове у нее родились странные мысли. "Фея" - так назвал ее отец. Она рассмеялась. "Нет, я не пойду домой", подумала она. Ей надоела длинная улица, она свернула в сторону и неожиданно очутилась на Ганновер-сквер. Посреди площади стояла церковь, серо-белая, в которой когда-то венчался ее троюродный брат, а она, пятнадцатилетняя девочка, была подружкой невесты. Казалось, она видит все снова - свой наряд, лилии в руках, стихари хористов, платье невесты - и в лунном свете все кажется совсем сказочным! "Интересно, какой она стала? - подумала Ноэль. - А он, наверное, убит, как Сирил". Она ясно увидела лицо отца, который тогда венчал молодых, и услышала его голос: "В добре и в зле, в богатстве и бедности, в болезнях и здравии вы соединяетесь до самой смерти". Ей почудилось, что лунный свет, падающий на церковь, словно вздрагивает и движется - наверное там летают кем-то вспугнутые голуби. Но тут видение свадьбы исчезло, и перед Ноэль встали лица мосье Барра, понуро сидящего на стуле, и Чики, баюкающей куклу. "Все спятили, mademoiselle, немного спятили. Миллионы людей с чистой душой, но все чуть-чуть сумасшедшие, знаете ли". Потом

перед нею появилось лицо Лилы, ее взгляд. Она опять ощутила горячее прикосновение руки Форты к своей и торопливо пошла вперед, потирая эту руку. Она свернула на Риджент-стрит. Овальная купол Квадранта словно плыл по небу небывалой синевы, оранжевые блики затененных фонарей придавали всему еще большую призрачность. "О любви и о китайских фонариках..." "Мне хочется кофе", - подумала она вдруг. Она была недалеко от того кафе, куда они заходили с Лавенди. Войти? А почему бы и нет? Нужно же где-нибудь поесть. Ноэль остановилась у вращающейся стеклянной клетки. Но не успела она войти в нее, как вспомнила, какое отвращение было на лице Лавенди, вспомнила накрашенных женщин, зеленый напиток, пахнувший мятой, и остановилась в смущении. Она сделала полный круг во вращающейся клетке и со смехом вышла снова на улицу. Там стоял высокий молодой человек в хаки. "Привет! - сказал он. - Пойдем потанцуем!" Она вздрогнула, отскочила в сторону и пустилась бежать. Она пронеслась мимо какой-то женщины, взгляд которой словно опалил ее. Женщина возникла как привидение из развалин - горящие глаза, грубо напудренные щеки, обвисшие красные губы. У Ноэль мороз пробежал по коже, и она помчалась дальше, понимая, что спасение только в быстроте... Но не может же она ходить по городу всю ночь! Поезда в Кестрель не будет до утра; да и хочет ли она поехать туда и окончательно истерзать там сердце? Вдруг она вспомнила о Джордже: почему бы не поехать к нему? Он-то лучше знает, как ей поступить. Она постояла у подножия ступенек колонны Ватерлоо. Было тихо и пустынно. Огромные здания, белые от луны, сказочно-голубые деревья. От их цветущих верхушек веяло легким ароматом. Лунная ночь пробуждала в Ноэль то состояние одержимости, которое заставило ее отца назвать ее "феей". Она почувствовала себя маленькой и легкой, словно ей ничего не стоило пролезть через кольцо, снятое с пальца. Слабые полосы света проступали из окон Адмиралтейства. Война! Как бы ни были прекрасны ночи, как бы ни благоухала сирень- война продолжается. Она отвернулась и прошла под аркой, направляясь к вокзалу. Только что прибыл поезд с ранеными, и она стояла в шумной толпе встречающих и смотрела, как подъезжают санитарные автомобили. От волнения слезы заполнили ее глаза и покатались по щекам. Мимо нее проплывали на носилках раненые, тихие, вялые, серые, один за

другим, и каждого провожали крики "ура". Потом все кончилось, и она смогла войти в здание вокзала. В буфете она взяла большую чашку кофе и булочку. Потом записала, когда отходит самый ранний поезд, разыскала зал ожидания для женщин, забилась в уголок и стала пересчитывать деньги в кошельке. Два фунта пятнадцать шиллингов достаточно, чтобы взять номер в гостинице, если бы она захотела. Но без багажа - это покажется подозрительным. Вполне можно выспаться здесь, в уголке. А как поступают те девушки, у которых нет ни денег, ни друзей и не к кому обратиться за помощью? Прислонившись к стене этой пустой, окрашенной масляной краской, неприветливой комнаты, она размышляла, и ей казалось, что она видит всю жестокость и бездушные жизни, видит ясно и отчетливо, как никогда, яснее даже, чем в дни, когда она готовилась стать матерью. Как, однако, ей всегда везло, да и сейчас везет! Все так добры к ней. Она никогда не знала настоящей нужды или несчастий. Но как ужасно положение женщин - да и мужчин, - у которых никакой опоры, ничего, кроме собственных рук и надежды на счастливый случай! У той женщины с горящими глазами, должно быть, тоже никого и ничего нет. А люди, которые родились больными? А миллионы женщин вроде тех, которых они с Грэтианой посещали иногда в бедных кварталах прихода своего отца, - теперь словно впервые перед ней по-настоящему раскрывалась их жизнь... Потом она вспомнила Лилу - Лилу, которую она ограбила. Хуже всего было то, что, несмотря на угрызения совести и жалость к Лиле, она ощущала какое-то удовлетворение. Она же не виновата в том, что Форт не любит Лилу, а полюбил ее! А он ее любит - она это чувствовала. Знать, что тебя любит кто-то, - это так приятно! Но как все это ужасно! И причиной всему - она. Но ведь она и пальцем не пошевелила, чтобы привлечь его. Нет! Она ни в чем не виновата.

Ей вдруг очень захотелось спать, и она закрыла глаза. И понемногу к ней пришло сладостное ощущение - она склоняется кому-то на плечо, как склонялась ребенком на плечо отца, когда они возвращались из далекого путешествия по Уэльсу или Шотландии. Ей даже показалось, что влажный, мягкий западный ветер дует ей в лицо, и она вдыхает запах куртки из грубой шерсти, и слышит стук копыт и шум колес, и погружается в темноту. В полудремоте ей стало казаться,

что это не отец, а кто-то другой, кто-то другой... И потом все исчезло...

## ГЛАВА IX

Она проснулась от гудка паровоза и испуганно огляделась по сторонам. У нее совершенно онемела шея. Болела голова, все тело ломило. Вокзальные часы показывали начало шестого. "Ах, если бы выпить чашку чая! - подумала она. Все равно мне нечего здесь делать". Умывшись, она сильно растерла шею, чай освежил ее, и ей снова захотелось ехать, все равно куда. До поезда оставалось не меньше часа, можно было прогуляться и согреться; она пошла вниз, к реке. Там еще стоял утренний туман, все казалось странным и немного таинственным; но уже то и дело мимо проходили люди, направляясь на работу. Ноэль шла и глядела, как течет вода под клубящимся туманом, как над ней парят и кружатся чайки. Она дошла до Блэкфрайерского моста, потом повернула назад и уселась на скамейку под платаном как раз в ту минуту, когда выплянуло солнце. На скамейке уже сидела маленькая изможденная женщина с одутловатым желтым лицом, сидела так тихо и, казалось, не видела ничего вокруг себя, что Ноэль захотелось узнать, о чем может думать эта женщина. Пока Ноэль смотрела на нее, лицо женщины сморщилось и слезы потекли по ее щекам; набравшись смелости, Ноэль под села ближе и спросила:

- Скажите, что с вами?

Слезы, перестали течь, словно их остановил вопрос девушки. Женщина поглядела по сторонам, у нее были маленькие, серые, терпеливые глаза и странный, почти без переносицы, нос.

- У меня родился ребенок. Он умер... Отец его погиб во Франции. Я шла, чтобы утопиться. Но я испугалась воды, и теперь никогда не решусь на это.

"Никогда не решусь на это"... Эти слова потрясли Ноэль. Она протянула руку вдоль спинки скамьи и положила ее на костлявое плечо женщины.

- Не плачьте!

- Это был мой первенький. Мне тридцать восемь. У меня уже никогда не будет другого. Ах, почему я не утопилась!

Лицо ее опять сморщилось, и по щекам потекли слезы. "Да, ей надо поплакать, - подумала Ноэль, - ей надо поплакать, от этого ей

станет легче". И она погладила плечо маленькой женщины, от которой шел запах старой, слежавшейся одежды.

- Отец моего ребенка тоже убит во Франции, - сказала Ноэль, помолчав.

Маленькие печальные серые глаза уставились на нее с любопытством.

- Правда? У вас есть ребенок?

- Да. О, да!

- Я рада этому. Это ведь так горько - потерять ребенка, правда? По мне уж лучше потерять мужа.

Солнце теперь ярко освещало это удивительно терпеливое лицо; однако Ноэль даже солнечный свет казался оскорбительным.

- Могу ли я чем-нибудь помочь вам? - прошептала она.

- Нет, спасибо, мисс. Я пойду домой. Я живу недалеко. Благодарю вас.

И, бросив на Ноэль еще один растерянный взгляд, женщина пошла вдоль набережной. Когда она пропала из виду, Ноэль вернулась на станцию. Поезд уже подали, и она вошла в вагон. Там было трое пассажиров, все в хаки; они сидели молча, сумрачные, как все люди, которым пришлось рано подняться с постели. Один был высок, черен, лет тридцати пяти; второй - небольшого роста, лет пятидесяти, с остриженными редкими седыми волосами; третий среднего роста, наверно, ему было за шестьдесят, на его мундире красовалась колодка со множеством разноцветных ленточек; у него была лысая, узкая, красивой формы голова с седыми, зачесанными назад волосами, сухие черты лица и висячие усы в духе старой военной школы. На него и смотрела Ноэль. Когда он выглядывал в окно или задумывался, ей нравилось его лицо; но когда он поворачивался к контролеру или разговаривал со своими спутниками, оно почти переставало ей нравиться. Казалось, у этого старика две души - одну он хранит для себя, а в другую облакается каждое утро, чтобы встретиться с внешним миром. Военные разговаривали о каком-то трибунале, в котором им предстояло заседать. Ноэль не слушала, но слово-другое изредка доносилось до ее ушей.

- Сколько их сегодня? - услышала она вопрос старика.

Невысокий стриженный ответил:

- Сто четырнадцать.

Ноэль еще живо помнила маленькую бедную женщину, переживавшую свое горе, и невольно вся съежилась, глядя на этого старого солдата с тонким красивым лицом; в его твердых и спокойных руках была судьба "ста четырнадцати"; и, возможно, это происходит ежедневно. Может ли он понять несчастья или нужды этих людей? Нет, конечно, не может! Она вдруг увидела, что он оценивающе разглядывает ее своими острыми глазами. Знай он ее тайну, он, наверное, сказал бы: "Девушка из хорошего дома, а так поступает! О нет, это... это просто ни на что не похоже!"

Она почувствовала, что готова от стыда провалиться сквозь землю. Нет, пожалуй, он думает о другом: "Такая молодая - и путешествует одна в этот ранний час. К тому же хорошенькая!" Если бы он знал всю правду о ней - как бы он глядел на нее? Но почему же этот совершенно чужой ей человек, этот старый служака, одним случайным взглядом, одним только выражением лица заставил ее почувствовать себя гораздо более виновной и пристыженной, чем она чувствовала до сих пор? Это поразило ее. Он, наверно, просто твердолобый старик, начиненный всякими предрассудками; но он словно излучал какую-то властную силу, заставляющую ее стыдиться - должно быть, он твердо верит в своих богов и беззаветно им предан; она понимала, что он скорее умрет, чем отступит от своей веры и принципов. Она прикусила губу и отвернулась к окну, рассерженная, почти в отчаянии. Нет, она никогда, никогда не привыкнет к своему положению; тут уж ничего не поделаешь! И снова она затосковала о том, что видела во сне; ей захотелось уткнуться лицом в куртку, от которой пахнет грубой шерстью, зарыться в нее, спрятаться, забыть обо всем. "Если бы я была на месте этой маленькой одинокой женщины, - подумала она, - и понесла такую утрату, я бы бросилась в реку. Разбежалась бы и прыгнула. Это простая удача, что я жива. Не стану больше смотреть на этого старика и тогда не буду чувствовать себя такой плохой".

Она купила на вокзале шоколад и теперь грызла его, упорно глядя на поля, покрытые маргаритками и первыми цветками лютика и кашки. Трое военных разговаривали, понизив голоса. Слова: "эти женщины", "под контролем", "настоящая чума" - донеслись до нее, и уши ее запылали. Переживания вчерашнего дня, бессонная ночь и эта волнующая встреча с маленькой женщиной обострили ее

чувствительность; ей казалось, что военные и ее включают в число "этих женщин". "Если будет остановка, я выйду", - подумала она.

Но когда поезд остановился, вышли эти трое. Она еще раз почувствовала на себе острый взгляд старого генерала, как бы подводивший итог впечатлению, которое она произвела на него. На мгновение она посмотрела ему прямо в лицо. Он прикоснулся к фуражке и сказал:

- Вы желаете, чтобы окно было поднято или опущено? - И до половины поднял окно.

Эта педантичность старика только ухудшила ее настроение. Когда поезд тронулся, она принялась расхаживать взад и вперед по пустому вагону; нет, ей не выйти из такого положения, как не выйти из этого мчащегося вперед мягкого вагона! Ей показалось, что она слышит голос Форты: "Пожалуйста, сядьте!" - и почувствовала, как он удерживает ее за руку. Ах, как приятны были и как успокаивали его слова! Уж он-то никогда не станет упрекать ее, не станет напоминать ни о чем. Но теперь она, наверно, никогда с ним не встретится.

Поезд наконец остановился. Она не знала, где живет Джордж, и ей пришлось пойти к нему в госпиталь. Она рассчитывала быть там в половине десятого и, наскоро позавтракав на станции, направилась в город. Над побережьем еще стоял ранний рассвет, предвещавший ясное утро. На улицах становилось все оживленнее. Здесь чувствовалась деловитость, порожденная войной. Ноэль проходила мимо разрушенных домов. С грохотом проносились огромные грузовики. Лязгали товарные платформы, отгоняемые на запасный путь. В светлой дымке неба летали, как большие птицы, самолеты и гидросамолеты. И повсюду были хаки. Ноэль хотелось попасть к морю. Она пошла к западу и добралась до небольшого пляжа, там она села на камень и раскинула руки, словно стараясь поймать солнце и согреть лицо и грудь. Прилив уже кончился, на синем просторе моря видны были мелкие волны. Море - величайшее творение на всем свете, если не считать солнца; безбрежное и свободное - все человеческие деяния перед ним мелки и преходящи! Море успокоило ее, словно ласковое прикосновение руки друга. Оно может быть жестоким и страшным, может творить ужасные дела; но широкая линия его горизонта, его неумолчная песня, его бодрящий запах - лучшего лекарства не найти! Она пропускала меж пальцев зернистый

песок, и ее охватывал какой-то неудержимый восторг; сбросив башмаки и чулки, она болтала ногами в воде, потом стала их сушить на солнце.

Когда она уходила с этого маленького пляжа, ей казалось, что кто-то ей говорит:

"Твои несчастья ничтожно малы. Есть солнце, есть море, есть воздух, наслаждайся ими! Никто не может отнять этого у тебя".

В госпитале ей пришлось прождать Джорджа полчаса в маленькой пустой комнате.

- Нолли! Великолепно! У меня как раз свободный час. Давай уйдем из этого кладбища. У нас хватит времени, чтобы погулять по холмам. Как мило, что ты приехала! Ну, а теперь рассказывай.

Когда она кончила говорить, он сжал ей руку.

- Я знал, что ничего не получится. Твой отец забыл, что он глава прихода и что его будут осуждать. Но хотя ты и сбежала, он все равно подаст прошение об уходе, Нолли.

- О нет! - крикнула Нолли.

Джордж покачал головой.

- Да, он уйдет - ты увидишь; он ничего не смыслит в житейских делах, ни капли.

- Тогда получится, что я испортила его жизнь, что я... О нет!

- Давай сядем здесь. Мне надо вернуться в госпиталь к одиннадцати.

Они сели на скамью, откуда открывался вид на расстилающееся вокруг зеленое взгорье; оно возвышалось над спокойным, теперь уже очистившимся от тумана морем, далеким и очень синим.

- Почему он должен уйти? - снова воскликнула Ноэль. - Теперь, когда я покинула его? Ведь он пропадет без своей церкви.

Джордж улыбнулся.

- Он не пропадет, дорогая, а найдет себя. Он будет там, где ему надлежит быть, Нолли, где находится и его церковь, но где нет церковников, на небесах!

- Не смей! - страстно крикнула Ноэль.

- Нет, нет, я не издеваюсь. На земле нет места для святых, облеченных властью. Людям нужны символы святости, даже если они не верят в них. Но нам совершенно не нужны те, кто смотрит на все с двух противоположных точек зрения; кто, оставаясь святым и

провидцем, способен погружаться в практические мирские дела и командовать судьбами обыкновенных людей. Пример святости - да, но власть святых - никогда! Ты освободительница своего отца, Нолли.

- Но папа любит свою церковь.

Джордж нахмурился.

- Конечно, это для него удар. Человеку свойственно питать теплые чувства к тому месту, где он так долго был хозяином; да и в самом деле в церкви есть нечто притягательное: музыка, орган, запах ладана, таинственный полумрак - во всем этом какая-то красота, какой-то приятный наркоз. Но никто не просит его отказаться от привычки к наркозу, его просят только о том, чтобы он перестал угощать им других. Не беспокойся, Нолли, мне кажется, что это никогда не подходило ему; здесь нужна более толстая кожа.

- А как же все эти люди, которым он помогает?

- Почему же ему и дальше не помогать им?

- Но продолжать жить в этом же доме без... там умерла мать, ты ведь знаешь!

Джордж что-то проворчал.

- Он весь в мечтах, Нолли, - в мечтах о прошлом, о будущем и о том, каковы должны быть люди и что он может для них сделать. Ты ведь знаешь когда мы с ним встречаемся, мы обязательно спорим; но все-таки я его люблю. И любил бы его гораздо сильнее и спорил бы гораздо меньше, если бы он бросил свою привычку выступать непререкаемым авторитетом. Вот тогда-то, я думаю, он действительно мог бы оказать на меня влияние; в нем есть что-то красивое, и я это очень чувствую.

- Конечно, есть! - с жаром откликнулась Ноэль.

- В нем все как-то странно перемешалось, - размышлял вслух Джордж. - Он слишком чист для своих лет; духовно он на голову выше большинства священников, но в мирских делах ему до них далеко. И все же, я думаю, правда на его стороне. Церковь должна была бы стать последней надеждой людей, Нолли; тогда мы поверили бы в нее. А она стала неким коммерческим предприятием, которое никто не принимает всерьез. Видишь ли, духовному началу в людях церковь не может принести пользы в наш век, она просто не в состоянии выполнять свои обещания - да у нее и нет таких возможностей; она уже давно отказалась от этого ради мирских благ и влияния в

обществе. Твой отец - символ всего того, чем церковь не является в наши дни... Однако как быть с тобой, дорогая? В пансионе, где я живу, есть свободная комната; кроме меня, в нем живет только одна старая дама, которая вечно вяжет. Если Грэйси сумеет перевестись сюда, мы найдем отдельный дом, и ты возьмешь к себе ребенка. Ты напишешь домой, и тебе вышлют вещи с Пэддингтонского вокзала, а пока пользуйся вещами Грэйси, какие здесь есть.

- Мне надо послать телеграмму папе.

- Я пошлю сам. Приходи ко мне домой в половине второго. А до тех пор тебе лучше подождать здесь.

Когда он ушел, она побродила еще немного и прилегла на траве, мелкой и редкой, через которую полосами пробивался известняк. Издалека доносился глухой гул, словно ползущий по траве, - то громыхали пушки во Фландрии. "Интересно, такой ли там прекрасный день, как здесь? - подумала она. - Не видеть за пылью от рвущихся снарядов ни травы, ни бабочек, ни цветов, ни даже неба - как это ужасно! Ах, да будет ли этому когда-нибудь конец?" И ее охватила страстная любовь к этой теплой, поросшей травой земле; она прижалась к ней так плотно, что чувствовала ее всем телом, чувствовала легкое прикосновение травинок к носу и губам. Болезненная истома овладела ею, ей хотелось, чтобы земля раскрыла ей свои объятия, ответила на ее ласку. Она живет и хочет любви! Не надо смерти, не надо одиночества, не надо смерти!.. И там, где гудят пушки, миллионы людей, наверно, думают о том же!

## ГЛАВА X

Пирсон просидел почти всю ночь, разбирая реликвии своего прошлого: записи студенческих лет, сувениры, полученные за короткую семейную жизнь. И все время, пока он занимался этим грустным делом - разбирал памятки прошлого и уничтожал ненужное, - его поддерживала и укрепляла та идея, которая осенила его лунной ночью, когда он возвращался домой. Впрочем, все оказалось не так сложно, как он предполагал: при всей своей мечтательности Пирсон был до смешного аккуратен и деловит во всем, что касалось его прихода. Сотни раз он прерывал эту ночную работу, погружаясь в воспоминания. Каждый уголок, каждый ящик, каждая фотография, каждый клочок бумаги были нитями в паутине его жизни, сплетенной за долгие годы в этом доме. Тот или иной этап его работы, образы

жены и дочерей вставали перед ним, стоило ему посмотреть на мебель, картины, двери. Всякий, кто увидел бы, как он в ночных туфлях бесшумно переходил из кабинета в столовую, из столовой в гостиную, при тусклом свете, который пробивался через окно над входной дверью и из коридора, подумал бы: "Привидение, привидение, надевшее траур по тому, что происходит в мире". Пока не угас восторг, вызванный новой идеей, ему надо было подвести итог всей жизни. Ему надо было извлечь из глубин прошлого все, что его с ним связывало, чтобы раз и навсегда понять, хватит ли у него сил закрыть дверь в это прошлое. Пробило пять часов, когда он кончил свою работу и, почти падая от усталости, сел за маленькое пианино уже при свете дня. Последнее воспоминание, охватившее его, было самым значительным: он вспомнил свой медовый месяц, те дни, которые они прожили перед тем, как поселились в этом доме, уже выбранном для них и обставленном. Они провели этот месяц в Германии - первые дни в Баден-Бадене; и каждое утро пробуждались от звуков хора, который исполнялся в курзале парка, - нежная, красивая мелодия напоминала им, что они в раю. Тихо, тихо, будто мелодия звучит во сне, он стал наигрывать один за другим старинные хоралы, и нежные звуки улетали в открытое окно, пугая ранних птиц и кошек и удивляя немногих людей, которые уже появились на улице.

Телеграмму от Ноэль он получил днем, как раз тогда, когда собирался отправиться к Лиле, чтобы узнать что-либо о дочери; и тут же явился Лавенди. Пирсон застал художника в гостиной - он с безутешным видом стоял перед портретом Ноэль.

- Mademoiselle покинула меня?

- Боюсь, что мы все скоро покинем вас, monsieur.

- Вы уезжаете?

- Да, я уезжаю. Думаю, во Францию.

- А mademoiselle?

- Она сейчас живет у моего зятя на взморье.

Художник запустил было руку в волосы, но тут же отдернул ее, вспомнив, что его могут обвинить в невоспитанности.

- Mon Dieu! {Бог мой! (франц.).} - воскликнул он. - Это же для вас катастрофа, monsieur le cure! - Впрочем, рамки катастрофы так явно ограничивались для самого художника незаконченным портретом, что Пирсон невольно улыбнулся.

- Ah, monsieur, - сказал художник, от которого не ускользнуло выражение лица Пирсона. - Comme je suis egoiste! {Как я эгоистичен! (франц.).} Я дал волю своим чувствам; это прискорбно. Мое разочарование может показаться вам пустяковым - вы ведь огорчены, что покидаете свой старый дом. Должно быть, для вас это огромное несчастье. Поверьте мне, я понимаю это. Однако проявлять сочувствие к горю, которое стараются скрыть, - это уже просто дерзость, не правда ли? Вы, английские джентльмены, не хотите делиться с нами вашими горестями; вы оставляете их при себе.

Пирсон уставился на него.

- Верно, - сказал он. - Совершенно верно.

- Я не могу судить о христианстве, monsieur, но для нас, художников, двери человеческих сердец всегда открыты - и наши и чужие. Мне думается, мы лишены гордости - c'est tres indelicat! {Это очень неделикатно! (франц.).} Скажите мне, monsieur, вы не считали бы совместимым с вашим достоинством поведать мне о ваших горестях, как я когда-то поведал вам о своих?

Пирсон смущенно опустил голову.

- Вы проповедуете всеобщее милосердие и любовь, - продолжал Лавенди. Но разве это совместимо с тем, что вы одновременно как бы тайно поучаете хранить горести при себе? Люди следуют примеру, а не поучению; а вы являете собой пример того, как поступает посторонний человек, а не брат. Вы ждете от других того, чего не даете сами. Право же, monsieur, неужели вы не понимаете, что, раскрывая людям душу и чувства, вы передаете им свою добродетель? И я вам объясню, почему вы этого не понимаете, если только вы не примете это за обиду. Вам кажется, что если вы откроете свое сердце, то потеряете авторитет, и, видимо, боитесь этого. Вы служители церкви и обязаны никогда об этом не забывать. Разве не так?

Пирсон покраснел.

- Мне кажется, что есть и другое объяснение. По-моему, говорить о своих горестях и глубоких переживаниях - это значит быть навязчивым, надоедать людям пустяками, думать только о себе, вместо того, чтобы думать о ближних.

- Monsieur, au fond {Мосье, в сущности (франц.).} мы все думаем только о себе. Казаться самоотверженным - это только особая манера проповедовать самоусовершенствование. Вы полагаете, что не быть

навязчивым - это один из способов самоусовершенствования. Eh bien! {Что ж! (франц.).} Да разве это не есть проявление самого глубокого интереса к себе? Освободиться от этого можно только одним путем: делать свое дело, забывая о себе, как забываю обо всем я, когда пишу картину. Но, - добавил он с неожиданной улыбкой, - вы ведь не захотите забыть о самоусовершенствовании - это шло бы вразрез с вашей профессией!.. Итак, мне придется забрать этот портрет. Можно? Это одна из лучших моих работ. Я очень жалею, что не окончил его.

- Когда-нибудь потом, быть может...

- Когда-нибудь! Портрет останется таким же, но mademoiselle - нет! Она натолкнется на что-либо в жизни, и вы увидите - это лицо уйдет в небытие. Нет, я предпочитаю сохранить портрет таким, какой он сейчас. В нем - правда.

Сняв полотно, он сложил мольберт и прислонил его к стене.

- Bon soir, monsieur {Доброй ночи, мосье! (франц.).}, вы были очень добры ко мне. - Он потряс руку Пирсону, и на мгновение в его лице не осталось ничего, кроме глаз, в которых светилась какая-то затаенная мысль. Adieu! {Прощайте! (франц.).}

- До свидания! - тихо ответил Пирсон. - Да благословит вас бог!

- Не думаю, чтобы я очень верил в него, - ответил Лавенди. - Но я всегда буду помнить, что такой хороший человек, как вы, хотел этого. Пожалуйста, передайте mademoiselle мое самое почтительное приветствие. Если позволите, я зайду за остальными вещами завтра. - И, взяв полотно и мольберт, он удалился.

Пирсон сидел в старой гостиной, поджидая Грэтиану и размышляя над словами художника. Неужели из-за своего воспитания и положения он не может относиться к людям по-братски? Не в этом ли секрет того бессилия, которое он время от времени ощущал? Не в этом ли причина того, что милосердие и любовь не пускали ростков в сердцах его паствы? "Видит бог, я никогда сознательно не ощущал своего превосходства, - подумал он. - И все-таки я бы постыдился рассказывать людям о своих бедах и борьбе с самим собой. Не назвал ли бы нас Христос, очутись он снова на земле, фарисеями за то, что мы считаем себя на голову выше остальных людей? Но, право же, оберегая свои души от других людей, мы проявляем себя скорее как фарисеи, чем как христиане. Художник назвал нас чиновниками.

Боюсь... боюсь, что это правда". Ну, хватит! Теперь уж для этого не будет времени. Там, куда он поедет, он научится раскрывать сердца других и раскрывать свое сердце. Страдания и смерть снимают все барьеры, делают всех людей братьями. Он все еще сидел задумавшись, когда вошла Грэтиана. Взяв ее руку, он сказал:

- Ноэль уехала к Джорджу, и мне хотелось бы, чтобы ты тоже перевелась туда, Грэйси. Я оставляю приход и буду просить о назначении меня капелланом в армию.

- Оставляешь приход? После стольких лет? И все из-за Нолли?

- Нет, мне кажется, не из-за этого - просто пришло время! Я чувствую, что моя работа здесь бесплодна.

- О нет! Но даже если и так, то это только потому, что...

- Только почему, Грэйси? - улыбнулся Пирсон.

- Папа, то же самое происходило и со мной. Мы должны сами думать обо всем и сами все решать, руководствуясь своей совестью; мы больше не можем смотреть на мир чужими глазами.

Лицо Пирсона потемнело.

- Ах! - сказал он. - Как это мучительно - потерять веру!

- Но зато мы становимся милосердными! - воскликнула Грэтиана:

- Вера и милосердие не противоречат друг другу, моя дорогая.

- Да, в теории; но на практике они нередко находятся на разных полюсах. Ах, папа! Ты выглядишь таким усталым. Ты и в самом деле принял окончательное решение? А тебе не будет одиноко?

- Быть может. Но там я обрету себя.

У него было такое лицо, что Грэтиане стало больно, и она отвернулась.

Пирсон ушел в кабинет, чтобы написать прошение об уходе. Сидя перед чистым листом бумаги, он окончательно понял, что глубоко презирает публичное осуждение, которое коснулось его собственной плоти и крови; он видел также, что все его действия продиктованы чисто мирским рыцарством по отношению к дочери, суетным чувством обиды. "Гордыня! - подумал он. - Что же, оставаться мне здесь и попробовать подавить ее?" Дважды он откладывал перо, дважды брался за него снова. Нет, он не сумеет подавить в себе гордыни. Остаться там, где его не хотят, согласиться на то, чтобы его только терпели, никогда! Так, сидя перед чистым листом бумаги, он пытался совершить самое трудное дело, какое может совершить

человек, - увидеть себя со стороны. Как и следовало ожидать, ему это не удалось; отвергнув приговоры других, он остановился на том, который вынесла ему собственная совесть. И снова вернулась мысль, которая терзала его с самого начала войны: его долг умереть за родину! Остаться в живых, когда столь многие из его паствы приносят последнюю жертву, недостойно его. Эта мысль еще глубже укоренилась в нем после семейной трагедии и того горького разочарования, которое она принесла. Оставшись наедине со своим прошлым, которое покрылось пылью и стало казаться иллюзорным, он терзался еще и мыслью о том, что отвергнут своей кастой. У него было странное ощущение, что его прежняя жизнь спадает с него, как змеиная кожа; кольцо за кольцом отпадают все его обязанности, которые он выполнял день за днем, год за годом. Да и существовали ли они когда-нибудь на самом деле? Ну что ж, теперь он стряхнул их с себя, и ему надо идти в жизнь, озаренную великой реальностью - смертью!

Взяв в руку перо, он написал прошение об уходе.

## ГЛАВА XI

Последнее воскресенье - солнечное и яркое! Гретиана, хотя Пирсон не просил ее об этом, посещала каждую службу. Увидев ее в этот день сидящей после такого долгого перерыва на их семейной скамье, где он так привык видеть жену и черпать в этом новые силы, - он волновался больше, чем когда-либо. Он никому не говорил, что собирается покинуть приход, опасаясь фальши, недомолвок и всяких намеков, которые будут неизбежны, как только кто-нибудь начнет выражать сожаление. Он скажет об этом в последнюю минуту, в своей последней проповеди! Весь день он провел, как во сне. Поистине гордый, впечатлительный, уже чувствуя себя отверженным, он одинаково сторонился всех, не пытаясь делить прихожан на своих сторонников и на тех, кто отошел от него. Он знал, что найдутся люди, и, возможно, таких будет немало, которых глубоко опечалит его уход - но искать их, взвешивать на весах их мнение, противопоставлять остальным - нет, это было противно его натуре. Либо все, либо ничего!

И когда он в последний раз поднялся по ступенькам на свою темную кафедру, он ничем не обнаружил, что наступил конец; быть может, он и сам еще не отдавал себе в этом отчета. Был теплый

летний вечер, и прихожан в церкви собралось очень много. Хотя прихожане вели себя сдержанно, все же слух об его уходе распространился, и каждый был полон любопытства. Авторы писем, анонимных и прочих, потратили эту неделю не для того, чтобы предать гласности ими написанное, а для того, чтобы оправдать в своих глазах этот поступок. Такое оправдание легче всего можно было получить в разговорах с соседями - о тяжелом и неприятном положении, в котором очутился бедный викарий. В общем, церковь стала посещаться куда лучше, чем в начале лета.

Пирсон никогда не был выдающимся проповедником. Его голосу не хватало звучности и гибкости, а мыслям - широты и жизненной убедительности; к тому же он не был свободен от той певучести, которая так портит речь профессиональных ораторов. Зато его доброта и искренность всегда оставляли впечатление. В эту последнюю воскресную службу он произносил проповедь на ту же тему, что и в тот раз, когда молодым и полным сил впервые взошел на эту кафедру, - сразу же после медового месяца, который он провел с молодой женой: "Соломон во всей славе своей пышностью одежды не был подобен одной из сих". Но теперь проповеди не хватало той радостной приподнятости, которую он испытывал в счастливейшие дни своей жизни; зато усилилась ее острота, чему немало способствовали его страдальческое лицо и утомленный голос. Грэтиана, которая знала, что, закончив проповедь, он будет прощаться с прихожанами, начала задыхаться от волнения еще задолго до того. Она сидела, смахивая слезы и не глядя на него, пока он не сделал паузу, слишком продолжительную, и тут ей подумалось, что он теряет силы. Пирсон стоял, слегка наклонившись вперед, и, казалось, ничего не видел; его руки, вцепившиеся в край кафедры, дрожали. В церкви стояла глубокая тишина - выражение его лица и вся фигура казались необычными даже Грэтиане. Когда его губы зашевелились и он начал снова говорить, глаза ее застлало пеленой, и она на мгновение перестала его видеть.

- Друзья мои, я покидаю вас. Это последние слова, с которыми я к вам обращаюсь в этой церкви. Передо мной другое поле деятельности. Вы все были очень добры ко мне. Бог был милостив! ко мне. Я молюсь от всего своего сердца: да благословит он вас всех. Аминь! Аминь!

Пелена превратилась в слезы, и Грэтиана увидела, что он смотрит на нее сверху. На нее ли? Он, несомненно, что-то видел, но, может быть, перед ним было видение более сладостное - та, кого он любил еще больше? Она упала на колени и закрыла лицо руками. Все время, пока пели гимн, она стояла на коленях и не поднялась и тогда, когда он медленно и отчетливо произносил последнее благословение:

- Милость божия, безграничная и непостижимая, да пребудет с вами, да укрепит сердца и умы ваши в познании бога и в любви к нему и сыну его Иисусу Христу, нашему спасителю; и да почиет на вас благословение всемогущего бога - отца, сына и святого духа, да будет воля его с вами навеки.

Она до тех пор стояла на коленях, пока не осталась одна. Потом поднялась и, выскользнув из церкви, пошла домой. Отец еще не возвращался, да она и не ждала его. "Все кончено, - думала она, - все кончено. Дорогой папочка! Теперь у него нет дома - мы с Нолли разбили ему жизнь; и все же я не виновата, и, может быть, не виновата и она. Бедная Нолли!"

Пирсон задержался в ризнице, разговаривая с певчими и служками; здесь все прошло гладко, потому что его прошение было принято, и он договорился с одним своим другом, чтобы тот выполнял его обязанности, пока не будет назначен новый викарий. Когда все разошлись, он вернулся в пустую церковь и поднялся на хоры к органу. Там было открыто окно, и он выпянул наружу, опираясь на каменный подоконник и чувствуя, что отдыхает всей душой. Только теперь, когда все уже кончилось, он понял, через какие мучения прошел. Чирикали воробьи, но шум уличного движения стал тише - был обеденный час спокойного воскресного дня. Кончено! Просто не верится, что он больше никогда не поднимется сюда, не увидит этих крыш, этого уголка Сквер-Гарден, не услышит знакомого чириканья воробьев. Он сел к органу и начал играть. В последний раз исторгнутые его руками звуки гремели в пустом доме божием, отдаваясь эхом в его стенах. Он играл долго, внизу медленно темнело. Из всего, что он покинет здесь, ему больше всего будет не хватать одного: права приходить и играть в полутемной церкви, посылать в сумеречную пустоту эти волнующие звуки, наполняющие ее еще большей красотой. Аккорд за аккордом, и он все глубже погружался в море нарастающих звуковых волн, теряя всякое чувство реальности,

пока музыка и темное здание не слились воедино в какой-то благодатной торжественности. А внизу тьма завладела всей церковью. Уже не видно было ни скамей, ни алтаря, только колонны и стены. Он начал играть свое любимое аллегretto из Седьмой симфонии Бетховена; он оставил это напоследок, зная, какие видения эта музыка вызывает в нем. Через маленькое оконце вползла кошка, охотившаяся за воробьями; уставившись на него зелеными глазами, она замерла в испуге. Он закрыл орган, быстро спустился вниз и в последний раз окинул взглядом церковь. На улице было теплее и светлее, чем в церкви, - дневной свет еще не угас. Он отошел на несколько шагов и остановился, глядя вверх. Стены, контрфорсы и шпиль были окутаны молочной пеленой. Верхушка шпиля словно упиралась в звезды. "Прощай, моя церковь! подумал он. - Прощай, прощай!"

Он почувствовал, как дрогнуло его лицо; стиснув зубы, он повернулся и пошел прочь.

## ГЛАВА XII

Когда Ноэль убежала, Форт бросился было за ней, но понял, что хромота помешает ему догнать ее; он вернулся и вошел в спальню к Лиле. Она уже сняла платье и все еще неподвижно стояла перед зеркалом с сигаретой в зубах; синеватый дымок клубился в комнате. В зеркале он видел ее лицо - бледное, с красными пятнами на щеках; даже уши у нее горели. Она будто не слышала, что он вошел, но он заметил, как изменились ее глаза, когда она увидела его отражение в зеркале. Взгляд их, застывший и безжизненный, стал живым, в нем чувствовалась затаенная ненависть.

- Ноэль ушла, - сказал Форт.

Она ответила, словно обращаясь к его отражению в зеркале:

- А ты не пошел за ней? Ах, нет? Ну, конечно, помешала нога! Значит, она удрала? Боюсь, что это я спугнула ее.

- Нет. Думаю, что это я ее спугнул.

Лиля обернулась.

- Джимми, я ведь понимаю, что вы разговаривали обо мне. Что угодно, она пожала плечами, - но это!..

- Мы не говорили о тебе. Я только сказал, что не надо завидовать тебе только потому, что у тебя есть я. Ведь верно же?

Не успев договорить, он тут же раскаялся. Гнев в ее глазах сменился молчаливым вопросом, потом горечью. Она крикнула:

- Да, мне можно было завидовать! Ах, Джимми, можно было! - И она бросилась ничком на кровать.

В голове у Форта мелькнуло: "Как все это скверно!" Как ему утешить ее, как уверить, что он любит ее, если... он ее не любит? Как сказать, что он жаждет ее, если он жаждет Ноэль? Он подошел к кровати и осторожно прикоснулся к ее плечу.

- Лила, что с тобой? Ты переутомилась. И в чем дело? Я ведь не виноват, что эта девочка явилась сюда. Почему это тебя так расстроило? Она ушла. Все хорошо. Все снова так, как было раньше.

- Да! - донеслось до него приглушенное эхо. - Все снова так!

Он опустил на колени и погладил ее руку. Рука задрожала от его прикосновения, потом перестала дрожать, словно ожидая, что он еще раз прикоснется и гораздо теплее; потом задрожала снова.

- Посмотри на меня, - сказал он. - Что тебе нужно? Я сделаю все, что ты захочешь.

Она повернулась к нему, подтянулась на кровати, оперлась на подушку, словно ища в ней опоры, и подобрала ноги - он был поражен той силой, которой дышала в этот миг вся ее фигура.

- Мой милый Джимми, - сказала она, - я ни о чем не прошу тебя - только принеси мне сигарету. В моем возрасте не приходится ждать больше того, что имеешь. - Она протянула руку и повторила: - Тебе не трудно принести сигарету?

Форт поднялся и пошел за сигаретами. С какой странной, горькой и в то же время спокойной улыбкой она сказала это! Но едва он вышел из комнаты и начал искать в темноте сигареты, как уже снова, с болью и тревогой, вспомнил о Ноэль - оскорбленная, она убежала так стремительно, не зная даже, куда ей пойти! Наконец он нашел портсигар из карельской березы и, прежде чем вернуться к Лиле, сделал мучительное усилие над собой, пытаясь прогнать образ девушки. Лила все еще сидела на кровати, скрестив руки, - так спокоен бывает человек, нервы которого напряжены до предела.

- Закури и ты, - сказала она. - Пусть это будет трубкой мира.

Форт подал ей огня и, закулив сам, сел на край кровати; мысли его снова вернулись к Ноэль.

- Интересно, - вдруг сказала Лила, - куда она ушла? Ты не мог бы поискать ее? Она опять может натворить что-нибудь... безрассудное.

Бедный Джимми! Вот будет жалость! Значит, сюда приходил этот монах и пил шампанское? Недурно! Дай мне немного вина, Джимми!

И снова Форт вышел в другую комнату, и снова последовал за ним образ девушки. Когда он вернулся, Лида уже надела то самое черное шелковое кимоно, в котором внезапно появилась в ту роковую ночь после концерта в Куинс-Холле. Она взяла бокал с вином и прошла в гостиную.

- Садись, - сказала она. - Нога не болит?

- Не больше, чем обычно. - И он сел рядом с ней.

- Не хочешь ли выпить? In vino veritas {Истина в вине (лат.)}, мой друг. Он покачал головой и сказал смиренно:

- Я восхищаюсь тобой, Лида.

- Это очень приятно. Я не знаю никого, кто бы мною восхищался.

- И Лида залпом выпила шампанское.

- А тебе не хотелось бы, - заговорила она, - чтобы я была одной из этих замечательных "современных женщин", умных и добродетельных? О, я бы на все лады рассуждала о мироздании, о войне, о причинах вещей, распивала бы чай и никогда бы не докучала тебе расспросами, любишь ли ты меня. Как жаль!

Но Форт в эту минуту слышал только слова Ноэль: "Все это ужасно забавно, не правда ли?"

- Лида, - сказал он вдруг, - ведь надо же что-нибудь предпринять. Я обещаю тебе не встречаться больше с этой девочкой - по крайней мере до тех пор, пока ты сама этого не пожелаешь.

- Милый мой, она уже не девочка. Она вполне созрела для любви, а я... я слишком перезрела. Вот в чем вся суть, и мне приходится мириться с этим.

Она вырвала у него свою руку, уронила пустой стакан и закрыла лицо. У Форта появилось мучительное ощущение, которое овладевает каждым истинным англичанином, ожидающим, что вот-вот разразится сцена. Схватить ее за руки, оторвать их от лица и поцеловать ее? Или встать и оставить ее одну? Говорить или молчать; пытаться утешать; пытаться притворяться? Он не сделал ничего. Он понимал Лиду. но лишь настолько, насколько мужчина вообще способен понять женщину на том этапе ее жизни, когда она признает себя побежденной молодостью и красотой. Но это был лишь

мгновенный, слабый проблеск. Гораздо яснее он видел другое: Лила наконец поняла, что она его любит, а он ее нет.

"И я ничего не могу поделать с этим, - думал он тупо, - просто ничего не могу поделать!" Что бы он теперь ни сказал, как бы ни поступил, - ничего не изменится. Нельзя убедить женщину словами, если поцелуи потеряли силу убеждения. Но тут к его бесконечному облегчению она отняла руки от лица и сказала:

- Все это очень скучно. Я думаю, тебе лучше уйти, Джимми.

Он хотел было возразить ей, но побоялся, что голос его прозвучит фальшиво.

- Еще немного, и была бы сцена, - сказала Лила. - Господи! Как ненавидят их мужчины! В свое время и я тоже ненавидела. У меня было предостаточно сцен в жизни; никакого толку от них нет - ничего, кроме головной боли на следующее утро. Я избавила тебя от сцены, Джимми! Поцелуй же меня за это!

Он наклонился и прижался губами к ее губам. От всего сердца он хотел ответить на ту страсть, которая таилась в ее поцелуе. Она внезапно оттолкнула его и сказала слабым голосом:

- Спасибо; ты все-таки старался!

Форт провел рукой по глазам. Ее слова странно растрогали его. Какое он все-таки животное! Он взял ее бессильно повисшую руку, приложил к губам, и прошептал:

- Я приду завтра. Мы пойдем в театр, хорошо? Спокойной ночи, Лила!

Но, открывая дверь, он уловил выражение ее лица; она глядела на него, явно ожидая, что он обернется; в глазах ее стоял испуг, они вдруг стали кроткими, такими кроткими, что у него сжалось сердце.

Она подняла руку, послала ему воздушный поцелуй и улыбнулась. Сам не зная, ответил ли он на ее улыбку, Форт вышел. Но все-таки он не мог решиться уйти так и, перейдя мостовую, остановился и стал смотреть вверх на ее окна. Ведь она была очень добра к нему! У него было такое ощущение, будто он выиграл крупный куш и сбежал, не дав возможности партнеру отыгаться. Если бы только она не любила его, если бы их объединяла только бездушная связь, пошлая любовная интрига! Нет, все что угодно - только не это! Англичанин до мозга костей, он не мог так легко освободиться от чувства вины. Он не знал, как уладить отношения с

ней, как заглядывать вину, и поэтому чувствовал себя негодяем. "Может быть, вернуться назад?" - подумал он вдруг. Штора на окне шевельнулась. Потом полосы света исчезли. "Она легла, - решил Форт. - Я еще больше расстроил бы ее... Но где сейчас Ноэль? Вот ее я, наверно, никогда больше не увижу. Все это, вместе взятое, - скверная история. О господи, ну конечно! Очень скверная история!"

И с трудом, потому что нога у него разболелась, он зашагал дальше.

Лиля очень хорошо понимала ту истину, что чувства людей, которых жизнь поставила вне так называемых моральных барьеров, не менее реальны, не менее остры и не менее серьезны, чем чувства тех, кто находится внутри этих барьеров. Ее любовь к Форту была, как ей казалось, даже сильнее и острее так дикое яблоко всегда ароматнее яблока оранжерейного. Она заранее знала, что скажет о ней общественное мнение, ибо по собственной воле вышла за пределы этого морального круга; именно поэтому она даже не вправе считать свое сердце разбитым; другое дело, если бы Форт был ее мужем! Общественное мнение - она знала это - будет исходить из того, что она не имеет на него никаких прав и, следовательно, чем скорее будет разорвана эта незаконная связь, тем лучше! Но Лиля чувствовала, что она так же несчастна сейчас, как если бы Джимми Форт был ее мужем. Она не хотела стоять за пределами морали, всю жизнь не хотела этого! Она была из тех, кто, исповедавшись в грехе, начинает грешить снова и грешить с чистой совестью. Да, она никогда не собиралась грешить, она хотела только любить; а когда она любила, все остальное теряло для нее всякое значение. По натуре она была игроком, и ей всегда приходилось расплачиваться за проигрыш. Но на этот раз ставка была слишком крупной, чтобы женщина могла легко за нее расплатиться. То была ее последняя игра, она знала это. До тех пор, пока женщина уверена в своей привлекательности, надежда не покидает ее даже после того, как над любовной интригой опустится занавес. И вот теперь надежда эта угасла, и, когда опустился очередной занавес, Лиля почувствовала, что ее окутывает мрак и она останется в нем до тех пор, пока старость не сделает ее ко всему безразличной. А ведь между сорока четырьмя годами и старостью - целая пропасть! В первый раз случилось так, что она надоела мужчине. Почему? Может быть, он был равнодушен к ней с самого

начала - или ей это кажется? В одно короткое мгновение, словно она шла ко дну, перед ней пронеслись подробности их связи, и теперь она уже с уверенностью знала, что у него это никогда не было подлинной любовью. Жгучее чувство стыда охватило ее, и она уткнулась лицом в подушку. Сердце его все время принадлежало этой девушке. С усмешкой она подумала: "Я поставила не на ту лошадь; надо было ставить на Эдварда. Этому бедному монаху я наверняка смогла бы вскружить голову. Если бы только я не встретила снова с Джимми! Если бы изорвала его письмо! Может быть, мне удалось бы пробудить любовь в Эдварде. Может быть, может быть!.. Какая глупость! Все происходит так, как должно". Вскочив, она заметалась по своей маленькой комнате. Без Джимми она будет несчастна, но с ним ей тоже не видать счастья. "Мне было бы невыносимо теперь смотреть на него, - думала она, - но и жить без него я не могу. Вот ведь забавно!" Мысль о госпитале наполнила ее отвращением. День за днем ходить туда с этим отчаянием в сердце, - нет, это невыносимо! Она стала подсчитывать свои ресурсы. У нее оказалось больше денег, чем она думала; Джимми к рождеству преподнес ей подарок - пятьсот фунтов. Сначала она хотела разорвать чек или заставить Джимми взять его обратно. Но в конце концов уроки предыдущих пяти лет одержали верх, и она положила деньги в банк. Теперь она была рада этому. Не придется думать о деньгах. Она все больше уходила мыслями в прошлое. Она вспомнила своего первого мужа Ронни Фэйна, их комнату с занавесками от москитов, чудовищную жару Мадраса. Бедный Ронни! Какой бледный, циничный, молодой призрак, носящий это имя, встал перед ней! Она вспомнила Линча, его прозаическое, какое-то лошадиное лицо. Она любила их обоих - некоторое время. Она вспомнила южноафриканскую степь, Верхнюю Констанцию, очертания Столовой Горы под звездами; и... тот вечер, когда она впервые увидела Джимми, его прямой взгляд, его кудрявую голову, доброе, открытое, по-мальчишески задорное лицо. Даже теперь, после стольких месяцев связи, воспоминание о том далеком вечере во время уборки винограда, когда она пела для него под благоухающим плющом, - даже теперь это воспоминание не утратило для нее своей прелести. В тот вечер, одиннадцать лет назад, когда она была в полном расцвете, он во всяком случае тосковал по ней. Тогда она могла стать хозяйкой положения; и встреча его с Ноэль не имела

бы никакого значения. Подумать только - у этой девушки впереди еще пятнадцать лет до полного расцвета! Пятнадцать лет колдовства; а потом еще десять лет - до полной отставки. Что ж! Если Ноэль выйдет замуж за Джимми, то к тому времени, когда она достигнет этого рокового возраста - сорока четырех лет, - он станет уже пубокиим стариком и все еще будет обожать ее. Она почувствовала, что не в силах сдержать крик, и, приложив ко рту платок, погасила огонь. Темнота немного успокоила ее. Она раздвинула шторы и впустила в комнату лунный свет. Джимми и эта девушка где-то ищут друг друга, если не на самом деле, то мысленно. И когда-нибудь, может быть скоро, они встретятся, потому что такова воля судьбы! Да, это судьба придала ее молодой кузине сходство с ней самой; судьба поставила девушку в такое беспомощное положение, что Джимми потянуло к ней, и эта ее беспомощность дала ему преимущество перед молодыми людьми. С горькой отчетливостью Лила видела все это. Но хорошие игроки сразу прекращают игру, когда проигрывают! Да и, кроме того, гордая женщина не станет удерживать любовника против его воли! Если бы у нее был хотя бы малейший шанс, она бы отбросила свою гордость, затоптала бы ее в грязь, исколола шипами! Но у нее не было этого шанса. Она сжала кулак и погрозила им в темноту, словно самой судьбе, которую никогда не поймаешь, - этой неосязаемой, бессовестной, беспощадной судьбе, с ее легкой насмешливой улыбкой, лишенной всякого человеческого тепла. Ничто не может повернуть назад ход времени. Ничто не может дать ей того, что имеет эта девушка. Время "прикончило" ее, как прикончит всех женщин, одну за другой. Лила видела себя год за годом - вот она стала немного больше пудриться, немного больше румяниться, вот она уже красит волосы, прибегает, и довольно искусно, к разным маленьким ухищрениям - и для чего? Чтобы увидеть, как его лицо становится все холоднее и отчужденнее; как он все с большим трудом старается придать своему голосу нежность; узнать, что за всем этим таится отвращение и невысказанная мысль: "Ты отгородила меня от жизни, от любви!", пока в один прекрасный вечер нервы не выдержат, и она скажет или сделает что-нибудь ужасное, а он встанет и навсегда уйдет от нее.

"Нет, Джимми, - подумала она, - ищи ее и оставайся с ней. Ты не стоишь всего этого!" И, задернув шторы, словно этим жестом она могла преградить путь настигавшей ее судьбе, она включила верхний

свет и села за письменный стол. Несколько минут она сидела неподвижно, опершись подбородком на руки; черные шелковые рукава упали, обнажив руки. На уровне ее лица висело маленькое зеркало в прихотливой резной рамке слоновой кости, и она видела себя в нем; это зеркало она купила на каком-то индийском базаре лет двадцать пять назад. "Я не безобразна, - подумала она со страстным воодушевлением, нет, не безобразна. Я все еще привлекательна. Если бы только не появилась эта девочка! И все это я сделала своими руками. Ах, что толкнуло меня написать и Эдварду и Джимми?" Она повернула зеркало к стене и взялась за перо.

"Мой дорогой Джимми,

Для нас обоих будет лучше, если ты возьмешь себе отпуск и немного отдохнешь от меня. Не приходи, пока я не напишу тебе. Мне очень жаль, что я так расстроила тебя сегодня вечером. Развлекайся, отдыхай хорошенько и ни о чем не беспокойся.

Твоя...."

Она не дописала - на страницу упала слеза; пришлось разорвать письмо и начать сначала. На этот раз она подписалась: "Твоя Лила".

"Я должна отправить письмо сейчас же, - подумала она, - иначе он не получит его до завтрашнего вечера. Второй раз я уже этого не вынесу!" Она выбежала на улицу и опустила письмо в почтовый ящик. Ночь была напоена ароматами цветов; поспешно вернувшись к себе, она улеглась и несколько часов лежала без сна, ворочаясь с боку на бок и вглядываясь в темноту.

### ГЛАВА XIII

У Лилы было много мужества, но мало терпения. Теперь ее захватила только одна мысль - уехать; и она сразу начала устраивать свои дела и хлопотать о разрешении вернуться в Южную Африку. Возня с покупками, с подготовкой к отъезду - все это успокаивало ее. Трудно было придумать лучшее лекарство. Путешествия по морю в те дни были опасны, но ощущение риска доставляло ей какое-то удовольствие. "Если я пойду ко дну, - думала она, тем лучше; сразу конец, без долгих проволочек". Но когда разрешение было у нее уже в руках и каюта заказана, она со всей ясностью поняла непоправимость этого шага. Повидать его еще раз или нет? Пароход отходил через три дня, надо было решать. Если бы он, чувствуя угрызения совести, проявил к ней хоть какую-то нежность, она еще могла бы отказаться

от своего решения; но тогда бы снова начался весь этот ужас и она снова была бы вынуждена пойти на тот же шаг. Она колебалась до тех пор, пока не наступил канун отъезда; болезненная потребность увидеть его и боязнь этой встречи стали настолько непереносимыми, что она потеряла покой. К вечеру все до последней мелочи было уложено; она вышла на улицу, еще ни на что не решившись. Странное желание повернуть торчавший в ее ране кинжал и узнать, что стало с Ноэль, привело ее к дому Эдварда. Почти бессознательно она надела самое красивое платье и целый час провела у зеркала. Лицо ее горело. Она раздумялась от лихорадки скорее душевной, чем телесной, не оставлявшей ее с той знаменательной ночи, и была очень хороша; по дороге на Бейкер-стрит она купила гардению и приколотла ее к платью. Дойдя до дома Пирсона, она с удивлением увидела на дверях доску с надписью: "Сдается в наем", хотя дом казался еще обитаемым. Она позвонила, ее провели в гостиную. Лила только дважды бывала в этом доме, и почему-то, быть может, потому, что сама она была так несчастна, старая, довольно запущенная комната показалась ей необычайно трогательной, словно наполненной прошлым. "Интересно, как выглядела его жена?" - подумала она. И тут же увидела на стене, на куске черного бархата, выцветший портрет стройной молодой женщины - она сидела, слегка подавшись вперед, положив руки на колени. Портрет был выполнен в сиреневых, палевых и розовых тонах. Глаза, очень живые и немного похожие на глаза Гретианы; лицо нежное, энергичное, доброе. "Да, - размышляла Лила, должно быть, он очень тебя любил! И распрощаться с тобой ему было нелегко". Она еще стояла перед портретом, когда вошел Пирсон.

- Какое милое лицо, Эдвард! Я пришла проститься. Уезжаю завтра в Южную Африку. - Прикоснувшись к его руке, она подумала: "Какая глупость - подумать только, что я собиралась влюбить в себя этого человека!"

- Значит, ты... ты расстаешься с ним? Лила кивнула.

- Весьма похвально, прекрасно!

- Ах, нет! Просто плетью обуха не перешибешь. Я отказываюсь от своего счастья отнюдь не добровольно. Вот в чем истина! Какой я стану, не знаю, но не лучше, чем сейчас, можешь быть уверен! Я отказываюсь от счастья потому, что не могу удержать его, и ты знаешь причину этого. Где Ноэль?

- Она на взморье вместе с Джорджем и Гретианой. Он смотрел на нее с удивлением; выражение его лица, в котором были жалость и недоумение, сердило ее.

- Я вижу, дом сдается. Кто бы мог подумать, что это дитя в силах свалить два таких дуба, как мы с тобой? Ничего, Эдвард, в наших жилах течет одна кровь. Как-нибудь вывернемся, каждый по-своему. А ты-то куда едешь?

- Кажется, меня назначают капелланом на восток. На мгновение у Лилы мелькнула дикая мысль: "А что, если я предложу ему поехать с ним - два бездомных пса вместе?"

- Эдвард, что было бы, если бы в ту Майскую неделю, когда мы были чуточку влюблены друг в друга, ты предложил мне выйти за тебя замуж? Кто бы из нас оказался в проигрыше - ты или я?

- Ты бы не пошла за меня, Лила.

- Ах, кто знает! Но тогда ты не стал бы священником и уж никогда святым.

- Не произноси этого глупого слова. Если бы ты знала!..

- Я знаю; я знаю, что ты наполовину сожжен заживо; наполовину сожжен и наполовину похоронен! Что ж, ты получил свою награду, какова бы она ни была. А я получила свою. Прощай, Эдвард. - Она протянула ему руку:- Можешь благословить меня; мне хочется, этого.

Пирсон положил ей руки на плечи и, наклонившись, поцеловал ее в лоб.

Глаза Лилы наполнились слезами.

- Ах! - воскликнула она. - До чего же безрадостен этот мир!

И, вытерев дрожащие губы рукой, затянутой в перчатку, она быстро прошла мимо него к двери. Там она обернулась. Он стоял неподвижно, но губы его что-то шептали. "Он молится обо мне! - подумала она. - Как забавно!"

Как только Лила вышла от Эдварда, она сразу забыла о нем. Мучительное желание увидеть Форта властно захватило ее, как будто черная фигура Пирсона - воплощение подавленных страстей - пробудила в ней любовь к жизни и к радости. Она непременно должна увидеть Джимми, даже если ей придется ждать его или искать всю ночь! Было около семи, он уже, должно быть, кончил работу в военном министерстве; возможно, он в клубе или у себя дома. Она решила поехать к нему на квартиру. Маленькая улочка,

протянувшаяся вдоль ограды Букингемского дворца, на домах которой вот уже целый год никто не писал слово "мир", точно вся высохла после знойного солнечного дня. Парикмахерская под его квартирой еще была открыта, а дверь, которая вела к нему, стояла полуотворенной. "Я не стану звонить, - подумала она, - я прямо пойду наверх". Пока она поднималась по двум маршам лестницы, она дважды останавливалась, задыхаясь и чувствуя боль в боку. В последние дни эта боль часто давала себя знать, словно тоска в сердце становилась физической болью. На небольшой площадке верхнего этажа, у самой его квартиры, она подождала немного, прислонившись к стене, оклеенной красными обоями. В коридоре было открыто окно, и оттуда доносились неясные звуки, пели хором: "Vive-la, vive-la, vive-la ve. Vive-la compagnie!" {Да здравствует, да здравствует наша рота! (франц.).} "О боже, - думала она, - только бы он оказался дома, только бы он был ласков со мной! Это ведь последний раз!" И, вконец измученная тревогой, она открыла дверь. Он был дома - лежал на старой кушетке у стены в дальнем углу, закинув руки за голову, во рту торчала трубка; глаза были закрыты, он не пошевелился и не открыл их, вероятно, принял ее за служанку. Бесшумно, как кошка, Лила пересекла комнату и остановилась над ним. Ожидая, когда он очнется от этого мнимого летаргического сна, она впиалась глазами в его худое, скуластое лицо с запавшими щеками, хотя он был совершенно здоров. В зубах у него торчала трубка; казалось, он отчаянно сопротивляется во сне - голова откинута назад, кулаки сжаты, словно он готовится дать отпор кому-то, кто тянется к нему, подползает и пытается стащить его вниз. Из трубки тянулся дымок. Раненая нога все время подергивалась, видимо, она его беспокоила; но вообще он сохранял какую-то упрямую неподвижность, словно и впрямь спал. У него стали гуще волосы, в них не было ни одной серебряной нити, крепкие зубы, в которых торчала трубка, сверкали белизной. Да, у него совсем молодое лицо, он выглядит намного моложе, чем она! Почему она так любит это лицо - лицо человека, который так и не полюбил ее? На секунду ей захотелось схватить подушку, соскользнувшую на пол с кушетки, и задушить его - вот прямо здесь, на кушетке, на которой он лежит, не желая, как ей казалось, очнуться. Отвергнутая любовь! Унижение! Она уже готова была повернуться и выскользнуть из комнаты. Но через дверь, которую она оставила открытой, снова

донеслись звуки песни "Vive-la, vive-la, vive-la ve!", нестерпимо ударив ее по нервам. Сорвав с груди гардению, она бросила ее на его повернутое к стене лицо.

- Джимми!

Форт с усилием поднялся и уставился на нее. Лицо его выглядело комичным - настолько он был ошеломлен; У нее вырвался короткий нервный смешок.

- Сразу видно, что снилась тебе не я, милый Джимми! Я даже в этом уверена. В каком же саду ты блуждал?

- Лила! Ты! Как... как это приятно!

- Как... как приятно! Захотела повидать тебя, и вот пришла. Теперь я увидела, какой ты, когда не со мной. Я запомню тебя таким; для меня это полезно - страшно полезно.

- Я не слышал, как ты вошла.

- Ты был далеко, мой дорогой. Продень гардению в петлицу; погоди, я продену сама. Хорошо ли ты отдохнул за эту неделю? Тебе нравится мое платье? Оно новое. Сам бы ты, наверно, и не заметил его, ведь правда?

- Обязательно бы заметил. Прелестное платье.

- Джимми, я думаю, теперь ничто-ничто не помешает тебе быть рыцарем.

- Рыцарем? Да я не рыцарь.

- Я хочу закрыть дверь. Ты не возражаешь?

Он встал и сам пошел к двери, закрыл ее и вернулся. Лила взглянула на него.

- Джимми, если ты когда-нибудь любил меня хоть немного, будь ласков со мной сегодня. И если я начну говорить разную чушь и в ней прозвучит горечь, не обращай внимания. Обещай мне!

- Обещаю.

Она сняла шляпу и села на кушетку, наклонившись к нему так, чтобы не видеть его лица. Она почувствовала, как он обнял ее, и позволила себе снова уплыть в море иллюзий, нырнуть в него глубоко-глубоко, стараясь забыть, что существует морская поверхность, куда ей надо вернуться; как маленькая девочка, она играла в игру, которая называется "понарошку".

"Он любит меня... любит... любит!" Забыться, забыться только на час, на один час; она чувствовала, что готова отдать ему все, что

осталось у нее от жизни, все до конца и от всего сердца. Она взяла его руку, прижала ее к своей груди и закрыла глаза, чтобы не видеть его лица. Аромат гардении в его петлице был до боли сладким и крепким.

Уже темнело, когда она надела шляпу, собираясь уйти. Теперь она окончательно проснулась и больше не играла в ту детскую игру. Она стояла с каменным лицом, улыбаясь в полумраке и глядя сквозь полуопущенные ресницы на грустного, ничего не подозревающего Форта.

- Бедный Джимми! - сказала она. - Я не буду мешать больше - тебе пора обедать. Нет, не надо меня провожать. Я пойду одна; и не включай, ради бога, свет.

Она положила руку на отворот его пиджака.

- Цветок совсем потемнел. Выброси его: я не люблю увядших цветов. Да и ты их не выносишь. Купи себе завтра свежий.

Она вытащила гардению из петлицы, раздавила в руке и подняла глаза на Форта.

- Ну хорошо, поцелуй меня еще раз. Тебя от этого не убудет.

На одно мгновение ее губы со страстной силой прижались к его губам. Она оторвалась от него, ошупью нашла ручку двери и, захлопнув ее перед его носом, медленно, слегка шатаясь, стала спускаться по лестнице. Рукой в перчатке она хваталась за стену, словно стена могла поддержать ее. На последнем пролете, где висела занавеска, отделяющая боковые помещения, она остановилась и прислушалась. Не было слышно ни звука. "Если я постою здесь, - подумала она, - я, может быть, еще раз увижу его". Она проскользнула за плотно задернутую занавеску. Было так темно, что она не могла разглядеть даже собственной руки. Она услышала, как наверху отворилась дверь и послышались его медленные шаги. Она увидела его ступни, потом колени, потом всю его фигуру, только лицо казалось каким-то мутным пятном. Он прошел мимо, куря сигарету. Она зажала рот рукой, чтобы у нее не вырвалось какое-нибудь слово; в нос ударил пряный холодный запах раздавленной гардении. Форт ушел, дверь внизу захлопнулась. Дикое, глупое желание пришло к ней: подняться снова наверх, подождать, пока он придет, броситься ему на шею, рассказать, что она уезжает, умолять его оставить ее у себя. Ах, он бы это сделал! Он взглянул бы на нее с ужасающей жалостью,

которую она не может переносить, и сказал бы: "Разумеется, Лила, конечно!" Нет, черт побери, нет!

- Я спокойно пойду домой, - пробормотала она, - прямо домой. Иди же, будь мужественной, не будь дурой! Иди же! - И она вышла на улицу.

У входа в парк она увидела, как он, прихрамывая, идет впереди, шагах в пятидесяти от нее. И она шла за ним, словно тень, все время на одном и том же расстоянии, вдоль аллеи платанов, вдоль ограды парка, мимо Сент-Джеймского дворца, к Пэл-Мэл. Он поднялся по ступенькам и исчез в своем клубе. Конец. Она посмотрела на здание: перед ней высилась огромная, погруженная во тьму гранитная гробница. Возле дверей стояло свободное такси. Она села в него и сказала: "Кэймилот-Мэншенз, Сент-Джонс-Вуд". Затем откинулась на спинку сиденья и, прерывисто дыша, сцепив руки, подумала: "Ну вот я его и увидела. Лучше съесть сухую корку, чем остаться совсем без хлеба. О боже! Все кончено, все пошло прахом - все! *Vive-la, vive-la, vive-la ve. Vive-la compagnie!*"

#### ГЛАВА XIV

До прихода Лилы Форт лежал уже около часа, засыпал и снова просыпался. Ему снился странный и удивительно, волнующий сон. В сумрачном свете не то ночи, не то утра тянется длинная серая черта - линия фронта на полях сражений Франции; по всему фронту идет пулеметная стрельба короткими очередями, серая черта то выгибается вперед, то отодвигается назад, потом снова движется вперед, все дальше и дальше. И при каждом рывке проносится крик, слышен и его голос: "Ур-р-эй, англичане! Ур-р-эй, англичане!" Его захватила эта накатывающаяся в сером свете дня лавина тусклых фигур, топот и гул, это удивительно ритмичное, неуклонное движение вперед, которое нельзя остановить, как нельзя остановить волны прибоя. Жизнь - ничто, смерть ничто! "Ур-р-эй, англичане!" В этом сне он был воплощением родины; каждый солдат в длинной наступающей цепи, неудержимо движущейся вперед, все вперед и вперед, - это он! В самый разгар этого увлекательного сновидения его разбудил шум на улице; он закрыл глаза в тщетной надежде досмотреть сон. Но сон больше не приходил, Форт закурил трубку и лежал, дивясь фантастической реальности сна. Смерть - ничто если родина живет и побеждает. В часы бодрствования ему еще никогда не удавалось

прийти к такому цельному познанию самого себя. Жизнь, удивительно реальная, перемешивается с фантастическим содержанием снов, словно кто-то старается убедить в чем-то спящего вопреки ему самому... "Ур-р-эй!" вместо "Ур-р-р-а!", простонародное "Ур-р-р-эй!". И "англичане", а не классическое "британцы". Именно в это мгновение его лба коснулся цветок и голос Лилы окликнул его: "Джимми!"

Когда она ушла, он устало подумал: "Ну вот, все началось сначала". Да и какое это имеет значение, если честность и сострадание отрывают его от той, к которой стремится его сердце, если желание его абсурдно, так же неосуществимо, как неосуществимо желание достать луну с неба! Какое это имеет значение? Если Лиле хочется любить его, пусть себе любит! И все же, пока он шел под платанами, ему казалось, что Ноэль плывет где-то впереди него, недостижимая, и у него начинало ныть сердце, стоило только ему подумать, что он никогда, никогда не догонит ее, никогда не пойдет с ней рядом!

Через два дня, придя вечером домой, он обнаружил письмо на пароходном бланке, с маркой, на которой был штампель Плимута.

"Прощай, и если навсегда,  
То навсегда прощай! {\*}"  
Лила".

{\* Из стихотворения Байрона "Прости".}

Он прочел эти строки с мучительным чувством, словно его обвинили в преступлении, а он не знает, совершил его или нет. Пытаясь собраться с мыслями, он взял машину и поехал к Лиле. Ее комнаты были заперты, но ему дали ее адрес - адрес банка в Кейптауне. Итак, он свободен! Мучаясь угрызениями совести и в то же время испытывая странное и острое облегчение, он услышал, что шофер такси спрашивает, куда ехать.

- О! Домой!

Но не проехали они и мили, как он передумал и назвал другой адрес, хотя уже в следующее мгновение ему стало стыдно своего внезапного порыва. То, что он делает, столь же недостойно, как если бы с похорон жены он отправился в будуар другой женщины. Когда он доехал до Олд-сквер и ему в глаза бросились слова "Сдается в наем", он снова почувствовал странное облегчение, хотя понял, что не

увидит той, за десятиминутную встречу с которой готов отдать год жизни. Отпустив такси, он стоял, колеблясь: позвонить или нет? В окне мелькнуло лицо служанки, и он решился. Пирсона не было дома, Гретиана и Ноэль уехали. Он попросил адрес миссис Лэрд и пошел к выходу, но в дверях столкнулся с самим мистером Пирсоном. Они поздоровались холодно и принужденно. "Знает ли он, что Лила уехала? - подумал Форт. - Если знает, то, наверно, считает меня последним негодяем. А может, я и есть негодяй?"

Придя домой, Форт сел писать Лиле. Но он целый час глядел на бумагу и написал только три строки:

"Дорогая Лила,

Я не могу выразить тебе те чувства, которые испытал, получив твое письмо..."

Он разорвал листок. Нет, никакие слова не будут правдивыми, не будут верными. Пусть сгинет прошлое, мертвое прошлое, которое в его сердце никогда не было живым. Зачем притворяться? Он сделал все что мог, чтобы остаться на высоте. Зачем же притворяться?

\* ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ \*

ГЛАВА I

В пансионе, где все еще жили Лэрды, у камина сидела и вязала старая женщина; свет заходящего солнца отбрасывал ее тень на стену, и тень, паукообразная и серая, двигалась по желтой стене в такт звяканью спиц. Она была очень стара, наверно, самая старая женщина на свете, как думалось Ноэль. И вязала она не переставая, не переводя дыхания, так что девушке иногда хотелось закричать. По вечерам, когда Джорджа и Гретианы не было дома, Ноэль частенько сидела у камина, наблюдая, как она вяжет, и печально размышляя о своем будущем. Временами старуха взглядывала на нее поверх очков, уголки ее губ слегка подергивались, потом она снова опускала глаза. Старуха боролась против судьбы; пока она вяжет, война не кончится, - к такому заключению пришла Ноэль. Эта старая женщина под звяканье своих спиц вяжет эпическую поэму о покорности; это из-за нее длится война - из-за такой маленькой, иссохшей женщины! "Если бы я схватила ее сзади за локти, - думала иногда Ноэль, - наверно, она бы сразу умерла. Может быть, схватить? Тогда война кончится. А если война кончится, снова вернется любовь и жизнь". Но едва слышная

серебристая мелодия спиц опять вторгалась в ее мысли, мешая думать. В этот вечер у нее на коленях лежало письмо от отца.

"Моя любимая Нолли,

Я рад сообщить тебе, что уже назначен капелланом и скоро выеду в Египет. Я бы хотел поехать во Францию, но, учитывая свой возраст, надо брать то, что предлагают. Мне кажется, что нам, старикам, не хотят давать ходу. Для меня большое утешение, что с тобой Грэтиана; несомненно, вы скоро переселитесь, и ты сможешь взять к себе моего маленького внука. Я получил письмо от твоей тетушки, и она рассказывает о нем много забавного. Дитя мое, не думай, что я вышел в отставку из-за тебя. Это не так. Ты знаешь или, может быть, не знаешь, что с начала войны меня очень огорчало то, что мне приходится сидеть дома. Сердцем я был с нашими солдатами и рано или поздно должен был прийти к этому решению, независимо ни от чего. Дважды ко мне заходил по вечерам мосье Лавенди; он очень приятный человек и очень мне нравится, хотя наши взгляды совершенно расходятся. Он хотел отдать мне набросок, который сделал с тебя в парке, но зачем он мне сейчас? И если сказать правду, этот рисунок мне нравится не больше, чем портрет маслом. Ты на нем совсем не похожа и совсем не такая, какой я тебя знаю. Надеюсь, что он не обиделся - ведь чувства художника очень легко уязвимы. Есть и еще кое-что, о чем я должен тебе сказать. Лила уехала в Южную Африку. Она зашла однажды вечером, дней десять назад, чтобы попрощаться. Она держалась очень мужественно, хотя, мне кажется, ей было очень тяжело. Я надеюсь и молю бога, чтобы она нашла там утешение и покой. А теперь, моя дорогая, я хотел бы, чтобы ты мне обещала не встречаться с капитаном Фортом. Я знаю, что он восхищен тобой. Но, независимо от его отношения к Лиле, он произвел на меня самое неприятное впечатление - явиться к нам в дом в тот самый день, когда она уехала! В этом есть что-то такое, что не позволяет мне доверять ему. Я ни на минуту не предполагаю, что он занимает место в твоих мыслях, но все-таки, собираясь уехать так далеко от тебя, я должен тебя предостеречь. Я был бы счастлив, если бы ты вышла замуж за хорошего человека; но, хотя я не хочу думать ни о ком дурно, я не могу считать капитана Форта хорошим человеком.

Я заеду к вам перед отъездом, вероятно, это будет очень скоро. С горячей любовью к тебе и Грэйси и лучшими пожеланиями Джорджу.

Любящий тебя отец  
Эдвард Пирсон".

Снова опустив письмо на колени, Ноэль стала глядеть на движение паукообразной тени по стене. А может быть, старая женщина вывязывает поэму не о покорности, а о сопротивлении, может быть, она бросает вызов самой смерти, вызов, который пляшет под звяканье спиц, как серый призрак сопротивления человека Судьбе! Она не хочет сдаваться, эта самая старая женщина в мире; она собирается вязать до тех пор, пока не сойдет в могилу... Значит, Лила уехала. Ноэль с болью подумала об этом, но вместе с тем эта новость обрадовала ее. Покорность... сопротивление! "Почему отец всегда выбирает для меня дорогу, по которой я должна идти? Такой мягкий, он всегда хочет сделать по-своему! И почему он всегда заставляет меня идти не той дорогой, какой я хочу?"

Солнечный свет перестал вливаться в комнату, и тень старой женщины на стене угасала, но спицы все продолжали свою тихую песню. Девушка спросила:

- Вам нравится вязать, миссис Адам? Старуха взглянула на нее поверх очков.

- Нравится, моя милая? Это убивает время.

- А вам хочется убивать время?

Ответа не последовало, и Ноэль подумала: "Зачем я спросила ее?"

- Что? - вдруг откликнулась старая женщина.

- Я спросила: не утомляет ли вас это?

- Нет, когда я об этом не думаю, дорогая.

- А о чем же вы думаете? Старуха хихикнула.

- О, мало ли о чем! - сказала она.

У Ноэль мелькнула мысль: "Как страшно быть старой и убивать время!"

Она взяла письмо отца и задумчиво прижала его к подбородку. Он хочет, чтобы и она убивала время вместо того, чтобы радоваться жизни! Убивать время! А что другое делал он сам все эти годы, с тех пор, как она помнила его, с тех пор, как умерла мать, - что он делал, как не убивал время? Он убивал время, потому что не верил в земную жизнь; он не жил, а только готовился к другой жизни, к той, в которую

верил. Он отказывал себе во всем, что дарует радость и счастье, только для того, чтобы после смерти перейти чистым и святым в свой иной мир. Он не может считать капитана Форта хорошим человеком потому, что тот не убивал время и оказал сопротивление Лиле; и вот Лила уехала! А теперь выясняется, что для Форта грех полюбить кого-либо другого; он должен снова убивать время. "Папа не верит в жизнь, - подумала она, - он такой, каким изобразил его на картине monsieur. Папа - святой; а я не хочу быть святой и убивать время. Ему ничего не стоит сделать человека несчастным, потому что чем больше человек подавляет свои чувства, тем святее он будет. Но я не хочу быть несчастной и не хочу видеть несчастными других. Интересно, смогла бы я согласиться стать несчастной ради блага другого, как поступила Лила? Я восхищаюсь ею! О, я восхищаюсь ею! Она уехала не для того, чтобы спасти свою душу, а только потому, что не хотела сделать несчастным его. Она, должно быть, очень его любит. Бедная Лила! И она сама решилась на это". Ей вспомнились рассуждения Джорджа о солдатах: они не знают, почему они герои; они герои не потому, что им так приказали, и не потому, что верят в загробную жизнь. Они становятся героями, чтобы спасти других. "А ведь они любят жизнь не меньше меня, - подумала Ноэль. - Каким подлым начинаешь себя чувствовать после всего этого! Ах, эти спицы! Сопротивление... покорность? А может быть, и то и другое? Самая старая женщина на свете; уголки ее губ дергаются, она задерживает время, она прожила свою жизнь и знает это. Как страшно продолжать жить, зная, что ты больше никому не нужна и тебе остается только убивать время и ждать смерти! Но еще страшнее убивать время, когда ты молода и сильна и жизнь и любовь еще только ждут тебя! Я не стану отвечать папе", - решила она.

## ГЛАВА II

Горничная, которая в один из субботних дней июля открыла дверь Джимми Форту, никогда не слышала фамилию Лэрдов - видно, она сама затерялась в этом нескончаемом потоке людей, которые проходят через меблированные комнаты в районах, подверженных воздушным налетам. Она провела его в гостиную и пошла разыскивать мисс Хэллоу. Он ждал, перелистывая страницы иллюстрированного журнала, разглядывая светских красавиц, голодающих сербов, актрис с красивыми ногами, призовых собак, тонущие корабли, особ

королевского дома, взрывы снарядов, священников, отпевающих мертвецов, что должно было свидетельствовать о приверженности читателей к католической вере; но все это отнюдь не успокаивало его нервы. А что если никто не знает их адреса? Ведь в страхе перед предстоящим ему испытанием он из месяца в месяц откладывал свое посещение. У камина сидела и вязала старая женщина; звяканье ее спиц сливалось с жужжанием большой пчелы на оконном стекле. "Может быть, она знает? - подумал он. - Она выглядит так, словно живет здесь вечно". Он подошел к ней и сказал:

- Я уверен, что эти носки будут носить с большим удовольствием, сударыня.

Старая женщина посмотрела на него поверх очков.

- Это убивает время, - сказала она.

- Больше того: это помогает выиграть войну, сударыня!

Уголки губ старухи задергались, но она не ответила. "Глухая!" - подумал он.

- Могу ли я вас спросить: не знаете ли вы моих друзей - доктора и миссис Лэрд, а также мисс Пирсон?

Старая женщина захихикала.

- О, да! Красивая молодая девушка - красивая, как сама жизнь. Она все сидела здесь возле меня. Одно удовольствие было смотреть на нее - у нее такие большие глаза.

- Куда же они уехали? Вы не можете мне сказать?

- О, понятия не имею.

Его точно обдало холодной водой. Ему хотелось крикнуть: "Перестаньте же вязать хоть на минуту, пожалуйста! В этом вся моя жизнь - я должен знать, где они". Но песенка спиц отвечала: "А моя жизнь - в вязанье".

Он отвернулся к окну.

- Она любила здесь сидеть - тихонько, тихонько, совсем тихо...

Форт посмотрел на подоконник. Так, значит, вот здесь она любила сидеть совсем тихо!

- Как ужасна эта война! - сказала старая женщина. - Вы были на фронте?

- Да.

- А возьмите бедных молодых девушек, у которых никогда не будет мужей! Право, это ужасно.

- Да, - сказал Форт. - Это ужасно.

Но тут из-за дверей послышался чей-то голос:

- Вы ищете доктора и миссис Лэрд, сэр? Их адрес - Восточное Бунгало; это недалеко, по северной дороге. Всякий вам покажет.

Со вздохом облегчения Форт благодарно посмотрел на старую женщину, которая назвала Нолли красивой, как жизнь.

- До свидания, сударыня.

- До свидания.

Спицы звякнули, и уголки губ старухи снова задергались. Форт вышел. Он не смог достать машину и долго тащился пешком. Бунгало оказалось неприглядным зданием из желтого кирпича с остроконечной красной кровлей. Дом стоял между шоссе и крутым обрывом, за ним тянулся сад-альпиниум; освещенный закатным солнцем, дом казался совсем новым. Форт открыл калитку и произнес про себя одну из тех молитв, которые так быстро приходят на ум неверующим, когда они чего-нибудь хотят добиться. Он услышал плач ребенка и подумал с восторгом: "Господи, она здесь!" Пройдя через сад, он увидел на лужайке за домом детскую коляску, стоявшую под дубом, и Ноэль, да, да, Ноэль! Собравшись с духом, он двинулся дальше. Она стояла, наклонившись над коляской, на голове у нее была лиловая шляпа от солнца. Он тихо шел по траве и уже был возле самой коляски, когда она услышала его шаги. Он не приготовил никаких слов, просто протянул ей руку. Тень упала на коляску, и ребенок перестал плакать. Ноэль пожала Форту руку. В шляпе, скрывавшей ее волосы, она выглядела старше и бледнее, словно ее измучил зной. У него не было такого ощущения, что она рада видеть его.

- Здравствуйте, - сказала она. - Вы уже видели Грэтиану? Она должна быть дома.

- Я пришел не к ней; я пришел к вам.

Ноэль повернулась к ребенку.

- Вот он!

Форт стоял у коляски и смотрел на ребенка, отцом которого был тот парень. Затененная верхом коляски и гофрированной оборкой чепчика, головка ребенка казалась запрокинутой. Он царапал свой вздернутый носик и выпуклый лобик и плядел на мать голубыми

глазами, под которыми, казалось, не было нижних век, такими пухлыми были его щечки.

- Интересно, о чем думают дети? - сказал Форт.

Ноэль сунула свой палец в кулачок ребенку.

- Они думают только тогда, когда им что-нибудь нужно.

- Это хорошо сказано; но его глаза с большим интересом смотрят на вас.

Ноэль улыбнулась, и тут же улыбнулся ребенок, обнажив беззубые десны.

- Он прелесть! - сказала она шепотом.

"И ты тоже, - подумал он, - если б только я осмелился сказать это".

- Здесь сейчас папа, - проговорила она вдруг, не глядя на него. Послезавтра он отплывает в Египет. Вы ему не нравитесь.

У Форта чуть не выскочило сердце. Зачем бы ей говорить это, если бы... если бы она хоть немного не была на его стороне?

- Я так и думал, - ответил он. - Я ведь грешник, как вы знаете.

Ноэль подняла на него глаза.

- Грешник? - повторила она и снова наклонилась над ребенком; она произнесла это слово таким тоном, что он подумал: "Если бы не это крошечное создание, у меня не было бы и тени надежды!"

- Я пойду, поздороваюсь с вашим отцом, - сказал он. - Он в доме?

- Думаю, что да.

- Могу я прийти завтра?

- Завтра воскресенье. И последний день перед отъездом папы.

- А! Понимаю. - Он пошел к дому, не решаясь оплянуться, чтобы узнать, смотрит ли она ему вслед.

И подумал: "Есть ли у меня надежда или нет, но я буду драться за нее зубами и когтями".

Пирсон сидел на диване в освещенной заходящим солнцем комнате и читал. Он был в форме цвета хаки, и вид его удивил Форта, не ожидавшего такого превращения. Узкое лицо, сейчас чисто выбритое, с глубоко сидящими глазами и сжатыми губами, казалось более чем всегда аскетическим, несмотря на военную форму. Форт почувствовал, как слабы его шансы, и сказал, словно бросаясь в ледяную воду:

- Я пришел просить вас, сэр, разрешить мне жениться на Ноэль, если она захочет выйти за меня.

Лицо Пирсона всегда казалось Форту мягким и добрым; сейчас оно не было таким.

- Вы что же, знали, что я здесь, капитан Форт?

- Я видел Ноэль в саду. Разумеется, я ничего ей не говорил. Но она сказала мне, что вы завтра уезжаете в Египет. Поэтому другого случая у меня не будет.

- Очень жаль, что вы приехали. Не мне судить, но я не думаю, что вы можете составить счастье Ноэль.

- Позволю себе спросить: почему, сэр?

- Капитан Форт, мирские суждения о таких вещах не для меня; но раз вы спрашиваете, отвечу вам откровенно. Моя кузина Лила имеет права на вас. Ей, а не Ноэль вы должны были предложить выйти за вас замуж.

- Я предлагал ей; она мне отказала.

- Я знаю. Но она не отказала бы вам, если бы вы поехали к ней.

- Я не свободен и не могу так просто поехать к ней; кроме того, она все равно откажет. Она знает, что я не люблю ее и никогда не любил.

- Никогда?

- Никогда!

- Тогда почему же...

- Наверное, потому что я мужчина и к тому же глупый.

- Если все произошло только потому, что вы мужчина, как вы выразились, значит, вами не руководили никакие принципы или вера. А вы просите отдать вам Ноэль - мою бедную Ноэль, которой нужна любовь и защита не просто "мужчины", а хорошего человека. Нет, капитан Форт, нет! Форт закусил губу.

- Конечно, я человек нехороший в вашем понимании этого слова; но я очень люблю ее и сумею ее защитить. Я не имею ни малейшего понятия, согласится ли она стать моей женой. Естественно, я и не надеюсь на это. Но я предупреждаю вас, что собираюсь спросить ее и буду ждать. Я так ее люблю, что не могу поступить иначе.

- Когда любят по-настоящему, поступают так, как лучше для той, которую любят.

Форт опустил голову, он почувствовал себя школьником, стоящим перед строгим учителем.

- Это верно, - сказал он. - И я никогда не воспользуюсь ее положением; если она не питает ко мне никаких чувств, я не стану ее беспокоить, заверяю вас. Если же произойдет чудо и она полюбит меня, я знаю, что смогу сделать ее счастливой, сэр.

- Она же совсем ребенок.

- Нет, она не ребенок, - упрямо ответил Форт.

Пирсон прикоснулся к отвороту своего военного костюма.

- Капитан Форт, я уезжаю от нее далеко и оставляю ее беззащитной. Я верю в ваши рыцарские чувства и надеюсь, что вы не сделаете ей предложения, пока я не вернусь.

Форт откинул голову.

- Нет, этого я не могу обещать. Здесь вы или нет, это ничего не меняет. Либо она полюбит меня, либо не полюбит. Если полюбит, она будет счастлива со мной. Если же нет, тогда всему конец.

Пирсон медленно подошел к нему.

- С моей точки зрения, - сказал он, - ваша связь с Лилой была такова, что вас можно считать в браке с ней.

- Вы ведь не ждете от меня, что я приму точку зрения священника, сэр?

Губы Пирсона задрожали.

- По-вашему, это точка зрения священника, а по-моему, это точка зрения порядочного человека.

Форт покраснел.

- Это уж дело моей совести, - сказал он упрямо. - Я не могу и не стану рассказывать вам, как все началось. Я был плутом. Но я сделал все, что мог, и знаю, что Лида не считает меня связанным с ней. Если бы она так думала, она никогда бы не уехала. Когда нет настоящего чувства - а с моей стороны его не было - и когда есть другое - любовь к Ноэль, чувство, которое я старался подавить, от которого старался убежать...

- Так ли?

- Да. Продолжать связь с той, другой, было бы низостью. Мне казалось, что вы все понимали, сэр; но я все-таки сохранял эту связь. Лида сама положила всему конец.

- Мне думается, Лида вела себя благородно.

- В высшей степени благородно; но из этого вовсе не следует, что я негодяй.

Пирсон отвернулся к окну, откуда мог видеть Ноэль.

- Все это мне отвратительно, - сказал он. - Неужели в ее жизни больше никогда не будет чистоты?

- Неужели у нее вообще не должно быть жизни? По-вашему, сэр, выходит, что не должно. Я не хуже других мужчин, и ни один из них не будет любить ее так, как я.

Целую минуту Пирсон простоял, не произнеся ни слова, потом сказал:

- Простите меня, если я был слишком суров. Я не хотел этого. Я слишком люблю ее и желаю ей только добра. Но всю свою жизнь я верил в то, что для мужчины может существовать только одна женщина, а для женщины - только один мужчина.

- Тогда, сэр, - взорвался Форт, - вы хотите, чтобы она...

Пирсон поднял руку, словно защищаясь от удара, и, как ни был зол Форт, он умолк.

- Все мы созданы из плоти и крови, - заговорил он холодно, - а вы, мне кажется, об этом не думаете.

- У нас есть также души, капитан Форт. - Голос Пирсона стал вдруг мягким, и гнев Форта испарился.

- Мое уважение к вам очень глубоко, сэр; но еще глубже моя любовь к Ноэль, и ничто в мире не помешает мне попытаться отдать ей мою жизнь.

Улыбка пробежала по лицу Пирсона.

- Ну, если вы все-таки будете пытаться, то мне ничего не остается, как молиться о том, чтобы вы потерпели неудачу.

Форт не ответил и вышел.

Он медленно шел от Бунгало, опустив голову, обиженный, раздосадованный и все-таки успокоенный. Наконец-то он знает, как обстоят дела; и он не считает, что потерпел поражение - поучения Пирсона совершенно его не тронули. Его обвинили в аморальности, но он остается при убеждении, что человек всегда может найти себе оправдание. Только один отдаленный уголок его памяти, невидимый, а потому и не осужденный противником, вызывал у него беспокойство. Все остальное он себе прощал; все, кроме одного: он не мог простить себе, что знал Ноэль до того, как началась его связь с Лилой; что он

позволил Лиле увлечь себя в тот самый вечер, когда с ним была Ноэль. Вот почему он испытывал иногда отвращение к самому себе. Всю дорогу до станции он продолжал думать: "Как я мог? За одно это я заслуживаю того, чтобы потерять ее! И все же я попытаю счастья: не теперь - позже!" Вконец измученный, он сел в поезд, идущий в Лондон.

### ГЛАВА III

В этот последний день обе дочери Пирсона встали рано и отправились вместе с отцом к причастию. Грэтиана сказала Джорджу:

- Для меня причастие - ничто, для него же, когда он будет далеко, оно останется воспоминанием о нас. Поэтому я должна идти.

Он ответил:

- Совершенно верно, дорогая. Пусть он сегодня получит от вас обеих все, что может получить. Я постараюсь не мешать и вернусь поздно вечером, последним поездом.

Улыбка отца, увидевшего, что они ждут его, тронула их до глубины души. Был прелестный день, свежесть раннего утра еще сохранилась в воздухе, когда они возвращались из церкви домой, торопясь к завтраку. Дочери вели его под руку. "Словно Моисей - или то был Аарон?" - мелькнула нелепая мысль у Ноэль. На нее нахлынули воспоминания. Ах, эти прежние дни! Часы, которые они проводили по субботам после чая в детской; рассказы из огромной, библии в кожаном с перламутром переплете, с фотогравюрами, на которых изображена святая земля: пальмы, холмы, козы, маленькие фигурки людей Востока, забавные кораблики на Галилейском море и верблюды - всюду верблюды! Книга лежала на коленях отца, а они обе стояли у ручек кресла, нетерпеливо ожидая, когда он перевернет страницу и появится новая картинка. Близко от их лиц - его колючие щеки; звучат древние имена, овеванные величием: для Грэтианы - это Иисус Навин, Даниил, Мордухай, Петр; для Ноэль - Авесалом, которого она любила за его волосы, Аман - за звучное имя, Руфь - за то, что сна была красива, и Иоанн за то, что он склонялся на грудь Иисусу. Ни Грэтиана, ни она не любили Иова, Давида, Илью и Елисея, - этого последнего они ненавидели за то, что его имя напоминало им нелюбимое имя Элиза. А потом они сидели перед вечерней службой у камина в гостиной, грызя жареные каштаны и рассказывая истории о привидениях, и пытались заставить папу съесть хоть немного

каштанов. А часы, которые они проводили у пианино, с нетерпением ожидая "своего гимна": Гретиана - "Вперед, христово воинство!", "Веди нас, свете тихий" и "Бог - наше прибежище"; а Ноэль - "Ближе, господи, к тебе" и еще один гимн, где пелось о "полчищах мидян" и еще "о терпящих бедствие в море". А рождественские гимны? Ах! А певчие? В одного из них Ноэль была влюблена - само слово "певчий" было полно для нее очарования; к тому же он был белокурый, и волосы у него не были жирными, а блестели, и она никогда не говорила с ним - просто обожала его издали, как звезду. И всегда, всегда папочка был так добр; иногда сердился, но всегда был добр. А они? Далеко не всегда! Эти воспоминания смешались с другими: вспоминались собаки, которые у них были, и кошки, и попугай, и гувернантки, и красные плащи, и помощники отца, и пантомимы, и "Питер Пэн" {Персонаж английских народных сказок.} и "Алиса в стране чудес", и папа, который сидел между ними так, что обе они могли к нему прижаться. Вспоминались и школьные годы; тут и хоккей, и призы, и каникулы; приходишь домой и бросаешься к папе в объятия; а потом ежегодный большой, чудесный поход в далекие места, где можно ловить рыбу и купаться, путешествия пешком и в машинах, прогулки верхом и в горы - и всегда с ним!

А концерты и шекспировские пьесы на рождество или в пасхальные каникулы! А возвращение домой по улицам, залитым огнями в эти дни, - и опять они по обе стороны от него. И вот наступил конец!

Они ухаживали за отцом во время завтрака, то и дело бросая на него украдкой взгляды, словно запечатлевая его в своей памяти. Гретиана достала свой фотоаппарат и стала снимать его в утреннем солнечном свете, с Ноэль, без Ноэль, с ребенком - вопреки всем распоряжениям о защите государства. Ноэль предложила:

- Папа, давай второй завтрак возьмем с собой и на целый день уйдем в холмы, все втроем, и забудем про войну.

Как легко сказать и как трудно выполнить! Они лежали на траве, и до их ушей доносился гул орудий, он сливался с жужжанием насекомых. И все же шум лета, бесчисленные голоса крохотных существ, почти призрачных, но таких же живых, как они сами, существ, для которых их мимолетная жизнь была не менее важна, чем для людей; и белые облака, медленно движущиеся по небу, и далекая,

странная чистота неба, льнущего к меловым холмам, - все эти белые, голубые и зеленые краски земли и моря несли с собой мир, и он окутывал души этих трех людей, в последний раз оставшихся наедине с природой перед разлукой - кто знает, надолго ли? По молчаливому соглашению они разговаривали только о том, что было до войны; над ними летал пух одуванчиков. Пирсон с непокрытой головой сидел на траве, скрестив ноги, ему было не по себе в жестком военном мундире. А они лежали по обе стороны от отца и смотрели на него, быть может, чуть-чуть иронически и все же с восхищением. Ноэль не нравился его воротник.

- Если бы у тебя был мягкий воротник, папа, ты был бы очарователен! Может быть, там тебе разрешат снять этот. В Египте, наверное, страшная жара. Ах, как бы мне хотелось туда поехать! И как мне хотелось бы объехать весь мир! Когда-нибудь!

Вдруг он начал читать им эврипидовского "Ипполита" в переложении Мэррея {Мэррей, Гильберт (род. 1886) - английский филолог, популяризатор древнегреческой литературы.}. Время от времени Грэйтиана обсуждала с ним какой-нибудь отрывок. А Ноэль лежала молча, глядя на небо. Когда умолкал голос отца, слышались песнь жаворонков и все тот же далекий гул орудий.

Они собрались домой только в начале седьмого - пора было пить чай и отправляться на вечернее богослужение. Часы, проведенные на палящем солнце, обессилили их; весь вечер они были молчаливы и грустны. Ноэль первая ушла к себе, не пожелав отцу спокойной ночи, она знала, что он придет к ней в этот последний вечер. Джордж еще не возвращался, и Грэйтиана осталась в гостиной с Пирсоном; вокруг единственной горевшей лампы кружились мотыльки, хотя занавески были плотно задернуты. Она подвинулась к нему поближе.

- Папа, обещай мне не беспокоиться о Нолли; мы позаботимся о ней.

- Она может позаботиться о себе только сама, Грэйси. Но сделает ли она это? Ты знаешь, что вчера здесь был капитан Форт?

- Она сказала мне.

- Как она относится к нему?

- Я думаю, она сама еще не знает. Нолли ведь живет как во сне, а потом вдруг просыпается и бросается куда-нибудь, очертя голову.

- Я хотел бы оградить ее от этого человека.

- Но, папа, почему? Джорджу он нравится, и мне тоже.

О лампу бился большой серый мотылек. Пирсон встал, поймал его и положил на ладонь.

- Бедняга! Ты похож на мою Нолли; такое же нежное и мечтательное существо, такое же беспомощное и безрассудное!

Подойдя к окну, он просунул руку сквозь занавес и выпустил мотылька.

- Отец, - сказала вдруг Грэтиана, - мы только сами можем решить, как нам жить; даже если бы нам пришлось опалить крылья. Мы как-то читали "Прагматизм" Джемса {Джемс, Уильям (1842-1910) - американский философ, один из основателей идеалистической философии прагматизма.}. Джордж говорит, что там нет единственно важной главы - об этике; а это как раз та глава, в которой должно быть доказано: все, что мы делаем, не является ошибочным до тех пор, пока результат не покажет, что мы ошибались. Я думаю, что автор побоялся написать эту главу.

На лице Пирсона появилась улыбка, как всегда, когда речь заходила о Джордже; эта улыбка словно бы говорила: "Ах, Джордж! Все это очень умно: но знаю-то я.

- Дорогая, - сказал он, - эта доктрина самая опасная! Я удивляюсь Джорджу.

- Мне кажется, что для Джорджа она не опасна.

- Джордж - человек с большим опытом, твердыми убеждениями и сильным характером; но, подумай, каким роковым все это может оказаться для Нолли, моей бедной Нолли, которая от маленького дуновения ветерка может угодить в пламя свечи.

- Все равно, - упрямо сказала Грэтиана, - я уверена, что человека нельзя назвать хорошим или стоящим, если у него нет головы на плечах и он не умеет рисковать.

Пирсон подошел к ней, лицо его дрогнуло.

- Не будем спорить в этот последний вечер. Мне надо еще зайти на минуточку к Нолли, а потом лечь спать. Я не увижу вас завтра - вы не вставайте; я не люблю долгих проводов. Мой поезд уходит в восемь. Храни тебя господь, Грэйси; передай мой привет Джорджу. Я знаю и всегда знал, что он хороший человек, хотя мы с ним немало сражались. До свидания, моя родная!

Он вышел, чувствуя на щеках слезы Грэттианы, и немного постоял на крыльце, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Короткая бархатная тень от дома падала на сад-альпиниум. Где-то рядом кружился козодой, шелест его крыльев страшно волновал Пирсона. Последняя ночная птица, которую он слышит в Англии. Англия! Проститься с ней в такую ночь! "Моя родина, - подумал он, - моя прекрасная родина!" Роса уже серебрилась на небольшой полоске травы последняя роса, последний аромат английской ночи. Где-то прозвучал охотничий рожок. "Англия! - молился он. - Да пребудет с тобой господь!" Какой-то звук послышался по ту сторону лужайки - словно старческий кашель, потом бряцание цепи. В тени, падающей от дома, появилось лицо - бородатое, с рожками, как у Пана, и уставилось на него. Взглянув, Пирсон понял, что это козел, и услышал, как тот, словно испугавшись вторжения нежданного гостя, возится вокруг колышка, к которому был привязан.

Пирсон поднялся по лестнице, ведущей в маленькую узкую комнату Ноэль, рядом с детской. На его стук никто не ответил. В комнате было темно, но он увидел Ноэль у окна - она перегнулась через подоконник и лежала на нем, прижав подбородок к руке.

- Нолли!

Она ответила, не оборачиваясь:

- Какая чудесная ночь, папа! Иди сюда, посмотри. Мне бы хотелось отвязать козла, да только он съест все растения в альпиниуме. Но ведь эта ночь принадлежит и ему тоже, правда? В такую ночь ему бы бегать и прыгать! стыдно привязывать животных. Папа, а ты никогда не чувствовал себя в душе дикарем?

- Я думаю, что чувствовал, Нолли, и даже слишком. Было очень трудно приручать себя.

Ноэль взяла его под руку.

- Пойдем, отвяжем козла и вместе с ним прогуляемся по холмам. Если бы только у меня была свистулька! Ты слышал охотничий рожок? Охотничий рожок и козел!

Пирсон прижал к себе ее руку.

- Нолли, веди себя хорошо, пока меня не будет. Ты знаешь, чего я не хочу. Я писал тебе.

Он посмотрел на нее и не решился продолжать. На ее лице снова появилось выражение "одержимой".

- Ты не чувствуешь, папа, - сказала она вдруг, - что в такую ночь все живет своей большой жизнью: и звезды, и луна, и тени, и мотыльки, и птицы, и козы, и деревья, и цветы; так почему же мы должны бежать от жизни? Ах, папа, зачем эта война? И почему люди так связаны, так несчастны? Только не говори мне, что этого хочет бог, не надо!

Пирсон и не мог ответить, потому что ему пришли на ум строки, которые он читал сегодня дочерям вслух:

Ах, с ключа бы студеного чистой воды  
Зачерпнуть мне поток и уста оросить!  
Ах, под тополя сенью в зеленой траве  
Мне прилечь бы... я там обрела бы покой!  
Что со мною? Туда я... где ели темней!  
Меня в горы ведите, где хищные псы  
По следам за пятнистую ланью летят!  
Ради бога! Хоть раз бы им свистнуть, хоть раз,  
Фессалийский бы дрот, размахнувшись, метнуть  
Мимо волн золотистых летучей косы! {\*}  
{\* Эврипид, "Ипполит". (Перев. И. Анненского).}

Все, что осталось для него в жизни неизвестного, все соблазны и пряный аромат жизни; все чувства, которые он подавлял; быstroногий Пан, которого он отрицал; терпкие плоды, обжигающее солнце, глубокие омуты, неземной свет луны - все это вовсе не от бога, а все это пришло к нему с дыханием этой древней песни, со взглядом его юной дочери. Он прикрыл рукой глаза.

Ноэль потянула его за рукав.

- Разве красота - не живая? - прошептала она. - Разве не напоминает она любимого человека? Так и хочется ее расцеловать!

Губы у него пересохли.

- Есть и другая красота, за пределами этой, - упрямо сказал он.

- А где она?

- В святости, в долге, в вере. О Нолли, любовь моя!

Но Ноэль крепко держала его.

- Знаешь, чего бы я хотела? - сказала она. - Я бы хотела взять бога за руку и показать ему мир. Я убеждена, что он многого не видел.

Пирсона охватила дрожь, та странная, внезапная дрожь, которую может вызвать неверная нотка в голосе, или новый острый запах, или

чей-нибудь взгляд.

- Дорогая моя, что ты говоришь?

- Но он же действительно ничего не видел, а уж пора бы ему посмотреть! Мы бы облазили с ним все уголки, заглянули бы во все щелочки и сразу бы все увидели. Разве может он это сделать в своих церквах? Ах, папа! Я больше не могу этого вынести; я все думаю о том, что их убивают вот в такую ночь; убивают и убивают, и они больше никогда не увидят такой ночи, никогда, никогда! - Она опустила на колени и закрыла лицо руками. - Я не могу, не могу! Ах, как жестоко - отнимать у них все это! Зачем же эти звезды, цветы, если богу все безразлично?

Потрясенный, он стоял, наклонившись над ней, и гладил ее по голове. Потом привычка видеть сотни людей на смертном одре помогла ему.

- Полно, Нолли! Жизнь быстротечна. Нам всем суждено умереть.

- Но не им, не таким молодым! - Она прижалась к его коленям и подняла голову. - Папа, я не хочу, чтобы ты ушел от нас. Обещай мне, что ты вернешься!

Детская наивность этих слов вернула ему самообладание.

- Моя дорогая крошка, конечно, вернусь! Ну же, Нолли, вставай! Ты, наверно, слишком долго пробыла на солнце.

Ноэль встала и положила руки на плечи отца.

- Прости меня за все дурное, что я натворила, и за то дурное, что еще натворю, - особенно за это!

Пирсон улыбнулся.

- Я всегда прощу тебя, Нолли, но больше ничего дурного не случится - не должно случиться. Я молю бога, чтобы он хранил тебя, чтобы ты стала такой, какой была твоя мать.

- В маме никогда не сидел бес, который сидит во мне и в тебе.

От удивления он замолчал. Откуда знать этому ребенку о той бесовской пляске чувств, с которой он боролся год за годом, пока на склоне жизни не почувствовал, что бес отступил!

Она продолжала шепотом:

- Я не могу ненавидеть своего беса. Почему я должна его ненавидеть? Он ведь часть меня. Каждый день при закате солнца я буду думать о тебе; а ты делай то же самое - мне будет легче от этого.

Утром я не пойду на станцию я только буду плакать там. И я не стану говорить "прощай". Это не к добру.

Она обхватила его руками, и, чуть не задушенный этим горячим объятием, он стал целовать ее щеки и волосы. Наконец, отпустив ее, он минуту постоял, разглядывая ее в лунном свете.

- Я не знаю никого, кто любил бы меня больше, чем ты, Нолли! - сказал он тихо. - Помни о том, что я написал тебе в письме. И спокойной ночи, моя любимая!

Потом, словно боясь задержаться еще на секунду, он быстро вышел из темной маленькой комнатки...

Через полчаса Джордж Лэрд, подходя к дому, вдруг услышал тихий голос:

- Джордж! Джордж!

Взглянув вверх, он увидел в окне какое-то белое пятно и едва узнал Нолли.

- Джордж, отвяжи козла, только на эту ночь. Сделай это ради меня.

Что-то в ее голосе и в жесте протянутой руки странным образом растрогало Джорджа, хотя - как сказал однажды Пирсон - душа его была лишена музыки.

И он отвязал козла.

#### ГЛАВА IV

В недели, последовавшие за отъездом Пирсона, Грэтиана и Джордж часто обсуждали положение Ноэль и ее поведение в свете прагматической теории. Джордж стоял на научной точке зрения. Как и в материальном мире, подчеркивал он в разговорах с женой, - особи, которые отличаются от нормальных, должны либо в борьбе со средой утвердить свое отличие, либо пойти ко дну, - так и в мире нравственном; весь вопрос в том, сможет ли Нолли утвердить свое право на "причуды". Если сможет и при этом выкажет твердость характера, то тогда ее отклонение от нормы будет объявлено достоинством, а человечество тем самым окажется обогащенным. Если же нет, если ее попытки утвердить себя потерпят неудачу, и человечество тем самым будет обеднено, тогда ее поведение будет признано ошибочным. Ортодоксы и ученые-схоласты, настаивал Джордж, всегда забывают о приспособляемости живых организмов; забывают о том, что любое действие, выходящее за пределы обычного,

постепенно изменяет и все прочие действия, а также и взгляды и философию тех, кто совершает эти действия.

Разумеется, Нолли поступила безрассудно, говорил он, но когда она уже сделала то, что сделала, она неизбежно начала думать по-иному о любви и морали. Самый глубокий инстинкт, которым мы обладаем, - это тот, который подсказывает нам: мы обязаны делать то, что нам надлежит делать, и при этом думать, что совершенное нами действительно правильно; по сути дела, это и есть инстинкт самосохранения. Все мы - животные, ведущие борьбу за существование, и мы постоянно живем с ощущением того, что коль скоро мы мысленно согласимся быть битыми, нас побьют; но каждый раз, когда мы одерживаем победу, особенно в неравном бою, это нас закаляет. Впрочем, лично я полагаю, что без посторонней помощи Нолли едва ли сможет твердо стать на ноги.

Грэтиана, прагматизм которой не был еще достаточно выпечен, отвечала с сомнением:

- Да, не думаю, чтобы ей это удалось. И даже если бы удалось, я все равно не была бы уверена, что она ничего не натворит. Но не кажется ли тебе, Джордж, что "прагматизм" - отвратительное слово? В нем нет юмора.

- Да, "прагматизм" звучит немного неуклюже, тем более, что в устах молодежи он может превратиться в "прыгматизм"; впрочем, к Нолли это не относится.

С подлинным беспокойством они наблюдали за объектом своих дискуссий. Уверенность в том, что Ноэль нигде не будет лучше и спокойнее, чем у них, по крайней мере, до тех пор, пока она не выйдет замуж, в значительной степени мешала им выработать определенное мнение относительно того, удастся ли ей утвердиться в жизни. У Грэтианы, которая все-таки знала сестру лучше, чем Джордж, то и дело возникала беспокойная мысль: к какому бы выводу они ни пришли, Ноэль заставит их рано или поздно отказаться от него.

Через три дня после отъезда отца Ноэль объявила, что хочет поработать в поле. Джордж сразу же запретил ей это.

- Ты еще недостаточно окрепла, моя дорогая. Подожди, пока начнется уборка урожая. Тогда ты сможешь помочь на здешней ферме. Если только это не повредит тебе.

Но погода была дождливая, и уборка урожая задерживалась; Ноэль ничего не оставалось, как ухаживать за ребенком, хотя за ним прекрасно ухаживала нянька; мечтать и грезить, от случая к случаю готовить яичницу или делать какую-нибудь домашнюю работу - только для очистки совести. Грэтиана и Джордж на целый день уходили в госпиталь, и она подолгу оставалась одна. Несколько раз по вечерам Грэтиана пыталась поговорить с ней, узнать, что у нее на уме. Дважды она упоминала о Лиле. В первый раз Ноэль сказала только: "Да, Лиля молодчина". Во второй раз она ответила: "Я не хочу думать о ней".

Однажды, собравшись с духом, Грэтиана спросила:

- Не кажется ли тебе странным, что капитана Форта не слышно и не видно с того дня, как он сюда приехал?

Ноэль ответила самым спокойным голосом:

- А что тут странного? Ведь ему же сказано, что его здесь не любят.

- Кто ему сказал это?

- Я передала ему, что папа его не любит; но думаю, что сам папа высказал ему и кое-что более резкое. - Она слегка усмехнулась и потом мягко добавила: - Папа - прелесть, правда?

- То есть?

- Он всегда заставляет тебя делать не то, что ты хочешь. Если бы он не запретил мне выйти замуж за Сирила, этого не произошло бы, вот в чем дело! Тогда это меня страшно раздосадовало.

Грэтиана смотрела на нее, пораженная тем, как хорошо Нолли разбирается в самой себе.

К концу августа пришло письмо от Форта.

"Дорогая миссис Лэрд,

Вам, конечно, все известно, - кроме того, что для меня всего важнее. Я не могу дальше жить, не зная, есть ли у меня какая-либо надежда в отношении вашей сестры. Ваш отец не желает, чтобы между нею и мною было что-либо общее, но я сказал ему, что не могу и не хочу давать ему обещание не спрашивать ее об этом. В конце месяца у меня будет отпуск, и я собираюсь приехать к вам, чтобы попытаться счастья. Для меня это гораздо важнее, чем вы можете себе представить.

Остаюсь, уважаемая миссис Лэрд,

вашим верным слугой.

Джеймс Форт".

Она обсудила письмо с Джорджем, и тот дал следующий совет:

- Ответь на письмо вежливо, но ничего не обещай; и - ни слова Нолли. Я думаю, если они поженятся, - это будет хорошо. Конечно, это не совсем то ведь он вдвое старше ее. Зато он настоящий человек, хоть и не хватает звезд с неба!

Грэтиана ответила как-то угрюмо:

- Я всегда желала для Нолли самой лучшей партии!

Джордж поднял на нее свои серые, стального оттенка глаза и посмотрел так, точно перед ним был пациент, которого он должен оперировать.

- Это верно, - сказал он. - Но ты не должна забывать, Грэйси, что из лебеда, каким была Нолли, она превратилась в гадкого утенка. В глазах общества она обесценена по крайней мере на пятьдесят процентов. Надо смотреть правде в глаза.

- Отец категорически против этого брака.

Джордж усмехнулся, у него чуть не вырвалось: "Потому-то я и считаю, что это будет хорошо". Но он удержался и не сказал этого.

- Я согласен, что раз отца здесь нет, мы не должны проявлять инициативы. Да и Нолли знает, каково его желание, и решать придется ей, а не кому-либо другому. В конце концов она уже не ребенок.

Грэтиана последовала совету Джорджа. Но написать вежливое письмо и при этом ничего не сказать стоило ей целой бессонной ночи и трех или четырех часов занятий каллиграфией. Она была очень добросовестна. Зная о предстоящем визите, она с еще большей тревогой наблюдала за сестрой; настроение Ноэль и образ ее мыслей стали чуть-чуть более ясны Грэтиане после того, как сестра показала ей письмо от Тэрзы - тетка приглашала ее в Кестрель. Под письмом был постскрипtum, приписанный рукой дяди Боба:

"Мы превратились в пару ископаемых; Ева снова уехала и покинула нас. Нам ужасно не хватает тебя и малыша. Приезжай, Нолли, будь умницей!"

- Тетя и дядя - просто прелесть, - сказала Ноэль, - но я не поеду. Мне как-то очень беспокожно с тех пор, как уехал папа. Ты даже не знаешь, до чего беспокожно. Эти дожди вызывают во мне желание умереть.

На следующий день погода улучшилась, и в конце недели началась уборка урожая. Ноэль повезло: у фермера сломалась сноповязалка, починить ее не удалось, и он был рад каждому вязальщику. В первый день работы в поле ее руки покрылись волдырями, шея и лицо обгорели, каждая косточка и каждый мускул ныли от боли; но то был самый счастливый день за долгие недели, быть может, самый счастливый с той ночи, когда она расставалась с Сирилом Морлендом год тому назад. Вечером она приняла ванну и тут же легла. Лежа в постели, она грызла шоколад, курила и, погружившись в дремотное блаженство, чувствовала, как проходит усталость и утихает тревога. Следя за дымком сигареты, кольцами подымавшимся в луче закатного солнца, падавшем из окна, она размышляла: "Вот бы уставать так каждый день! Тогда все было бы хорошо, тогда я знала бы, чего хочу, пропало бы ощущение, что надо мной захлопнулась крышка западни, в которую я попала, что я ослепленная пчела, которая бьется под перевернутым бокалом; пропало бы ощущение, что я наполовину жива, наполовину мертва, что у меня сломано крыло и я могу только взлететь, а потом все равно упаду на землю".

В эту ночь она спала как убитая. Но следующий день был истинной мукой, и на третий тоже не стало легче. Однако к концу недели у нее уже не так ломило тело.

В субботу был великолепный, безоблачный день. Поле, на котором она работала, тянулось по отлогому склону. Это было последнее поле, которое надо было убрать, здесь плотной стеной стояла золотая пшеница, с полными, налитыми колосьями... Ноэль уже привыкла к большим снопам, и жгуты в ее руках так и мелькали. Чувство новизны прошло - теперь это была автоматическая работа, которую она делала как бы во сне; она занимала свое место в ряду, прислушиваясь к свистящему звуку жнейки и к голосу возницы, понукавшего лошадей на поворотах, и радовалась маленьким перерывам, когда можно было выпрямить на минуту спину, отмахнуться от мух или пососать палец, уколотый острым кончиком пшеничного колоса. Так проходили часы, на жаре и в усталости, но она радовалась тому, что делает доброе дело и работа явно идет к концу. Постепенно несжатая полоса становилась все уже и уже, а солнце медленно клонилось к горизонту.

Когда сделали перерыв для чаепития, Ноэль вместо того, чтобы, как всегда, бежать домой, выпила холодного чая из принесенной с собой фляжки, съела булочку, кусочек шоколада и растянулась в тени живой изгороди. Она все время держалась в стороне от остальных жнецов, сидевших сейчас возле чайников, которые принесла на поле жена фермера. Она уже привыкла избегать людей. Должно быть, они все знают о ней или скоро узнают, дай только им повод. Она никогда не забывала о среднем пальце, на котором не было обручального кольца, и ей казалось, что глаза всех прикованы к нему. Она лежала в траве, попыхивала сигаретой и наблюдала за жуком, пока к ней не подошла овчарка, бродившая вокруг в поисках объедков; она скормила собаке вторую булочку. Покончив с булочкой, пес попытался проглотить жука, и Ноэль, зная, что ей нечем больше покормить собаку, прикрикнула на нее и прогнала. Погасив сигарету о землю, Ноэль оглянулась. Возница уже забрался на свое сиденье, рядом устраивался его помощник, который должен был подгрести колосья. Уить-уить! - снова засвистела жнейка. Ноэль встала, потянулась и заняла свое место в ряду. К вечеру поле будет убрано - впереди чудесный отдых, целое воскресенье! К семи часам осталась несжатой только узенькая полоска - не больше двадцати ярдов шириной. Но эти последние полчаса всегда особенно пугали Ноэль. Сегодня было еще хуже, чем обычно: у фермера кончились патроны, и кроликов приходилось отгонять палками и напускать на них собак. Кролики поедали зерно, и их надо было убивать. Кроме того, они годились в пищу и стоили по два шиллинга за штуку; Ноэль все это знала; но она не могла видеть, как маленькие создания крадутся и мечутся, напуганные криками, как на них бросаются огромные собаки, как мальчишки убивают их и потом тащат мягкие серые тельца вниз головами, мертвые и беспомощные, каждый раз она чувствовала себя больной. Она стояла тихо, стараясь ничего не видеть и не слышать; неподалеку от нее крался кролик, приныкая к земле, испуганно поглядывая по сторонам. "Ах, - подумала она, - иди сюда, дурачок! Я тебя выпущу, неужели ты не понимаешь? Для тебя это - единственное спасение. Иди же!" Но кролик жался к земле и робко высовывал из пшеницы маленькую головку с прижатыми ушами. Он словно пытался понять - похоже ли на остальных людей это огромное существо, что стоит перед ним. "Ну, конечно, он не убежит, пока я

смотрю на него", - подумала Ноэль и отвернулась. Уголкем глаза она заметила какого-то человека, стоявшего в нескольких шагах от нее. В это мгновение кролик выскочил. Теперь человек закричит и спугнет его. Но он не закричал, и кролик прошмыгнул мимо и скрылся за живой изгородью. Она услышала крики на другом конце ряда и увидела, как промчалась собака. Поздно! Ура! И, хлопнув в ладоши, она взглянула на незнакомца. Перед ней стоял Форт. Она смотрела, как он приближается к ней, с каким-то смешанным чувством изумления, удовольствия, скрытого волнения.

- Мне так хотелось, чтобы этот кролик спасся, - вздохнула она. - Я все время наблюдала за ним. Спасибо!

Он посмотрел на нее.

- О боже! - только и произнес он.

Ноэль заслонила руками щеки.

- Да, да... У меня очень красный нос?

- Нет. Вы прелестны, как Руфь, если она была прелестна.

Уить-уить! Жнейка прошла мимо. Ноэль двинулась к своему месту в ряду, но он схватил ее за руку и сказал;

- Нет, позвольте мне доделать то, что осталось. Я не был в поле с начала войны. А вы разговаривайте со мной, пока я буду вязать снопы.

Она стояла рядом и смотрела на него. Он скручивал жгуты совсем по-другому - они получались более крепкими, да и снопы он вязал большие; она почувствовала какую-то зависть.

- Я не знала, что вы умеете это делать.

- Господи, да конечно же умею! Когда-то у меня была ферма на западе. Ни от чего другого не чувствуешь себя так хорошо, как от работы в поле. Я наблюдал за вами - вы вяжете превосходно!

Ноэль удовлетворенно вздохнула.

- Откуда вы приехали? - спросила она.

- Я прямо со станции. У меня отпуск.

Он посмотрел на нее, и оба замолчали. Уить-уить! - снова мимо прошла жнейка. Ноэль начала вязать снопы на одном конце поля, он на другом. Они работали, приближаясь друг к другу, и встретились перед тем, как жнейка подошла к ним в третий раз.

- Вы поужинаете у нас?

- С удовольствием!

- Тогда уйдем сейчас. Мне не хочется больше видеть, как убивают кроликов.

По дороге домой они говорили совсем мало, но она все время чувствовала на себе его взгляд. Она оставила его с Джорджем и Грэтианой и отправилась принимать ванну.

Стол накрыли на веранде; к концу ужина почти совсем стемнело. По мере того, как угасал дневной свет, Ноэль становилась все более молчаливой. Когда все вернулись в дом, она побежала наверх к ребенку и больше не спускалась вниз. Как и в ту ночь, когда уезжал отец, она долго стояла у окна, облокотившись на подоконник. Ночь была темная, безлунная; в свете звезд едва можно было различить сад, у ограды которого уже не пасся козел. Теперь, когда ее возбуждение улеглось, неожиданное появление Форты наполнило ее тревожной печалью. Ноэль прекрасно понимала, зачем он приехал, - она всегда это понимала. Она не могла разобраться в своих чувствах к нему, но одно она знала твердо: все эти недели она как бы находилась меж двух огней - между Фортом и отцом; ей все казалось, что оба стоят перед ней и о чем-то умоляют. И, странное дело, эти мольбы не приближали ее к умоляющему, а словно толкали в объятия другого. Она чувствовала, что ей нужна защита либо того, либо другого. Это было унижительно: знать, что во всем мире для нее не найдется никакого другого прибежища. Опьянение той единственной ночи, проведенной в старом аббатстве, казалось, обрело над ней какую-то постоянную власть, которая определяет всю ее дальнейшую жизнь. Почему эта единственная ночь и то, что тогда произошло, возымело такую сверхъестественную силу, способную толкать ее в ту или другую сторону, в объятия либо того, либо другого? Неужели она из-за этого всегда будет нуждаться в защите? Она стояла в темноте и словно чувствовала у себя за плечами обоих, слышала их просьбы и мольбы; мороз пробежал у нее по коже. Ей хотелось обернуться и крикнуть: "Уходите! О, уходите! Мне никто не нужен! Оставьте меня в покое!" В этот миг что-то - наверное, мотылек - коснулось ее шеи. Она вздрогнула и ахнула. Как глупо!

Она услышала, что где-то в доме открылась дверь и грубый мужской голос сказал в темноте:

- Кто эта молодая леди, которая работает в поле?

Другой голос, видимо, прислуги, отвечал:

- Это сестра хозяйки.
- Говорят, у нее есть ребенок?
- А вам какое дело, есть или нет?

Ноэль услышала, как мужчина засмеялся. Ей показалось, что более отвратительного смеха она еще не слышала. Мысли ее лихорадочно заметались: "Я убегу от всего этого!" Окно было на высоте всего лишь нескольких футов; она вылезла на карниз, прыгнула и упала на мягкую клумбу, почувствовав запах герани и земли. Ноэль отряхнулась, на цыпочках пробежала по усыпанной гравием площадке перед домом и выбежала за ворота. В доме было темно и тихо. Она пошла по дороге. "Удивительно! - подумала она. - Мы спим, ночь за ночью, и никогда не видим ночей; спим, пока нас не разбудят, и ничего не видим! Если они захотят поймать меня, им придется побегать".

И она бросилась бежать по дороге в том же платье и туфлях, в которых была вечером, с непокрытой головой. Пробежав ярдов триста, она остановилась у опушки леса. Ее окутала чудесная темнота, и она стала ощупью пробираться от ствола к стволу, охваченная каким-то изумительным, тревожным ощущением приключения и новизны. Наконец она остановилась у тонкого ствола, кора которого слабо белела во тьме. Она прижалась к стволу щекой, он был гладок береза! Обняв дерево руками, она стояла в полной тишине. Удивительная, сказочная тишина, свежий аромат и мрак!

Ствол дерева вдруг дрогнул у нее под руками, и она услышала низкий далекий гул, к которому уже привыкла, - гул орудий, которые все время за работой, все время убивают - убивают людей, убивают, быть может, вот такие же деревья, как то, которое она обнимает, маленькие трепещущие деревья! Там, во тьме ночи, наверно, не осталось ни одного неискалеченного дерева, такого, как вот эта гладкая дрожащая береза, там не осталось полей пшеницы, ни куста, ни клочка травы, ни листьев, которые шуршат и сладко пахнут, ни птиц, ни юрких ночных зверьков, ничего, кроме крыс; она вздрогнула, вспомнив о бельгийском солдате-художнике. Крепко обняв березу, она прижалась к ее гладкому стволу. Ощущение все той же беспомощности, отчаянного бунта и печали охватило ее - то самое ощущение, которое вызвало ее страстную отповедь отцу в ночь, когда

он уезжал. Все гибнет, все превращается в прах, сгорает, исчезает, как Сирил. Все юное - вот как это маленькое деревцо!

Бум! Бум! Дерево вздрогнуло, еще раз вздрогнуло. Если бы не этот гул, как тихо и чудесно вокруг, какое звездное небо простерлось над листвой!.. "Я не перенесу этого", - подумала она и прижалась опаленными солнцем губами к шелковистой гладкой коре. Но деревцо бесчувственно стояло в ее объятиях, только содрогалось от далеких раскатов орудий. С каждым глухим ударом чьи-то жизнь и любовь угасали, как огоньки свеч на рождественской елке, один за другим. Глазам ее, привыкшим к темноте, казалось, что лес постепенно оживает и следит за ней, словно огромное существо с сотнями ног, рук и глаз и мощным дыханием.

Маленькое деревцо, только что такое близкое и ласковое, вдруг перестало быть прибежищем, превратившись в часть этого ожившего леса, погруженного в самого себя и сурово наблюдающего за незваной гостьей из того злонамеренного рокового племени, которое принесло на землю это гроыхание и гул. Ноэль разжала руки и отступила. Сук царапнул ей шею и хлестнул по лицу; она отошла в сторону, споткнулась о корень и упала. Снова сук больно ударил ее, и она лежала немного ошеломленная, вся дрожа перед этой мрачной враждебностью. Она поднесла руки к лицу из единственного желания увидеть что-нибудь не такое темное; это было ребячливо и глупо, но уж очень она была испугана. Казалось, у леса так много глаз, так много рук - и все это враждебно, ей; казалось, лес только и ждет, чтобы снова ударить ее, причинить боль, снова заставить ее упасть и держать ее здесь, в темноте, до... Ноэль вскочила, сделала несколько шагов и замерла: она забыла, с какой стороны пришла сюда. Боясь забраться еще глубже в этот недружелюбный лес, она медленно повернулась, стараясь сообразить, в какую же сторону ей идти теперь. Но всюду ее подстерегало это темное существо - многорукое и многоликое. "Все равно, подумала она, - любая дорога выведет меня!" И она начала пробираться вперед, вытянув руки, чтобы защитить лицо. Это было глупо, но она не могла справиться с каким-то сосущим, тревожным чувством, которое всегда приходит к человеку, заблудившемуся в лесу или в тумане. Если бы лес не был таким темным, таким... живым! И на секунду у нее мелькнула нелепая, устрашающая мысль, совершенно детская: "А что, если мне никогда

не выйти отсюда?" Она сама рассмеялась над этой мыслью и снова остановилась, прислушиваясь. Не слышно ни звука, по которому она могла бы ориентироваться, ни одного звука, кроме слабого, глухого гула, который теперь, казалось, доносился со всех сторон. А деревья все следили за ней. "Фу! - подумала она. - Ненавижу этот лес!" Теперь он был весь перед ней, его змеиные ветви, его мрак, его огромные массивы, словно населенные великанами и ведьмами. Она снова двинулась вперед, опять споткнулась и упала, ударившись лбом о пень. Удар ошеломил, но и успокоил ее. "Это идиотство, - подумала она, - я как ребенок. Сейчас пойду медленно и осторожно, пока не доберусь до опушки. Я ведь знаю, что лес невелик!" Она повернулась, готовая идти наугад в любом направлении, но потом выбрала то, откуда, казалось, шло ворчание пушек, и пошла вперед потихоньку, медленно, вытянув руки. Где-то совсем близко в кустах послышался шорох, и она увидела пару зеленых сверкающих глаз. Сердце ее словно подскочило до самого горла. Какой-то зверек прыгнул из кустов. Прошелестели папоротники, ветки, и снова тишина... Ноэль прижала руки к груди. Это, наверное, бродячий кот! И опять пошла по лесу. Но она уже потеряла направление. "Я хожу кругами, - подумала она. - Так всегда бывает, когда собьешься с дороги". И снова вернулось грызущее ощущение страха. "Может быть, закричать? - мелькнула мысль. - Но ведь я, наверно, близко от дороги. Это просто ребячество". Она снова двинулась вперед. Нога ее ступила на что-то мягкое. Чей-то голос пробормотал грубое ругательство; чья-то рука схватила ее за лодыжку. Ноэль отпрянула, рванулась и высвободила ногу; она закричала от ужаса и, ничего не видя перед собой, кинулась бежать.

## ГЛАВА V

Никто не понимал лучше самого Джимми Форты, что он "не совсем то" для Ноэль. После разговора с ее отцом прошли недели, а он все еще был одержим мыслями о Ноэль, хотя часто говорил себе: "Я не сделаю этого. Слишком низкая игра - добиваться этой девочки, зная, что если бы не ее беда, у меня не было бы никакой надежды". Он никогда не был высокого мнения о своей внешности, а теперь и вовсе казался себе невероятно старым и высохшим в этой лондонской пустыне. Ему была ненавистна работа в военном министерстве и царившая там атмосфера канцелярщины и казенщины. Теперь он мечтал о молодости и красоте и с тревогой начинал присматриваться

к себе, критически оценивая свои физические достоинства. Еще год - и он сморщится, как лежалое яблоко! В следующем месяце ему исполнится сорок, а ей всего девятнадцать! Но бывали моменты, когда он чувствовал, что с ней он может стать таким же молодым, как тот юноша, которого она любила. Не питая большой надежды на то, что завоюет ее, он совершенно не думал о ее "прошлом". Но не это ли прошлое - его единственная надежда? В двух вещах он был совершенно уверен: он не станет играть на ее прошлом; и если по какой-либо счастливой случайности она выйдет за него замуж, он никогда не покажет ей, что помнит о нем.

Написав письмо Грэтиане, он всю неделю перед отпуском провел в попытках как-то обновить и омолодить себя, но это привело лишь к тому, что он почувствовал себя еще старше, худее, костлявее и смуглее. Он рано вставал, ездил верхом даже в дождь, посещал турецкие бани и делал всякого рода физические упражнения; он не курил и не пил, рано ложился спать, словно ему предстояли состязания в скачках по пересеченной местности. В тот день, когда он наконец решился на это страшное паломничество, он с каким-то отчаянием разглядывал свое лицо, худое и словно обтянутое дубленой кожей, и насчитал с десяток седых волос.

Когда он добрался до Бунгало и ему сказали, что Ноэль в поле, у него впервые появилось чувство, что судьба - на его стороне. Там ему будет как-то проще встретиться с ней. Он несколько минут смотрел на Ноэль, прежде чем она заметила его, и сердце его билось сильнее, чем даже в окопах; и чувство надежды не покидало его все время - и тогда, когда они поздоровались, и тогда, когда ужинали, и даже тогда, когда она встала и ушла к себе наверх. Но потом это чувство надежды угасло, словно внезапно задернули штору; он продолжал сидеть, пытаясь поддерживать разговор, но понемногу становился все более молчаливым и беспокойным.

- Нолли так устала сегодня, - заметила Грэтиана. Он знал, что она сказала это с добрым намерением,

но то, что ей пришлось это сказать, для него прозвучало зловеще. Наконец, потеряв надежду снова увидеть Ноэль и чувствуя, что уже на три вопроса хозяев ответил невпопад, он встал.

На крыльце Джордж промолвил:

- Приходите к нам утром завтракать, хорошо?

- О, спасибо, боюсь, что я надоел вам всем.

- Нисколько. Завтра Нолли будет не такой усталой.

Снова это сказано с добрым намерением. Они очень милые люди. У ворот он оглянулся и посмотрел вверх, стараясь догадаться, которое окно ее; но дом был погружен в темноту. Пройдя немного по дорожке, Форт остановился закурить сигарету; прислонившись к калитке, он сильно затынулся, пытаясь успокоить боль в сердце. Итак, никакой надежды! При первом удобном случае она встала и ушла! Она знает, что он любит ее, не может не знать - об этом говорили его глаза, это звучало в его голосе; он ведь никогда не умел скрывать свои чувства. Если бы у нее было хоть маленькое ответное чувство к нему, она бы не избегала его. "Я вернусь в лондонскую пустыню, - подумал он, - и не стану хныкать и пресмыкаться. Я вернусь и поставлю на этом крест: надо же иметь какую-то гордость! Ах, за каким дьяволом я превратился в заезженную клячу? Если бы только я мог опять вернуться во Францию!" И снова перед ним встала Ноэль, склонившаяся над скошенной пшеницей. "Я попытаюсь еще раз, - подумал он, - еще один только раз, может быть, завтра, и тогда уже буду знать наверняка. И если на мою долю достанется то, что досталось Лиле, значит, я того и заслуживаю. Бедная Лила! Где-то она теперь? Снова в Верхней Констанции?.."

Что это?! Крик? Крик ужаса в лесу? Форт пересек опушку и закричал "Ау-у-у!" Затем остановился, вглядываясь в темноту. Он услышал шум раздвигаемых кустов и свистнул. Кто-то выбежал из кустов и налетел прямо на него.

- Послушайте, - спросил он. - В чем дело?

Кто-то, задыхаясь, ответил:

- О! Это... ничего!

Перед ним была Ноэль. Она отпрянула и остановилась в нескольких шагах от него. Он смутно видел, что она закрыла лицо руками. Инстинктивно почувствовав, что она хочет скрыть от него свой страх, он спокойно сказал:

- Какая удача! Я как раз проходил мимо. Темнота - хоть глаз выколи!

- Я... я заблудилась... И какой-то человек... схватил меня за ногу... вон там!

Беспредельно растроганный ее дрожащим голосом и всхлипываниями, он шагнул вперед и обнял ее за плечи. Он осторожно поддерживал ее, не говоря ни слова, боясь ранить ее гордость.

- Я... я пошла в лес, - все еще задыхаясь, бормотала она, - и там деревья... И я наткнулась на спящего человека, и он...

- Да, да, понимаю, - шептал он, словно ребенку.

Она отняла руки, и он видел ее лицо с еще расширенными от страха глазами и дрожащими губами. Снова растрогавшись, он притянул ее к себе так близко, что услышал, как бьется ее сердце, и коснулся губами ее покрытого потом лба. Она закрыла глаза, коротко вздохнула и спрятала лицо в его куртке.

- Ну, полно, полно! - повторял он. - Ну полно, полно, любимая.

Он почувствовал, как ее щека прижалась к его плечу. Она с ним!.. Она с ним! Теперь он почему-то был уверен, что они уже не расстанутся. Восторг охватил Форта, и мир, распростершийся над ее головой, и далекие звезды, и лес, который ее напугал, - все это казалось ему чудом красоты и совершенства. Судьба послала ему счастье, какое не выпадало еще на долю человека, - и вот она с ним! И он снова и снова шептал:

- Я люблю вас!

Ноэль стояла тихо, прижавшись к нему, и сердце ее постепенно стало биться тише. Он чувствовал, как она потерлась щекой о его куртку шотландской шерсти. Потом вдруг понюхала ткань и прошептала:

- Как хорошо пахнет!

## ГЛАВА VI

В опаленном летним зноем Египте белый человек каждый день с нетерпением ждет вечера, когда розовая пелена сумерек переходит в молочно-опаловую, укрывает серую гряду холмов и, переливаясь всеми цветами радуги, постепенно сгущается в темную синеву. Пирсон стоял в маленьком саду госпиталя под сенью пальм и бугенвиллий. Вечер был полон звуков. В дальнем крыле госпиталя граммофон наигрывал какую-то легкомысленную песенку; два самолета кружились, словно сарычи, над пустыней, слышно было легкое гуденье их моторов; удары металла о металл доносились из арабской деревни; скрипели колеса колодцев; под порывами дувшего

из пустыни ветра шелестели листья пальм. По обе стороны госпиталя тянулись древние дороги, отмеченные то тут, то там маленькими, старыми сторожевыми башнями. Сколько веков человеческая жизнь шествовала по этим дорогам на восток и на запад! Темнолицые люди на верблюдах пролагали этот древний путь через пустыню, на которую Пирсон взирал с изумлением, так тиха она была, так широка, так безлюдна и каждый вечер так прекрасна! Порой ему казалось, что он мог бы вечно смотреть на нее, словно ее суровая таинственная красота ежевечерне даровала ему ощущение домашнего очага; и все же, любуясь и восхищаясь пустыней, он не мог избавиться от мучительной тоски по родине.

Его новая деятельность пока еще не приблизила его к сердцам людей. Во всяком случае, он не чувствовал этого. И на полковой базе и вот сейчас в этом госпитале - перевалочном пункте, где он дожидался пополнения, вместе с которым должен был отправиться в Палестину, - все были очень добры к нему, очень дружелюбны и несколько снисходительны: так школьники относятся к добросовестному, мечтательному чудаку-учителю или дельцы - к безобидному идеалисту-изобретателю, который приносит свое изобретение в их конторы. Его не покидала мысль, что они довольны его присутствием не более, чем своими талисманами или полковым знаменем; простого, сердечного товарищества они, пожалуй, и не ждали от него, да и не считали его способным на это, а самому предложить им свою дружбу казалось ему преждевременным и неуместным. Более того, он даже не знал, как это сделать. Он был очень одинок. "Когда я встречу лицом к лицу со смертью, - думал он, - все будет по-иному. Перед лицом смерти мы все станем братьями. Вот тогда я смогу принести им настоящую пользу!"

Он все еще стоял, прислушиваясь к вечерним звукам и глядя на древнюю дорогу пустыни, когда ему принесли письма.

"Восточное Бунгало.

Дорогой папа,

Я надеюсь, что письмо еще застанет тебя до отъезда в Палестину. Ты писал, что отправишься туда в конце сентября, и я надеюсь, что ты получишь письмо. У нас большая новость, боюсь, что она доставит тебе боль и огорчение. Нолли вышла замуж за Джимми Форты. Они обвенчались сегодня и сразу уехали в Лондон. Им ведь надо найти

себе дом. Она была очень беспокойна, одинока и несчастна после твоего отъезда, и я думаю, что все это к лучшему. Она стала теперь совсем другой и просто без ума от него. Это ведь похоже на Нолли. Она говорит, что все время не знала, чего хотела, вплоть до последней минуты. Но теперь ей кажется, что ничего другого она и желать не могла.

Папа, Нолли никогда своими силами не выправилась бы. Это не в ее характере, и поэтому хорошо, что все так получилось, - я в этом уверена, и Джордж тоже. Разумеется, это не идеальный брак, и мы не того желали для нее; но у нее сломаны крылья, а он удивительно хороший человек и так предан ей, хотя ты этому не поверил и, может быть, не согласишься и сейчас. Главное - то, что она снова счастлива и что она в безопасности. Нолли способна на большую преданность; ей только нужна тихая гавань. Она все время металась, и трудно сказать, не натворила ли бы она еще чего-нибудь, если бы на нее "нашло". Я очень надеюсь, что ты не будешь сильно огорчаться. Ее страшно волнует, как ты отнесешься к ее замужеству. Я знаю, что для тебя это - большое потрясение, особенно сейчас, когда ты так далеко от нее. Но попытайся поверить, что это к лучшему... Теперь она вне опасности, а ведь была в страшном положении. Кроме того, это хорошо и для ребенка. Я думаю, что надо принимать жизнь такой, как она есть, дорогой папа. У Нолли так и остались бы сломанные крылья. Другое дело, если бы она по натуре была борцом и нашла бы в этом свое призвание, или была из тех, кто готов постричься в монахини, но она ни то, ни другое. Поэтому все и вправду хорошо, папа. Она пишет тебе сама. Я уверена, что Лиля отказалась от Джимми только потому, что не хотела видеть его несчастным, - ведь он не любил ее; иначе она никогда бы не уехала.

Джордж шлет тебе привет. Оба мы здоровы. А Нолли после работы в поле выглядит великолепно. Шлю тебе всю свою любовь, дорогой папа. Не надо ли что-либо достать здесь и послать тебе? Береги себя и не огорчайся по поводу Нолли.

Грэтиана".

Из письма выпал маленький листок; он поднял его с кучи облетевших пальмовых листьев.

"Папочка, дорогой,

Я не послушалась тебя. Прости меня - я так счастлива.

Твоя Нолли".

Пустыня мерцала, шелестели листья пальм, а Пирсон все стоял, пытаясь превозмочь волнение, вызванное этими двумя письмами. То был не гнев, не досада, не горе - то было чувство такого полного, такого глубокого одиночества, что он даже не знал, как выдержит его. Ему казалось, что порвалась последняя его связь с жизнью. "Мои девочки счастливы, - думал он. - А если я несчастлив, какое это имеет значение? Если моя вера и мои убеждения ничего для них не значат, почему они обязаны им следовать? Я не должен быть и не хочу чувствовать себя одиноким. Я всегда должен верить, что со мною бог и что рука его направляет меня. А если я не смогу верить в это, то какая от меня польза? Какую пользу я принесу этим бедным юношам? Кому я тогда нужен на свете?"

Мимо проехал на осле старый туземец, он наигрывал какую-то суданскую мелодию на маленькой деревянной арабской флейте. Пирсон повернул к госпиталю, напевая вполголоса эту мелодию. Его встретила сиделка.

- Бедный мальчик из палаты "А", кажется, умирает, сэр; я думаю, он захочет повидать вас.

Пирсон направился в палату "А" и прошел между койками к окну в западном углу комнаты, где были поставлены две ширмы, чтобы отгородить умирающего. Возле кровати была другая сиделка. Увидев Пирсона, она поднялась со стула.

- Он в полном сознании, - прошептала она, - и еще может говорить. Он такой славный.

Слеза скатилась у нее по щеке, и она вышла за ширму. Пирсон смотрел на юношу. Ему было, наверно, лет двадцать, его щеки не знали бритвы, на них проступал мягкий, бесцветный пушок. Глаза его были закрыты. Он дышал ровно и, казалось, не страдал; но было в его облике нечто такое, что говорило о близком конце, что-то отрешенное - он был ближе к могиле, чем к жизни. Окно, занавешенное сеткой от москитов, было широко открыто, и тонкий луч солнечного света медленно полз от ног умирающего по его телу, все время укорачиваясь. На фоне серой стены отчетливо выделялись кровать, лицо юноши, бледная желтая полоска солнечного света и маленький красно-синий флажок над кроватью. В этот час прохлады палата была почти пуста и ничто не нарушало ее тишины; лишь откуда-то

издалека доносилось прерывистое шуршание сухих пальмовых листьев. Пирсон стоял в молчании, глядя на заходящее солнце. Если юноша уйдет из мира так легко, это будет божьим милосердием. Но тут он увидел, что юноша открыл глаза, удивительно ясные светло-серые глаза, окаймленные темными кругами; губы его зашевелились, и Пирсон наклонился, вслушиваясь в еле слышный шепот.

- Я иду на Запад, сэр-рр...

В его шепоте слышалась легкая картавость; губы дрожали; на лице его появилась легкая гримаса, словно у ребенка, и исчезла.

"О боже! Сделай так, чтобы я мог помочь ему!" - подумал Пирсон.

- Ты идешь к богу, сын мой! - сказал он.

Губы юноши тронула легкая улыбка; была ли это насмешка или иронический вопрос?

Страшно растроганный, Пирсон опустился на колени и начал тихо и горячо молиться. Его шепот смешивался - с шуршанием пальмовых листьев, а полоска солнца по-прежнему ползла по телу умирающего. В улыбке юноши были и стоическое сомнение и стоическая покорность. Она потрясла Пирсона, увидевшего в ней бессознательный вызов и безграничную Мудрость. Пирсон взял руку, лежавшую на простыне. Губы юноши снова зашевелились, словно выражая благодарность; он слабо, с усилием вдохнул воздух, как будто пытался вобрать в себя ниточку солнечного света, и глаза его закрылись. Пирсон склонился над его рукой. Когда он поднял глаза, юноша был мертв. Он поцеловал его в лоб и тихо вышел.

Солнце уже село, и он побрел от госпиталя к холмику, который возвышался у края дороги, ведущей в пустыню. Он стоял там, глядя на угасающую вечернюю зарю. И солнце и юноша - оба ушли на Запад, в это беспредельное, сверкающее небытие.

Пока он сидел на холме, бесконечно одинокий, из арабской деревни донесся ясный и чистый голос муэдзина, призывающего к вечерней молитве. Почему улыбка юноши так потрясла его? Предсмертные улыбки других умирающих были похожи на улыбку этого вечера, опустившегося на холмы пустыни, обещающего блаженный покой, отдых в раю. А улыбка юноши словно говорила: "Не теряйте понапрасну сил, вы все равно не можете мне помочь. Кто знает, кто знает? У меня не осталось ни надежды, ни веры; но я иду,

иду в неизвестность. Прощайте!" Бедный мальчик! Он бросил вызов всему и ушел неуверенный, но неустрашенный! Не в этом ли наивысшая правда, перед которой вера - ничто? Но от этой страшной мысли он в ужасе отшатнулся. "В вере я жил, в вере и умру! - подумал он. - Господи, помоги мне!"

А ветерок, играющий песком пустыни, швырял песчинки на его руки, простертые над горячей землей.

1919 г.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)